

АЛЬБЕР КАМЮ





Belmont

ALBERT CAMUS

OEUVRES



АЛЬБЕР КАМЮ

СОЧИНЕНИЯ В ПЯТИ ТОМАХ

1

РАННЯЯ ЭССЕИСТИКА
ИЗНАНКА И ЛИЦО
БРАЧНЫЙ ПИР
СЧАСТЛИВАЯ СМЕРТЬ
КАЛИГУЛА
ПОСТОРОННИЙ

Перевод с французского

Харьков «Фолио»
1998

Серия «Вершины»
основана в 1995 году

Вступительная статья
М. Поповича

Комментарии
А. Волкова

Художники
М. Квитка, О. Квитка

Cet ouvrage publié dans le cadre
du programme de participation à la publication,
bénéficie du Soutien du Ministère
des Affaires Etrangères, du Centre de Coopération
Culturelle et Linguistique de l'Ambassade de France
en Ukraine

Дане видання здійснено
у межах програми підтримки видавничої діяльності
за сприяння Міністерства Закордонних Справ Франції
та Центру Культури і Лінгвістичних Зв'язків
Посольства Франції в Україні

Издание осуществлено
в рамках программы поддержки издательской деятельности
при содействии Министерства Иностранных Дел Франции
и Центра Культуры и Лингвистических Связей
Посольства Франции в Украине

К 4703010100—197
98 Без объявл.

- © Editions Gallimard
- © М. Попович, вступительная
статья, 1998
- © А. Волков, комментарии,
1998
- © М. Квитка, О. Квитка, худо-
жественное оформление, 1998
- © Издательство «Фоллио»,
текст на русском языке,
марка серии, 1998

ISBN 966-03-0278-9 (т. 1)

ISBN 966-03-0277-0

ОБ АЛЬБЕРЕ КАМЮ

Пересказывать Альбера Камю так же бессмысленно, как Шекспира или Пушкина. Даже сугубо абстрактная, философская сторона творчества Камю неизбежно превращается в набор трюизмов под пером добросовестного исследователя, излагающего его взгляды. С этим вторичным Камю и спорить не хочется.

Камю надо читать. В конце концов, прежде всего он великий писатель. Камю нуждается в читателе, преданном и критичном, — к сожалению, все более редком в наше время, когда все многочисленнее прослойка людей, которые уже не читатели и еще не писатели. Его надо читать не торопясь, наслаждаясь необыкновенной красотой слогом, по-новому неожиданным и даже парадоксальным и по-старинному изящным и романтичным. Его новеллы так же полны глубокого смысла, как и философские трактаты, а последние так же прекрасны, как и маленькие эссе. Камю — это Франция Расина, Декарта, Паскаля — и Мальро, Жида, Монтерлана, Сартра. И даже больше — это сегодняшняя Франция как часть латинского мира, уходящего корнями через Августина и Плотина в античность («Наши греки и их современные» — так полушутя-полусерьезно назвала свою философскую книгу, чрезвычайно современную, Барбара Кассан). Вы видите, ощущаете очень реальный вещный мир, яркий и пахнувший жизнью, — и как бы параллельно простым жизненным событиям движется идейный, смысловой ряд, ибо самые неприхотливые бытовые явления ставят бесконечной сложности вопросы. Так умели писать все великие французы. И они, как и Камю, придавали огромное значение тому, чтобы и вопросы, и ответы были выписаны с блеском и остротой ума, чтобы для представления реальности были найдены каждый раз единственно возможные слова.

Но ведь пишут и о Шекспире и о Пушкине, и часто пишут прекрасно, — и если бы не писали, цивилизация бы исчезла.

Культура нуждается в новом и новом возвращении к некоторым точкам своей жизни, наследие больших людей переосмысливается наново и наново. По мнению некоторых философов, в этом заключается отличие гуманитарии от науки, — наука ищет подтверждающую интерпретацию концепций, гуманитария же только и живет в переинтерпретациях. Я не могу с этим согласиться. О Ньютоне и Эйнштейне пишут и будут писать так же много, как об Эсхиле и Бетховене — потому что открытия новых истин каждый раз возвращают к историческим поворотам культуры и позволяют лучше понять не только старое, сколько новое в соотношении со старым. Это совсем не то, что поиск подтверждения гипотезы.

Камю принадлежит к таким точкам в истории мировой культуры, в которых мы нуждаемся и будем нуждаться, чтобы понимать себя.

Камю — очень крупная фигура, и нескромно употреблять местоимение «я» в таком соседстве. Но по-настоящему выдающийся интеллект не знает больших и маленьких собеседников; он знает, что каждый человек — это свой мир. На этом настаивал и Камю; у каждого человека — свой космос. Большой человек интересен именно потому, что с ним могут разговаривать, соглашаться и не соглашаться многие. У ничтожества нет оппонентов.

Впрочем, Камю скорее слегка страдал комплексом неполноценности, — в отличие от Сартра, уверенного в своей гениальности, но ревновавшего Камю к его славе. Сартр происходил из старого интеллигентного рода, Камю был простой «черноногий» парень из Алжира. Он родился в 1913 г., а в следующем году его отец погиб в битве на Марне. Камю немножко стыдился неграмотности своей матери, «молчаливой», которой он посвятил одну из своих книг («той, которая никогда не сможет прочесть эту книгу»); но еще больше он стыдился своего стыда. Когда он уже был знаменитым и его пригласили в Елисейский дворец, мать сказала: «Это не такие люди, как мы». Камю это немного ощущал, но его безмерная талантливость, та естественность, с которой он поглощал культуру, то, что он думал не о себе, а о проблемах человечества, легко позволяло забыть о неравенстве происхождения. Образование у него было хорошее: его заметили рано, он получил стипендию и окончил лицей, потом университет в Оране. После университета Камю — сформировавшийся высококультурный французский интеллект. Студентом Камю стал членом Компартии Франции, из которой вышел в 1937 году,

но оставался левым до мозга костей всю жизнь. Он был поглощен делами, связанными с Гражданской войной в Испании, играл в театре, ставил пьесы, занимался журналистикой. Туберкулез помешал ему поступить в «Эколь нормаль» и стать профессиональным добровольцем; но Камю участвует в Сопротивлении на территории оккупированной Франции, руководит подпольной газетой «Комба». После войны Камю становится все более и более знаменитым, его считают, наряду с Сартром, выдающимся философом-экзистенциалистом и писателем самого высокого уровня.

Случилось так, что автор «философии абсурда» погиб столь нелепо, бессмысленно, в цветущем возрасте — сорока семи лет: врезался в дерево на автомашине. Это произошло в 1960 г., спустя три года после получения Нобелевской премии по литературе.

Альбер Камю вырос в бедности, но если быть точным и говорить его словами, — «между бедностью и солнцем». Когда вы будете читать описания его Алжира, вас не может не потрясти жизнелюбие автора. «Весной в Типаса обитают боги, и боги говорят на языке солнца и запаха полыни, моря, закованного в серебряные латы, синего, без отбелей, неба, руин, утопающих в цветах, и кипени света на горах камней» («Брачный пир в Типаса»). Обратите внимание: солнце, запах полыни и моря, синева неба — это язык, на котором говорят боги. Мир не замкнут сам на себя. Радость бытия, которую вы пьете вместе с ним, поднося к лицу раздавленные пальцами почки мастикового дерева, — выражение вашей способности услышать и увидеть. Когда он просто бросается в прозрачную теплую воду Средиземного моря, — это чувственный гимн миру. «Сжимать в объятиях тело женщины — то же, что вбирать в себя странную радость, которая с неба безудержно говорит о ней: она внушает мне гордость за мою судьбу — судьбу человека».

Но что же, что слышит человек в этом безмолвном крике камней, что говорит ему сочетание нежности и величия пейзажа, открывшееся взгляду? Кто эти боги, говорящие на таком простом и безгранично богатом языке солнца и запаха полыни?

Эти боги — не кто иной, как мы сами. Камю-философ прочитал у Ницше слова, закрепившие в его сознании ощущение любви к камням, небу и морю Камю-юноши, гордившегося своим крепким телом так же, как и необъятным простором. Не кто иной как человек носит в себе все то богатство, которое обнаруживает потом в мире и, по словам немецкого философа, щедро и бескорыстно отдает миру, приписывая ему, его свойст-

вам всю музыку бытия. Мир *молчит*. Он не радостен и не трагичен. Он имеет вкус и запах благодаря нам, живущим и вдыхающим его. Более того — он бессмыслен и абсурден вне нашего разума и того смысла, который мы в него способны вложить.

Камю не цитирует Ницше: соответствующие фразы по-профессорски анализирует Хайдеггер, так же ими глубоко впечатленный. Камю вообще редко цитирует — ему не нужны чужие слова, он сам их умеет находить. Но существует скрытое цитирование. Когда Камю говорит, что участники Элевсинских мистерий созерцали земное, то здесь и перепрочтение Ницше, для которого мутная дионисийская радость была, наоборот, спасением от бездны реальности, разрушением конформистского безмятежно-солнечного аполлонического порядка. Камю крепко держится за землю.

Откуда же тема самоубийства, открывающая первую его работу — «Миф о Сизифе», начатую еще в университетские годы? Молчание бытия, абсурд, в который упирается разум и жизнь, вынуждают поставить проблему самоубийства, чтобы предельно заострить вопрос. Если бы жизнь была абсурдной, лишенной смысла, то не стоило бы жить. «Ведет ли абсурд к смерти? Эта проблема первая среди других, будь то методы мышления или бесстрастные игрища духа» («Миф о Сизифе»).

В годы, когда был жив Камю, в западном мире (правда, меньше всего во Франции) была очень авторитетна философия логического анализа языка науки. Автор настоящего предисловия в общем профессионально занимался именно ею. Анализ структуры науки, одновременно — методология мышления и «бесстрастные игрища духа», имеет дело с абсурдом в его, так сказать, логическом обличье. Если в теории можно получить некоторое утверждение вместе с его отрицанием, теория противоречива. Исследователи изучали и изучают источники возникновения и условия преодоления таких противоречий, так как работать с ними нельзя, надо научиться избегать разрушающих мысль провалов в никуда, «самоубийств» разума.

Следует признать, что, начиная с абсурда, Камю предельно обостряет вопрос о порядке и хаосе в мысли и жизни и добивается не только большей выразительности, но и большей степени общности, чем логик. Абсурдной речью может быть и тогда, когда логик ничего о ней не может сказать. Языковеды специально конструируют фразы, абсурдные с точки зрения содержания, но осмысленные с точки зрения фонетики и грамматики. Такую

фразу, например, сочинил Шерба: «Глокая куздра будланула бокра и кудрячит бокренка» — чем не русский язык? Подобные полуабсурды нужны как полигоны для изучения лингвистического порядка. Частичный хаос, степени хаотичности стали предметом исследования физиков только недавно. Короче говоря, через понятие «абсурд» видно больше, чем через чисто логические термины. Можно построить и целую концепцию потери порядка, структуры, осмысленности, концепцию коллапса как итога скольжения к абсурду. Все эти построения в какой-то степени были бы вдохновлены постановкой вопроса об абсурде Альбером Камю.

Впрочем, Камю это все не слишком бы заинтересовало, — он был прав в том, что для человеческого бытия есть вещи более грозные, чем противоречия в теории множеств или структурная лингвистика. С другой стороны, Камю вовсе не иррационалист. Он уточняет и подчеркивает вновь и вновь, что абсурден не мир, — абсурдной *может быть* встреча человека с миром. Конечно, разум выгораживает нам тот участок мира, в котором мы можем жить, мыслить и действовать спокойно. Но рано или поздно мы вынуждены столкнуться с миром так, что абсурдность нашего существования станет вопиющей. Потому что смысла мир сам по себе не имеет — смысл придаем ему мы. А наши возможности охватить своим смыслом бесконечность ограничены.

Да, самоубийство — самый простой способ уйти от абсурда. Но ведь мы живем, зная, что все жизненные усилия, все сопротивление закончатся скорее рано, чем поздно. Как и Шопенгауэр, и Вагнер, Камю согласен с тем, что любовь — главное, что есть в жизни. Но эти великие немцы мрачно добавляли к этому еще и смерть. Камю ищет способы уйти от абсурда в жизнь.

Здесь как бы раздваивается путь европейской мысли. Отказ от поисков оснований смысла человеческого существования во внешнем мире, признание человека единственным источником смысла может породить полный моральный релятивизм. Если человек есть мера всех вещей, то он творит и мораль так, как ему вздумается и как ему выгодно. Камю потрясен рассуждениями Писарева о том, что нет предписаний, запрещающих человеку, если ему это хочется и выгодно, убить даже собственную мать. Но Камю подчеркивает, что русские нигилисты на самом деле не убивали никаких мам и бабушек, служили людям, а не себе, и даже террористы-революционеры первых поколений свою собственную жизнь оценивали мерками общественного блага.

Убить для добрых последствий в истории, для дела, самому сознательно отдав собственную жизнь, — это тот предел, на котором кончается честь. И это тоже путь в никуда.

Уже полнокровие жизненного мира человека вынуждает к ответственности. Антитезис естественной жизни — человек, которому все равно. Источником неожиданного и нелепого преступления становится равнодушие («Посторонний»). Однако буйное жизнелюбие некритически-демонстративной личности — это тот же моральный релятивизм. Кропотливый психологический анализ («Падение») проявляет в основе этой жизни чрезвычайную легковесность, и доброта, основанная на эгоистическом чувстве жалости к самому себе, некое подобии мазохизма, побуждающем немножко страдать для других, — все это большая ложь, легко ведущая к духовному кризису. Аналог классического психологического романа, которым является упомянутая повесть, — это по сути то же исследование феномена «донжуанства»: речь идет о жизни настоящим и только настоящим, извлечением из «теперь» максимума радости бытия.

В «Письмах к немецкому другу» Камю говорит о том, что европейская цивилизация пошла разными путями: путь, который избрал «немецкий друг», начинался от полноты субъективного мироощущения, от Ницше, но пошел через моральный релятивизм к самоутверждению «я» над другими, через абсолютную свободу как волю к власти — к страшному абсурду бесчеловечности. Камю ищет путь, совместимый с европейскими ценностями.

Рационалистическому и прагматичному человеку, не задумывающемуся над всей этой метафизикой, выбор представляется ясным: мы действуем и живем для *чего-то*, реализуем большие или маленькие цели, придаем истории смысл своими делами. Если невозможно выстроить своей жизнью грандиозную историческую конструкцию, то надо вложить в нее хотя бы несколько своих кирпичей. Появляется надежда как способ выйти из исторического абсурда. И для Камю чрезвычайно важно эту надежду развенчать.

Дело в том, что и история ведь тоже лишена смысла сама по себе. Она ни жестока, ни добра, она не имеет цели, — она *идет*, и мы пытаемся выстроить из ее событий некие разумные последовательности. Вот уже получилась какая-то «глокая куздра», еще немного, и все станет осмысленным, и история заговорит! Здесь возникает соблазн насилия над историей, превращения людей в буквы и элементы букв, которыми будет выписана историческая

истина. И мир погружается в ту же пучину исторического убийства, в которую ведет его и нигилизм иррационального.

Нам полезно еще и еще раз остановиться на тех местах у Камю, где этот решительный враг коммунистического тоталитаризма подчеркивает разницу между ним и его политическим антагонистом. «Было бы несправедливо отождествлять цели фашизма и русского коммунизма. Фашизм предполагает восхваление палача самим палачом. Коммунизм более драматичен: его суть — это восхваление палача жертвами. Фашизм никогда не стремился освободить человечество целиком; его целью было освобождение одних за счет порабощения других. Коммунизм, исходя из своих глубочайших принципов, стремится к освобождению всех людей посредством их всеобщего временного закабаления. Ему не откажешь в величии замыслов. Но вполне справедливо отождествление их средств — политический цинизм оба они черпали из одного источника — морального нигилизма» («Человек бунтующий»). При этом Камю с глубокой пронизательностью отказывает Ленину даже в претензии на якобинство: «Якобинцы верили в принципы и в добродетель и погибли, когда дерзнули их отрицать. Ленин верил только в революцию и в добродетель эффективности» (там же).

Вообще анализ Альбером Камю исторического опыта социальных утопий, в особенности его исследование марксизма и русского коммунизма, чрезвычайно глубок и поучителен, так как обнаруживает новые для нас измерения — так историю мы изучать не умеем. Пожалуй, стоит предостеречь против невнимательности при прочтении этих страниц. Да, они писались еще в начале пятидесятых и тогда были открытием, хотя были уже и Бердяев, и Поппер. Но, не говоря уже о разнице подходов и оценок, речь идет не только о марксизме и русском коммунизме. Камю не приемлет *революции*. В том числе и контрреволюции, и «бархатной революции». Он противопоставляет ей *бунт* или *мятеж* (*la revolte*, что может быть переведено также как «восстание» или «возмущенный протест»). И, может быть, эта главная мысль Камю, вызывавшая столько снисходительных оценок у практичных политиков и мыслителей, останется его завещанием новому веку и даже новому тысячелетию.

Революция свершается в истории и средствами практического исторического действия. Она знает мотивы, цели, последствия — и больше ничего. В ней, в бесконечной цепи ее последствий тонут ценности и человеческое. Ее надо оценивать, как и все

историческое, только с точки зрения целостности человеческой истории. То есть такой тотальности, которая доступна лишь Богу.

Попытки вынести меру человеческого из самого человека в объективность, в мир как таковой или в историю неприемлемы для Камю. Он обращается к «теперь» человека, а не к бесконечно удаленному времени реализации цели, в поисках меры добра и зла. Но к «теперь» не как простому ощущению, как дыханию и свету, а как существу человеческого отношения к миру. Именно эта человечность в человеке вынуждает его сказать «нет» действительности, возмутиться и не принять в ней смерть, страдания, унижение достоинства.

Я не хочу больше комментировать Камю. Здесь нужно остановиться, ибо только сам читатель сможет принять или отвергнуть — все или частью — то, что Камю с вызовом готов был назвать бунтом интеллигента-одиночки. Единственное, что хотелось бы отметить: на самом деле это не беспомощный бунт одиночки, а восстание *личности*. И главный урок XX столетия, может быть, в том и состоит, что без отчаянного сопротивления личности, без суда человеческой чести общество давно засосала бы невидимая ткань одномерности. Бунт по Камю — это выход из истории, из мира целей и средств, рациональной целесообразности в морально завершенное «нет».

«Бунту» посвящена, можно сказать, главная философская книга Камю — «Человек бунтующий». Бунт — это также и высоко человеческий, без пафоса, исполненный глухой ненависти к смерти и страданию труд врача и его добровольных помощников в романе «Чума», особенно понятном нам, пережившим Чернобыль. Мне хотелось бы пояснить, что такое для Камю бунт, на примере небольшого рассказа из сборника «Изгнание и царство» — «Гость». Учитель начальной школы, заброшенной в алжирской пустыне, француз, получает под расписку арестованного за убийство араба и должен его сдать по этапу в отдаленный полицейский пункт. Он предупреждает жандарма, что эти функции выполнять не может, но тот напоминает ему, что все белые под угрозой, фактически война уже идет, и европейцы должны быть солидарны. Учителю неприятен молодой примитивный араб, которому ничего не стоило перерезать ножом глотку такому же, как он, но хозяин школы кормит его, укладывает спать и все ищет приемлемого решения. Учитель, конечно, не может принять призыва своего гостя — «иди к нам», но не может и стать хоть ненадолго полицейским. Утром он выводит гостя далеко в пустыню, дает ему денег и пищу, показывает, как дойти до

полицейского участка, и возвращается домой. А дома на школьной скамье читает написанное мелом: «Ты сдал нашего брата, ты заплатишь».

Учитель принял единственно нравственно приемлемое для него решение — отправил убийцу добровольно сдаваться полиции, а последствия могут быть самые различные: парень может и сдать, а может и уйти к своим через пустыню, и еще не раз пролить кровь, учителя скорее всего убьют. Острота сюжета не в этом, а в поиске по-человечески правильного решения.

Тема арабского сопротивления была крайне болезненной для Камю. Как человек левых убеждений, Камю был против колониальной войны, которую Франция вела в Алжире. Но он не мог «уйти к ним». Он видел будущее этнической чистки, которая лишит его, как и других французов, земли, для него так же родной, как и для алжирцев. Люди из арабского националистического сопротивления исполнены были готовности убивать, выродившейся сегодня в Алжире в такие террористические зверства, о которых страшно говорить. Камю искал позицию вне истории, вне логики обоих враждующих лагерей, — там, где говорит не эффективность, а честь.

Здесь обнаружилась та же черта Альбера Камю, которая столь отчетливо видна в его ранних «Письмах к немецкому другу». Сатанинскому немецкому национализму, попиравшему его родину, он противопоставлял тогда не французский национализм. Тогда, когда у нас писали «Папа, убей немца», Камю, потерявший в гестаповских застенках друзей и сам непрерывно рисковавший жизнью, старался противостоять нацизму как *европеец*.

То же было и с коммунизмом, и с национализмом французов и арабов. Камю противопоставил напряжению непримиримой злобы и готовности убивать духовную Европу. Не в том смысле, что Европа ничего этого якобы не знает; наоборот, Европа породила самые страшные чудовища XX века. Великий духовный опыт европейской цивилизации заключается в умении понять даже врага и построить жизнь так, чтобы в ней мирно сочеталось противоположное.

Впрочем, от темы европеизма так легко не уйти. Сегодня для Европы, которая находится на пути интеграции, вопрос, что значит «быть европейцем», приобрел особое значение. Духовный опыт Камю в этом отношении очень поучителен, и опять-таки его надо внимательно читать.

Камю был атеистом. Его человечность, его нравственное кредо было построено на полном неприятии тезиса «если Бога

нет, то все позволено». Нравственность не вытекает из принятия Бога, из принятия Бога вытекает только страх перед наказанием; еще Кант показал, что скорее принятие Бога следует из принятия нравственного закона. Камю убежден, что существуют никому и никогда не дозволенные вещи вне зависимости от того, последуют ли за вседозволенностью какие-либо наказания. Мне как человеку нерелигиозному это очень импонирует, и я хотел бы в связи с этим заметить, что такую позицию нельзя назвать антихристианской. В окружном послании папы Иоанна Павла II «Да будут все едины» говорится об антихристианстве: «...ибо человек, как говорят, есть создание совершенно земное, и должен жить, как если бы Бога не было вовсе». Нерелигиозный человек должен жить так, как если бы Бог существовал, — это в сущности и позиция Камю.

В своей Нобелевской речи Камю говорил о предназначении писателя: «...Писатель может обрести чувство живой солидарности с людьми, которое оправдывает его существование — при том единственном и обязательном условии, что он взвалит на себя, насколько это в его силах, две ноши, составляющие все величие его нелегкого ремесла: служение правде и служение свободе». Мы узнаем здесь принципы свободы, справедливости и солидарности, написанные на знаменах левых европейских политических сил. Отличие Камю от рядового политика заключается в том, что он отчетливо понимает относительность всех принципиальных решений. Абсолютная свобода несовместима с абсолютной справедливостью. Но остается верным тот жизненный принцип, который Камю назвал бунтом: «я протестую, следовательно, мы существуем». Протест с позиций человечности — это борьба с самой страшной бедой человека, страдание одиночества.

Человек один перед лицом своих трагедий, ибо он — личность. Он ищет правды, которая подавляет его свободу. Он ищет свободы, рискуя остаться одиноким. Но то божественное в человеке, что не позволяет ему остаться совсем земным, — это и есть свобода, справедливость и человеческая солидарность.

*М. ПОПОВИЧ,
член-корреспондент НАН Украины*

РАННЯЯ
ЭССЕИСТИКА



ÉCRITS DE JEUNESSE

О МУЗЫКЕ

Цель настоящего очерка — доказать, что музыку, как самое совершенное из искусств, надо постигать скорее чувствами, нежели умом.

Прежде всего необходимо четко уяснить, каково наше представление о сущности искусства. Есть две противостоящие друг другу теории: реализм и идеализм. Согласно первой, искусство должно стремиться исключительно к подражанию природе и точному воспроизведению действительности. Такое определение не просто принижает искусство, но и вредит ему. Свести искусство к рабскому подражанию природе — значит обречь его на создание одних только несовершенных произведений. Ведь важнейшим фактором эстетического переживания является наша личность. В природе не существует красоты, мы сами ее привносим. Ощущение красоты, возникающее у нас при виде какого-нибудь пейзажа, вызвано не эстетическим совершенством этого пейзажа, а тем, что данный аспект видимого мира полностью согласуется с нашими инстинктами, наклонностями, со всем, что составляет нашу бессознательную личность. Вот тому доказательство: один и тот же пейзаж, если его видеть слишком часто, созерцать слишком долго, в конце концов надоедает. Разве такое произошло бы, заключайся совершенство в нем самом? Итак, главный фактор эстетического переживания — это наше «я», и навсегда останутся истиной слова Амьеля: «Пейзаж — это состояние души». Предположим, что все искусства — всего лишь подражание природе; в таком случае, если за скульптурой или живописью следует признать возможность достичь какого-либо результата, то для архитектуры и особенно для музыки подобная возможность исключается. Бесспорно, в природе есть гармони-

ческие звуки, способные пробудить вдохновение композитора. Но можно ли сказать, что Бетховен или Вагнер лишь подражали этим звукам? Да и что за толк нам был бы от такого заведомо неточного копирования природы? Сама она могла бы доставить нам более яркое и более чистое эстетическое переживание.

Итак, реалистическую теорию мы признаем несостоятельной. К тому же, что за жалкие творения смогла бы она произвести на свет? Сколько Золя пришлось бы на одного Флобера?

Какова же наша концепция искусства? Это отнюдь не концепция идеалистической школы, которая, справедливо противопоставляя искусство природе, усматривает достоинство первого в том, что оно способно добавить к последней нечто от себя.

Слишком часто эта идеалистическая теория превращается в теорию нравственную, порождающую произведения плоские, фальшивые и скучные, — из-за желания создать нечто здоровое, вызывающее уважение и достойное подражания.

По нашему мнению, искусство не является ни выражением реальности как таковой, ни выражением реальности, приукрашенной до степени фальсификации. Это просто выражение идеала. Это создание мира мечты, достаточно прельстительного, чтобы скрыть от нас мир, в котором мы живем, со всеми его ужасами. И эстетическое переживание вызывается лишь созерцанием этого идеального мира. Искусство — это выражение, объективизация всего таким, каким оно должно было быть для нас. Искусство в высшей степени лично и неповторимо, поскольку у каждого из нас свой идеал, непохожий на остальные. Оно — ключ, отворяющий врата мира, куда невозможно попасть иными путями, где все будет прекрасно и совершенно, — в соответствии с представлениями о красоте и совершенстве, сложившимися у каждого из нас. Роль индивидуальности в искусстве огромна. Лучше уродливое, но свое, чем радующая глаз красота, которая сводится к чистому подражанию. «Бережно храни то, что вызвало недовольство публики, ибо это — частица тебя», — говорил Жан Кокто.

Эту концепцию мы и возьмем за основу; будем опираться на две теории, или, вернее, на два направления мысли — мысль Шопенгауэра и мысль Ницше. Эта пос-

ледня, впрочем, напрямую происходит от первой, несмотря на отдельные расхождения, которых мы еще коснемся. Запомним, что в области эстетики идеи Шопенгауэра навеяны идеями Платона.

Вначале изложим теорию Шопенгауэра. Это поможет нам понять, каково было ее влияние на теорию Ницше. Последнему мы собираемся уделить большое место, во-первых, потому, что значительная часть его трудов была посвящена искусству, а во-вторых, своеобразная личность этого поэта-философа слишком привлекательна, чтобы не вывести ее на передний план.

Изложив эти две теории, попытаемся сделать выводы относительно значения и роли музыки.

Шопенгауэр и музыка

Прежде чем говорить о шопенгауэровской теории музыки, следует, очевидно, дать краткий обзор его философии в целом. Мы сможем лучше понять некоторые тенденции его эстетики, когда увидим, насколько тесно эта философия связана с теорией воли.

Если Лейбниц полагал, что вся Вселенная была Мыслью, Шопенгауэр, под влиянием буддизма, утверждает, что вся Вселенная есть Воля.

А Мысль? «Случайное проявление воли», свойственное высшим животным. Воля — в основе всего. Вселенная — не что иное, как совокупность волей, действующих как силы. Все есть Воля, и Воля создает все: как органы защиты и нападения у животных, так и органы пищеварения. Корень углубляется в землю, стебель поднимается к небесам лишь посредством Воли. Даже минералы полны сокровенных устремлений и сил. Мы называем эти силы тяжестью, текучестью или электричеством, однако на самом деле это — проявления Воли.

Для Шопенгауэра Воля есть нечто внеинтеллектуальное, не поддающееся четкому логическому определению. В общем и целом ее можно рассматривать как иррациональную первопричину всякой жизни.

Все эти могучие воли противодействуют друг другу, превращая мир в вековечное поле битвы. А потому Шопенгауэр может чистосердечно заявить, согласуясь в этом — но только в этом — с Евангелием, что жизнь не стоит того,

чтобы ее прожить. Наслаждения не существует, или, точнее, оно величина отрицательная. В самом деле, оно ведь происходит от удовлетворения Воли, а поскольку Воля вечна, наслаждение, едва его успели испытать, тут же прекращается, уступая место какой-то другой потребности.

Все наши усилия бесплодны, мы неспособны творить. Единственная цель, которой мы могли бы достичь — это «осуществление Воли». Этой цели должна быть подчинена жизнь всякого человека. А единственное средство ее достижения — Искусство. Именно это хочет выразить Шопенгауэр, говоря, что Искусство — не что иное, как «объективизация Воли».

Эта философская система поможет нам понять эстетическую теорию Шопенгауэра.

Он рассматривает искусство в некоем метафизическом аспекте по отношению к платоновскому «миру идей». Для него искусство есть особое знание, открывающее этот «мир идей» для нас. Источник искусства — познание идей, а его цель — сообщать познанное. Это одно из средств, дарованных душе, дабы она могла избежать гнетущего воздействия Воли и Жизни.

Для искусства время и пространство перестают существовать. Оно выделяет для себя созерцаемый объект из быстрого потока явлений. И этот объект, который прежде был лишь невидимой молекулой в тусклом и однообразном потоке, для искусства превращается в великое Все, в бесконечную множественность, заполняющую время и пространство. Искусство остановило колесо Времени, поскольку его объект — одна лишь Идея, освобожденная от всяких земных связей.

Согласно Шопенгауэру, мы называем прекрасными те предметы, которые не подчиняются обычным правилам Разума. Искусство есть созерцание независимых от Разума предметов. У Прекрасного нет рационального объяснения. И в этом искусство противостоит другим знаниям, которые основываются на опыте, а затем превращаются в науку. Накапливаясь и собираясь вместе, художественные впечатления создают нечто вроде заслона между действительностью и нашим сознанием. Только так «мир представлений» отделится от мира Воли, иными словами, мир идей отделится от жизни. Единственная цель искусства —

создание такой благословенной призмы. И когда эта цель достигнута, у нас возникает неосознанное чувство освобождения.

Из этой общей теории Шопенгауэр делает несколько частных выводов.

Гений — не что иное, как доведенная до совершенства объективность, и миссия гения — «закрепить в вековечных формулах то, что затеряно среди изменчивых личин». Для этого он должен отречься от себя как от члена общества и полностью отказаться от собственных интересов, собственной воли, собственной жизни, наконец.

Отсюда и проводимое Шопенгауэром знаменитое сравнение гениальности с безумием: у обоих этих свойств, говорит он, есть некая грань, которой они соприкасаются и через которую происходит их взаимопроникновение. В самом деле, всякое безумие — это лишь проявление расстройства памяти. Безумец, полностью отдавая себе отчет в настоящем, населяет свое прошлое самыми дикими фантазиями. По-видимому, в тех случаях, когда безумие порождено большим горем, это сама природа гонит прочь печальные воспоминания, как мы безотчетным взмахом руки отгоняем неприятную мысль. Так же точно, говорит Шопенгауэр, чувство возвышенного порождается противоречием между сознанием собственной незначительности и ощущением, что мы поднимаемся над миром конкретного, ощущением, которое дает нам чистое познание.

Источник красоты в архитектуре — созерцание противоборства сопротивления и силы с одной стороны, и вещества — с другой. В скульптуре же, чтобы создать прекрасное, мастер должен не подражать природе, но выявить заключенную в ней идею.

Пессимизм Шопенгауэра заставляет его усматривать высшее выражение поэзии в трагедии. И чем лучше трагедия представит несчастье как повседневное и естественное явление, тем ближе она к совершенству.

Очевидно, что понимание искусства в учении Шопенгауэра явно противоречит натурализму и реализму. Проще говоря, искусство противопоставлено действительности для того, чтобы можно было забыть о ней. И это дано нам в музыке Вагнера, воплотившей в себе очистительное действие искусства. По мнению Шопенгауэра, главное для художника — создать такую совершенную и такую увлека-

тельную иллюзию, чтобы зритель или слушатель не только не смог прибегнуть к Разуму, но даже не захотел бы этого делать.

Но самый радикальный вывод, который делает из своей системы Шопенгауэр, — это вывод о превосходстве музыки.

Есть только одно искусство, полностью выполняющее свое предназначение: музыка. Она стоит в стороне от иерархии прочих искусств. Нельзя даже сказать, что она выше их всех, просто она создает свой, особый мир. Музыка не выражает идей — она выражает самое себя через Волю, параллельно идеям. Она — выражение сущности Воли. Временами она выказывает Волю до того, как та успеет полностью индивидуализироваться. И поскольку Воля — это первопричина Жизни, музыка — это ритм самой жизни. Однако музыка не отображает ни уродства жизни, ни причиняемых ею страданий. В самом деле, серьезная музыка не заставит страдать. Никогда музыкант не сумеет затронуть суть жизни. Музыка самим фактом своего существования отгоняет все что ни есть тревожного и раздражающего. Правда, она может погрузить нас в нежную меланхолию, но если мы стремимся к меланхолии как к некоему благу, можно ли утверждать, что в ней выражены уродство и страдание?

И тем не менее музыка — ритм самой жизни, нежный ритм, изгоняющий всякое страдание. Действительно, нетрудно провести параллель между музыкой и миром в целом.

Изначальный музыкальный звук, если рассматривать его как простейшую единицу в музыке, соотносим с первичной материей. Гамма и ее последовательные ступени соответствуют классификации видов, расположенных в восходящем порядке по мере их усложнения. И наконец мелодия, выполняющая в музыке ту же роль, что линия в рисунке, соответствует сознательной воле, первоначально жизни. Нельзя ведь отрицать, что мелодия по сути представляет собой бесконечно быструю череду впечатлений, которые, соединяясь и взаимодействуя друг с другом в нашем восприятии, позволяют нам достичь идеального мира и возвыситься над реальностью.

Итак, по мнению Шопенгауэра, музыка — это некий особый мир. Его концепция прямо противоположна нату-

рализму и реализму, которые желали бы низвести музыку до культа звукоподражаний.

Одно важное замечание мы приберегли под конец. По Шопенгауэру, музыка не может родиться от немзыкальных идей, и в то же время, в силу своей абсолютной сущности, она способна пробуждать в слушателе активность зрительного воображения. Это замечание весьма существенно, ибо именно по этому вопросу Ницше разойдется во мнении с Шопенгауэром.

Итак, теперь можно определить три основных положения теории Шопенгауэра. Музыка выражает абсолютную суть всех вещей и жизни в целом. Музыкальные идеи не могут родиться от немзыкальных идей. В музыкальном переживании заложена способность пробуждать у слушателя чувственные образы, и это одна из причин чарующего воздействия музыки.

Таковы основные положения эстетической теории философа Воли. Не станем разбирать ее здесь, поскольку лучший анализ, какому только можно ее подвергнуть, содержится в изложении идей Ницше в этой области. Ницше был почтительнейшим учеником, но в то же время очень независимым и непокорным последователем. Ницше развивал, доводя до крайности, идеи Шопенгауэра в одной из своих работ и частично отвергал их в другой.

Ницше и музыка

Мы не считаем нужным давать здесь общий обзор философии Ницше. Она слишком хорошо известна. Скажем больше: слишком часто ее плохо понимали и неправильно истолковывали. Хотя она была всего лишь порывом щедрого жизнелюбия, ее поспешили обвинить в эгоизме. Справедливо будет добавить, что наше время признало за ней ее истинную ценность.

Напомним, однако, что хотя Ницше многое почерпнул у Шопенгауэра, он, исходя из того же, полностью ниспровергает положения его философии. Оба брали за основу страдание, но если Шопенгауэр утверждал на этой основе демократическую мораль, то Ницше — мораль аристократическую, мораль Сверхчеловека; если Шопенгауэр пришел к безнадежному пессимизму, Ницше пришел к оптимизму, основанному на опьянении страданием.

Остановимся на этом вопросе. Действительно, в глазах многих, Ницше — оптимист. Однако, выражая наше личное мнение, заметим, что при чтении его книг возникает вопрос: не кроется ли за этими прекраснейшими, поэтичнейшими призывами к искупительной боли душа, исполненная пессимизма, но отказывающаяся быть таковой? В самом деле, в его упрямом оптимизме есть что-то неистовое, словно какая-то непрестанная борьба с отчаянием, — и это, на наш взгляд, самое привлекательное в и без того необычной фигуре Ницше.

В этом мнении нас могла бы утвердить безмерная гордыня Ницше, гордыня, которую он, словно панцирем, прикрывал чувствительную натуру поэта и художника, гордыня, достойная уважения, ибо за нее было заплачено одиночеством.

Выше мы говорили, что существует два аспекта эстетики Ницше: один основан на идеях Шопенгауэра, другой, напротив, отчасти отвергает эти идеи. Изложим здесь первый и наиболее важный из них, содержащийся в «Рождении трагедии».

Ницше отталкивается от естественных наклонностей человека (в его труде — древнего грека), чтобы прийти к необходимым выводам. В самом деле, нельзя не согласиться с тем, что мы любим грезить, что нам нравится жить воображаемой жизнью, во сто крат более прекрасной, чем настоящая. Причина в том, что мы ощущаем потребность в забвении собственной личности, в отождествлении со всем человечеством. У Ницше это называется аполлонизмом, иначе говоря, потребностью преобразить действительность через мечту. Это своего рода экстаз, символом которого является экстагический Аполлон. В то же время нас обуревают другой инстинкт, символ которого — Дионис, бог, разрывающий путы. Дионисический инстинкт погружает нас в стихию опьянения, и в итоге мы забываем о собственной личности. Оба эти инстинкта, каждый по-своему, воздействуют на нас, заставляя забыть о том, что есть тягостного в существовании. У древних греков эта потребность была сильнее, чем у какого-либо другого народа, и, по мнению Ницше, можно различить две стороны их гения. Вначале дух греков спешит раствориться в дионисийстве, а затем, чтобы обуздать этот порыв, ему приходится обратиться

к аполлонизму. Ведь, после того, как в Греции долгое время справлялись оргиастические обряды, когда охваченная священным безумием толпа, уподобляясь первобытным существам, сатирам и нимфам, предавалась неистовому сладострастию, — пришлось совершить могучее усилие, чтобы обуздать дионисическую жажду опьянения, очарованности, и прийти к чему-то более чистому и более идеальному. И вызвано это усилие не потребностью в совершенной идеальности, как считалось слишком долго. Творческая сила, создавшая безмятежную красоту, красоту аполлоническую, питалась главным образом страданием, которое у эллинов играло гораздо более важную роль, чем у остальных народов.

«Концепция красоты у греков порождена страданием» — на этом Ницше строит свою теорию.

Действительно, аполлонизм и дионисизм порождены потребностью уйти от слишком горестной жизни. Греков терзали политические дразги, честолюбие, зависть, всевозможные проявления жестокости. Но у других народов происходит то же самое! — возразите вы. Бесспорно, так, но эллины с их чувствительностью, с их восприимчивостью были наиболее склонны к страданию. Они острее других ощущали ужас своего существования, а потому были обречены на варварский дионисизм. Отсюда и потребность излечиться от дикарских крайностей, создавая образы, или, вернее, грезы, более прекрасные, чем у прочих народов.

Для достижения этой цели они использовали танец и музыку. Мистическое опьянение они сумели подчинить ритму. Так они создали искусство, которое в равной степени удовлетворяет чувство и воображение. Так они создали трагедию.

Как мы уже знаем, мышление греков было проникнуто горьким пессимизмом. (Что может быть мрачнее греческого афоризма: «Счастье в том, чтобы не родиться»?) Но присущая грекам мечтательность помогла им забыть о жизни. Они не попытались сделать жизнь приятнее, они вытеснили ее мечтой и подменили реальное существование красотой и опьяненностью. Это и была безмятежная ясность древнегреческого мировосприятия. То, что Шиллер называет «древнегреческой плавностью», вовсе не было наивным. Это прежде всего способность отстранить от

себя жизнь и грезить: единственное существование — это аполлиническое существование, а жизнь — всего лишь иллюзия. Поэтому эллины всегда призывали к неведению жизни. Они жестоко карали тех, кто стремился к знанию: Сократу пришлось выпить цикуту.

Так, благодаря мечте, древние греки избежали отчаяния. Ибо все их усилия были направлены на то, чтобы извлечь из страдания «волю к победе». Выражением этого усилия, этого мучительного желания жить может стать только музыка.

Ведь только она вызывает у нас изначальные ощущения в чистом виде. Она возвращает нам ощущения фавнов, испуганно плясавших вокруг Диониса (танец объективирует эти ощущения). Когда древнегреческие хоры танцевали, музыка и танец заставляли их отрешаться от всего личного. Актер жил напряженной жизнью воплощаемого им персонажа. Зрители, охваченные этим своего рода коллективным безумием, покорялись иллюзии, уже не обращаясь за помощью к разуму. Такое необычное состояние вызывалось гипнозом музыки.

Тогда Дионис являлся людям уже не страдающим, но во славе и сиянии: Дионис превращался в Аполлона. В этом суть трагедий Софокла и Эсхила: место Диониса здесь занимает действие, которое изначально сводилось к простому диалогу. Герои представления ни в чем не похожи на реальных людей: это подчеркивается тем, что они носят маску и обуты в котурны. Непомерно высокого роста, с личиной вместо лица, они уже не имеют ничего общего с остальными людьми. Это зримые воплощения воли к жизни, говорит Ницше.

Такой длинный разбор «Рождения трагедии» был необходим, чтобы понять, как у Ницше сформировалась первоначальная, чисто шопенгауэровская концепция современной музыки, которая затем приведет его к апологии вагнеровского искусства.

Нельзя не признать, что древнегреческая трагедия со временем пришла в упадок. Причина в том, что эллины решили подменить энтузиазм рассуждением. Сократ своим «познай самого себя» уничтожил Прекрасное. Своей болезненной потребностью приводить доказательства он загубил прекрасную мечту. Сократа не могли не осудить. Порыв к идеалу был вытеснен наукой и филосо-

фией. Одновременно Ницше обрушивается с критикой и на рационализм своей эпохи.

Что же такое музыка? Музыка и миф — две схожие формы философского искупления. Объясним подробнее.

Ницше проводит сравнение между античной Грецией и современной ему эпохой. То, что некогда произошло в Элладе, вполне может повториться в XIX веке. Чтобы спастись от тогдашнего иссушающего рационализма, надо воскресить в себе трагический дух. По мнению Ницше, надо возродиться трагедии. Нужно снова создать такое коллективное состояние души, когда она подчиняется иллюзии, навеянной мифом. Надо воссоздать добровольное ослепление и порыв к прекрасному. Трагедия возродится с возрождением музыки. Силою мифа горестная жалоба рационалистичной души превратится в экстаз перед улыбкой Аполлона. Музыка, тесно связанная с мифом, должна быть метафизической. Философия, как и современная наука, по неловкости разорвала покрывало благодетельной иллюзии. Музыкальная драма соткет это покрывало заново, и наступит возрождение.

Как видим, в этой части своих рассуждений Ницше полностью соглашается с теорией Шопенгауэра о метафизической музыке. Ведь Шопенгауэр возводил неопределенность в прекрасный идеал, а это идея по преимуществу метафизическая. Вкратце изложим здесь другой аспект воззрений Ницше. Тогда станет понятно, почему первая часть его учения, уже изложенная нами, должна была привести к тому, что он увидел в вагнеровском искусстве апофеоз музыки, а вторая, напротив, должна была заставить его выступить против Вагнера.

Заметим, что в это самое время Ницше в небольшой работе «О музыке и слове» развивал прямо противоположные идеи. Если прежде он соглашался с тем, что высокая миссия музыки — создавать мир мечты, который заставил бы нас забыть об окружающем мире, то в этой работе он отвергает тезис Шопенгауэра о музыкальном переживании, неизменно рождающем чувства и образы. Мы говорим о чувствах или мыслях, что они рождаются, а не извлекаются. Ницше утверждал: наслаждаться музыкой, позволяя ей пробуждать в душе чувства, а в уме зрительные образы, значит обречь себя на полное ее непонимание. Для чистого наслаждения музыкой надо наслаждаться самой

ее сущностью, надо прежде всего исследовать гармонию как таковую. То есть ничего похожего на экстаз, опьянение, очарованность. Но разве от такого исследования музыка не лишится всей своей прелести? И не погубит ли разум мечту? Безусловно, техника играет важную роль, но только при сотворении гармонии. Утверждать, что в музыке следует наслаждаться только техникой, значит утверждать, говоря словами одного нашего современника, будто нельзя любоваться красивым деревом, не зная, что оно состоит из клеток и волокон.

Столь явные, бросающиеся в глаза противоречия в творчестве Ницше могут показаться необъяснимыми, однако не стоит забывать, что он не только философ, но в равной мере и поэт, а значит, часто впадает в противоречие с самим собой.

В итоге в нем возобладают именно эти, новейшие идеи, ставшие одной из причин его окончательного разрыва с Вагнером. Ведь чисто метафизическая музыка Вагнера не могла стерпеть вмешательство Разума. «Увлечшись Вагнером, Ницше вслед за ним споткнулся о вагнеризм». Первоначальная концепция музыки у Ницше, однако, не могла не привести его к апологии вагнеровского искусства. Ведь в своих музыкальных драмах Вагнер соединил Аполлона и Диониса, Поэзию и Музыку. В то время Ницше видел в искусстве Вагнера надежду на возрождение Германии. Вот насколько его воодушевил этот взлет музыкального искусства, самого могучего из всех.

Историю отношений Ницше и Вагнера не стоит пересказывать лишней раз: она общеизвестна. Однако разрыв с Вагнером оказал на Ницше настолько сильное воздействие, что нельзя не упомянуть о причине этого разрыва. Философ воли к жизни был столь же щедрым в дружеских чувствах, сколь решительным в ниспровержении того, чему поклонялся. Но каждое из этих разочарований малопомалу ожесточало и без того уже смятенный дух. Разрыв с Вагнером стал для Ницше тяжелейшим ударом. Нельзя забывать о том, что в основе их дружбы лежало недоразумение. Она не могла продолжаться долго, ибо была построена на ошибке.

Ницше, страстный поклонник «Тристана и Изольды», видел в Вагнере лишь гениального творца этой трепетной любовной драмы. Он видел в нем лишь идеальное средство

для достижения цели — возрождения Германии через музыкальную драму. Стремясь обожествить композитора, он забыл о человеке.

В работе «Возрождение трагедии» он возложил на Вагнера грандиозную, непомерную миссию укротителя Германии. Зачарованный этой миссией, он забыл, что тот, на кого она возложена, — всего лишь человек, подверженный всевозможным слабостям, падкий на всякие соблазны. Однажды Ницше увидел все тщеславие, все мелкие слабости своего кумира. Последним ударом для него стало обращение Вагнера в христианство. Его бог нашел себе хозяина. С тех пор ему открылись все изъяны вагнеровского искусства. Однако он допускает несправедливость: заметив, что Вагнер как мыслитель навеивает скуку, он начинает презирать его как композитора. Разумеется, Ницше прав в том, что у Вагнера обилие символики, тенденциозность, наконец само либретто снижают воздействие его искусства.

Однако благодаря музыке как таковой Вагнер останется в вечности. А Ницше этого признать не захотел. Он низверг своего кумира и разбил его вдребезги. Недоразумение было исчерпано. Теперь, вдохновляясь своими новейшими идеями, Ницше будет яростно нападать на Вагнера в памфлетах. В этот период он отойдет от Шопенгауэра так же, как отошел от Вагнера.

Вот к чему сводятся идеи Ницше о музыке, вот каковы были последствия этих идей. А теперь попытаемся дать собственные оценки его философии и философии Шопенгауэра касательно сущности и значения музыки.

Попытка определения

В общем и целом музыку следует рассматривать как выражение некоего непознаваемого мира, спиритуального по своей природе, который смог выразить себя неким идеальным образом. Действительно, что может быть идеальнее музыки: ведь она не обладает формой, точнее, осязаемой формой, в отличие от произведений живописи или скульптуры. И однако каждый музыкальный отрывок обладает неповторимой индивидуальностью. Сонату или симфонию можно назвать памятником искусства с таким же правом, как живописное полотно или статую. У квар-

тетов Бетховена есть своя, легко распознаваемая архитектоника, которую можно назвать образцом совершенства. В этом и заключается одно из притягательных свойств музыки: она способна выразить совершенство в столь неосязаемой, мимолетной форме, что в этом не чувствуется никакого усилия.

Музыка — совершенное выражение идеального мира, вступающего в сношения с нами посредством гармонии. Жизнь этого мира протекает не выше и не ниже жизни реального мира, но параллельно ей. Мир идей? Пожалуй, да, или, если угодно, мир чисел, поскольку он устанавливает с нами связь через гармонию.

Почему этот мир сообщается с людьми? Ответ на этот вопрос можно найти в изумительном сочинении Плотина: Прекрасное, идея из идей, доступно лишь тому, кто несет Прекрасное в себе. А тот, чьи глаза «залиты гноем порока», не достигнет его никогда.

Доказательством того, что музыка приходит к нам из непознаваемого мира, может служить следующее: если какая-либо музыкальная фраза способна пробудить в нас чувства и образы, понятные только нам, то никакое чувство не способно пробудить в нас музыкальный образ.

Объясним подробнее. Один из способов наслаждаться музыкой — позволить ей пробудить, с помощью какой-нибудь особенно полюбившейся мелодической фразы, целый мир образов. Литературные и мифологические реминисценции, а главное, наши собственные воспоминания смешиваются друг с другом, создавая особенный, пестрый мир, который доставляет радость. Это своего рода заимствование из нашей духовной копилки. Так возникают толкования знаменитых симфоний и сонат. Эти толкования, впрочем, вполне произвольны, поскольку каждый человек может и должен создавать их сам, сообразно своим наклонностям. А потому любое толкование будет отмечено неповторимой индивидуальностью толкователя.

Итак, музыка способна пробуждать чувства различного порядка. А вот зримые картины, поэзия, литература, напротив, не способны пробудить музыкальные образы; имеются в виду четкие, определенные образы. Бывает, что стихи какого-нибудь поэта, например, Верлена, вызывают смутное ощущение музыкальности. Но, как правило, чув-

ства не могут навеять четкие музыкальные фразы. Это полностью подтверждает выдвинутое нами предположение. Ведь это доказательство того, что между нашим миром и миром, откуда исходит музыка, нет обратной связи. Такого рода явление может указывать на границу, разделяющую известное и неведомое. Если мы, услышав музыкальную фразу, без труда можем вообразить себе солнечный луч, вырвавшийся из-за облаков, то даже вид облаков, из-за которых этот луч вырывается, не сможет навеять нам ни малейшего музыкального впечатления.

Такие примеры можно приводить до бесконечности.

Главная причина тут — в очевидном факте: можно создать нечто новое из уже известного, а вот передать суть неведомого через известное нельзя. Поэтому не следует рассматривать музыку как некий язык. Это значило бы принизить ее. Или, если угодно, она — такой язык, с которого можно переводить, однако обратный перевод невозможен.

Музыке часто предъявляют еще один серьезный упрек: поскольку она способна пробуждать разные чувства, у нее одно лишь назначение — оживлять память; так ее низводят до нехитрого средства, возобновляющего приятные ощущения.

Таково мнение Пьера Ласерра, усмотревшего в этом возможность опровергнуть теорию Шопенгауэра. По нашему мнению, этот упрек необоснован.

Не спорим: если бы музыка лишь пробуждала те или иные приятные образы, ее роль вместила бы в куда более тесные рамки. Однако музыка этим не ограничивается. Безусловно, она может вызвать и литературные реминисценции, и личные воспоминания; но помимо этого она позволяет создать своеобразный, ни на что не похожий мир, который мы строим, пользуясь, как кирпичиками, навеянными ею образами и ощущениями. Так мы, опираясь на известное, творим новое. Это единственный вид творчества, на которое способен человек. Конечно, он сотворил сказочных животных и фантастических существ, но при этом он соединял друг с другом уже существующие элементы. Кентавр — это соединение человека и лошади. У ангела есть крылья. Дракон всегда составлен из различных зверей. У рая непременно должны быть врата.

Итак, неизвестное не может быть создано иначе, чем с помощью известного. То же происходит и в музыке. Таким образом, упреки к ней необоснованны: музыка обладает способностью не только будоражить нашу память, но и творить свое.

Подытожим: можно с полным основанием утверждать, что музыка есть выражение некой непознаваемой реальности. И эта реальность довольствуется единственным средством выражения, прекраснейшим и возвышеннейшим из всех. Этот способ выражения, то есть музыка, позволяет из малоценных элементов, которыми мы располагаем, с помощью нашего несовершенного ума построить идеальный мир, у каждого свой и непохожий на другие. Нечто подобное содержится в учении индуизма, согласно коему мир является производным от наших желаний.

В чем же тогда смысл и значение музыки?

Прежде всего в том, что она открывает путь к экстазу, позволяющему забыть о мире, в котором мы живем. Музыка позволяет совершить стремительное бегство, ощутить, быть может, непродолжительное, но истинное опьянение. Обретя возможность жить в другом, более чистом, свободном от убожества мире, мире, подобающем ему, созданном им самим, человек забудет о своих недостойных желаниях, грубых вожделениях. Он начнет активно жить той духовной жизнью, которая должна быть целью существования любого из нас. Фавны плясали вокруг растерзанного титанами Диониса, плясали, пока на них не находило экстатическое опьянение, пока они не забывали самих себя и не отдавались власти инстинктов, плясали, пока им не являлся Дионис, уже не страждущий, но в блеске славы.

Подобно этим фавнам, подобно всем, кто в хмельном упоении забывает свою жизнь, переносясь в другую, более заманчивую, мы должны пользоваться музыкой как волшебным эликсиром, дабы достичь священного опьянения, которое перенесет нас в Мир Мечты, позволив забыть Мир Страдания. Все признают за ней эту необоримую власть. Вспомним сцену из «Божественной комедии», когда Данте встречает в Аду тень певца, при жизни стяжавшего громкую славу. Поэт просит его спеть. Услышав пение, другие тени застывают на месте, словно зачарованные, забыв, где

они находятся, забыв, что здесь должен «оставить надежду всяк сюда входящий». И стоят так, пока за ними не являются безжалостные стражи.

Казавшееся шуткой признание Мюссе: «Музыка заставила меня поверить в Бога» — на самом деле было очень искренним, вырвалось из глубины души.

В наше время, более чем когда-либо, следовало бы вслед за Ницше поговорить об искуплении музыкой. Людям нашей эпохи с их рационалистичным, методичным умом, чувствами, иссушенными неумолимым делячеством, Музыка возвращает первозданную свежесть. Она становится духовным искуплением.

Народ, как и интеллектуалы, ощущает необходимость в подходящей для него музыке. Это проявление неизъяснимой потребности, присущей нам, потребности, которая вызывает жажду Идеального Мира, стремление забыть этот, слишком материальный мир. Музыка поможет забыть все, что ни есть темного и низкого в нашем существовании. Она позволит достичь прекрасной «наивности древних», порождавшейся, как мы уже знаем, способностью погружаться в мечту, чтобы забыть о действительности. Пожалуй, вернее всего будет сопоставить это с тем, что Жан Кокто в «Ужасных детях» называет «играть в игру». А именно: с полусознательным состоянием, в которое погружаются дети, властвуя над Пространством и Временем и давая волю мечтам. Это род экстаза, подобный тому, что дарит музыка. Экстаз этот кажется созданным для каких-то других, высших существ, потому что человека он приводит в изнеможение. Ведь как часто после концерта мы чувствуем себя обесиленными! Нахлынувшие эмоции истощают нашу несовершенную нервную систему.

Следовательно, мы, уподобляясь древним грекам, которые, больше других народов страдая от мук жизни, погружались в мечту и отрешались от всякого ощущения реальности, — мы, стремясь забыть о жестокости мира, жестокости, остро ощущаемой нами как людьми цивилизованными и потому чувствительными, погрузимся в мечту, прибегнув к помощи единственного искусства, способного дать нам забвение: музыки.

Чтобы завершить эту попытку определения сущности музыки, рассмотрим ее взаимосвязь с другими искусства-

ми: живописью, скульптурой, архитектурой. В принципе можно установить иерархию эстетических ценностей, в которой музыка заняла бы высшее место. Музыка — самое совершенное из искусств. С полным основанием было сказано, что она создает некий особый мир, ведь ей одной под силу достичь вершин Прекрасного. А остальным искусствам, несмотря на все их усилия, очевидно, не удастся достичь абсолютно прекрасного. Поэтому целая пропасть отделяет царство музыки от прочих искусств.

Кроме того, если рассмотреть поглубже цели и задачи каждого из искусств, создается впечатление, что живопись и скульптура, как и музыка, стремились прежде всего достичь гармонии. Живопись, конечно же, ищет гармонию в красках. Это весьма важная, хоть и не единственная ее цель. Именно это принесло, правда, несколько запозданный, но неоспоримый успех школе импрессионистов, которая путем разделения тонов достигает изумительных результатов в смещении красок и в их гармонии.

Скульптура ищет гармонию в формах. А что такое в античном ваянии каноны Праксителя, как не мерилка, позволяющие выверить точные соответствия между различными частями человеческого тела? Наконец, архитектура тоже стремится к простоте и гармонии линий. Поэтому греческие храмы и общественные здания входят в число прекраснейших: они соединили в себе простоту форм и гармонию линий.

И тем не менее, все эти попытки достичь гармонии не привели к совершенству, потому что эти искусства нагаливались на почти неодолимую преграду: материю.

А музыка, которой не нужно преодолевать материальное и которая вдобавок построена на чисто спиритуальной основе, на математическом субстрате, смогла достичь совершенства и сделать гармонию самой своей сущностью.

Вот чем объясняется необратимость музыки в другие искусства. Вот отчего из нее можно сотворить особый мир.

Тем не менее, мы полагаем, что, хотя музыка существенно отличается от прочих искусств по уровню и возможностям, природных различий между ними нет.

Так или иначе, у них всегда будет нечто общее: цель.

Все искусства, по определению, порождаются одним и тем же порывом человеческого духа к другому, лучшему миру, миру забвения и мечты.

Заключение

Как легко было заметить, в предыдущих рассуждениях мы всецело присоединялись к мнению Шопенгауэра и решительно отвергали ту часть эстетики Ницше, которая противоречила воззрениям философа Воли. По сути, эта часть эстетики Ницше сомнительна. В самом деле, она полностью противоречит тезисам, изложенным в наиболее характерном и наиболее значительном из его трудов: в «Рождении музыки». Нам могут возразить, что именно на эти сомнительные идеи опирался Ницше, когда после создания «Парсифаля» стал нападать на Вагнера. Но, как мы успели заметить, еще до этих нападков между Ницше и Вагнером возникли разногласия. И позволительно предположить, что в результате этого недоразумения Ницше ухватился за первый же предлог, позволявший ему выступить против Вагнера.

Поскольку мы принимаем лишь теорию, выдвинутую в «Рождении трагедии», то совершенно ясно, что мы не разделяем мнения, изложенные в работах «Казус Вагнер» и «Ницше против Вагнера». Если бы Ницше мог, как прежде, закрывать глаза на слабости человека и принимать во внимание лишь гений композитора, он понял бы, что его эстетика нашла воплощение в творчестве Вагнера. Прежде всего, сюжеты вагнеровских опер возвращают нас к мифу. Разумеется, вся его мифология отдает помпезностью и фальшью. Но тем не менее, эта мифология способна заставить нас грезить. При всей своей фальшивости и надуманности она способна дать забвение. А еще Ницше понял бы, что союз мифа и музыки у Вагнера более успешно, чем у любого другого композитора, претворился в музыку метафизическую, и не стал бы называть эту музыку декадентской. И уж, конечно, не стал бы противопоставлять Вагнеру Бизе. Надо осредиземноморить музыку, говорил он. То есть музыке, по его мнению, недоставало той склонности к мечте, которая жила в душе древних греков.

Но зачем же тогда обращаться к холодному Бизе, чьи бравурные арии изрядно устарели, и противопоставлять его Вагнеру, переполненному лиризмом и нежностью, Вагнеру, который не устарел и не устареет никогда?

Один лишь факт противопоставления «Кармен» «Тристану и Изольде» подтверждает справедливость нашего

предположения: Ницше, разочаровавшись в человеке, безотчетно искал предлог для нападков на композитора.

Для того, кто видит в музыке то же, что и мы, — подательницу забвения, Вагнер останется одним из немногих композиторов, которым удалось полностью осуществить этот идеал. Прежде всего из музыки, как и из всякого другого искусства, следует изгнать рассудочность. Довольно с нас этой музыкальной эквилибристики, этих «Игр воды» или «Садов под дождем», требующих специального анализа для разгадки авторского замысла. Следует, впрочем, сделать исключение — для Стравинского. Заметим все же, что если у этого композитора в изобилии встречаются звуковые подражания сценам сельской жизни, шум на скотном дворе и тому подобное, то всякий раз это преследует только одну цель — дать почувствовать душу некоей страны. В этом творчество Стравинского смыкается с фольклором, а следовательно, и с мифологией, что опять-таки делает его аргументом в пользу нашей теории.

Подводя итоги, надо сказать следующее: подлинно животворная музыка, та единственная, что сможет тронуть и доставить истинное наслаждение, будет Музыкой Мечты, изгнавшей из себя всякую рассудочность и всякий анализ.

Не надо стремиться сначала понять, а только затем почувствовать.

В искусстве нет места рассудочности.

МАВРИТАНСКИЙ ДОМ

Тревогу, витающую под куполом прихожей, таинственную притягательность синего коридора, ошеломление от внезапно хлынувшего света, усиливающего воздействие короткого полутемного прохода, который, наконец, приводит к широко раскинувшемуся, залитому светом патио, — все эти утонченные и мимолетные переживания, вызванные первым посещением мавританского дома, мне захотелось развить, обобщить, очеловечить, показать в их взаимосвязи с созданиями природы. Мне захотелось воздвигнуть дом переживаний, мавританский по планировке и по стремлению уйти от действительности. Вот он, этот дом: в нем чередуются островки синего сумрака и залитые солнцем дворики. Один и тот же вопрос возникает в темноте и при свете дня.

В час, когда надежды уже нет, я уступил тщеславному желанию построить его, и в обольщении этой новой мечты, вопреки всему, продолжал надеяться. Я сказал ему: «Горделивый, тщеславный, ревниво охраняющий замкнутый внутри мир, дай мне забытья». Но я больше не хочу забывать, и теперь я его ненавижу. Он рухнет: я поддерживал его своей былой верой и былыми чаяниями, исчезнувшими ныне.

Прихожая

Я вышел на террасу, откуда можно было охватить взглядом весь арабский город и море.

.....
Чайки носятся в воздухе, от этого вечер становится мягче, а город, забывший буйные краски дня, постепенно тускнеет от печали. Краски медленно растворяются,

но остается мятежный, прекословящий времени, головокругительно крутой спуск к морю. Мир, нисходящий с неба, нарушен этими домами, что теснятся до самой воды, с которой они сшибаются без всякого перехода. Отпихивая друг друга локтями, они прокладывают улицы, тупики, лабиринты террас, строящих глумливые рожки вечернему покою. Эта спускающаяся к воде толпа — живая, она обладает чувствительностью и прекрасна в своей безнаказанности. Ее возбуждение так неподдельно, так человечно, что начинаешь чуть ли не сердиться: ну отчего она не кричит? Крики взорвали бы напряженное противостояние, которое подкрепляется, насыщается тишиной.

Но пора забыть о городе и посмотреть в дальнюю даль, на море, гладкое и безмятежное, где буксиры вычерчивают прямые линии, которые расходятся трепещущей пеной. Пора взглянуть, как оно всею ширью устремляется к первым звездам, сбрасывающим покровы, непорочным и бесстыдным. И тогда покой вод сливается с покоем небес, а город, оставшийся вне поля зрения, тщетно пытается нарушить эту быстротечную гармонию.

Когда небо затянула ночь, я дошел до порта. Я долго смотрел на огни пакетбота среди темных вод. И тревога вернулась, когда я созерцал первозданную смесь воды и света, у которой не поймешь: вода ли это перемешивает свет, или же свет затопляет воду. Тревога при виде противоборства двух стихий. Ужасный, жестокий двойной ритм, как в джазе, чуждый томлению, возникающий от вида воды и света, города и неба, неотвязный.

Подобно бесполом голосам в соборах, мгновенно взлетающим к самым высоким сводам, в то время как неразличимая масса хора умолкает, дабы сделать заметнее полет этой пылающей стрелы, — подобно этим голосам, чья отчаянная мольба длится и длится, без единого срыва, пока не замирает в конце, подобно этим мистическим голосам, упивающимся своим мистицизмом и забывающим о куполах, что отделяют их от Бога, подобно этим настойчивым, опирающимся на хор голосам, алчным и самозабвенным, подобно этим горделивым жалобам, которые можно понять, лишь поняв сладострастие Церкви, — подобно этим голосам, обретающим искомое не в поиске, а в самопожертвовании, я некогда мечтал о жизни.

Огромный парк стонет под ударами ветра, и наполняющая его жизнь вздыбливается под дождем. В резком запахе раскисшей земли дробный стук капель по широким листьям похож на жалобу. Безмерная тишина, царившая перед грозой в городском парке, сейчас сосредоточилась в беседке, где я укрылся. С глухим упрямством я смотрю и смотрю на дождь, вызывающий на мгновение крохотных водяных на поверхность бассейна или любовно приникающий к земле. От этой смятенной поэзии вовсе не веет одиночеством, но она не вызывает в душе ничего, кроме горького отвращения к прекрасному и возвышенному. Душистые дуновения мокрой земли и мимоз колеблют влажный воздух, широкие листья аканта хлопают, вскидываясь и опадая.

В парке — только дождь и ветер, плеск воды, скатывающейся с листьев, их нервный шелест. Пронзительный крик дрозда улетает и укрывается где-то вдаль. Затем — тишина. Отчетливо слышна каждая протекающая минута, и в каждой минуте — томительный страх перед близким концом.

Долго, долго дождь барабанит по крыше беседки. Потом все успокаивается под еще хмурым небом. И жизнь пробуждается вновь, пока безутешная вода медленно стекает с блестяще-матовых ветвей. Ждешь в наступающем вечере, когда скрипнут в последний раз стволы бамбука. Вечер! Мне приходят на ум чудесные ткани, что висят у арабских купцов. В этот час я снова вижу в сияющих золотом лавках синие и розовые тона, по-детски простодушные, волшебные ткани из золота и шелка, беспричинно смеющиеся, облагороженные светом. И стойкое многоцветье наглых желтых, безразличных к гармонии розовых, безвкусно синих тонов вновь напряженно живет во мне, словно невнятный зов, целый гарем тканей, бестолковый и беспокойный женский мирок. Праздничные одежды висят на плоских манекенах, улыбающихся глупо и самоуверенно.

Выходя из ядовито-душного томления сада, я вспоминаю, что подглядел эту оргию красок на темной, крутой улочке, которую любил за то, что она не желала нести меня, а лишь упрямо и неохотно позволяла ступать по ней. И в тот вечер я замер на месте, не зная, на чем остановить взгляд, ослепленный этим ликованием красок, перелива-

ми тонов, — ошеломленный, ушибленный, потрясенный, восхищенный взгляд.

А затем, как сейчас покидаю то, что мгновение было моей жизнью, я с разгоревшимся взором покидал те лавки — и все же вспоминал о воде, барабанящей по тихой беседке.

Прорыв света

Подобно тому, как в арабских домах, в конце коридора, который избыгает полумрак, превращая его в длинную струйку синевы, изумленно останавливаешься перед внезапным прорывом света, и все чувства и мысли замирают в мгновенном приобщении, бессознательном и потому счастливым, — так однажды, выйдя из своего внутреннего мира, я увидел покой и свет, не вглядываясь в них и не задумываясь о том, было ли это наконец то мучительное счастье, к которому я стремлюсь во что бы то ни стало.

Я был уже подготовлен к этому жарким забытьем, которым наслаждался в удаленном дворике музея. Солнце изгоняло из этого замкнутого дворика всю его ложную сентиментальность, — в итоге она укрылась в изящной колоннаде. Немного вычурная архитектура со стрельчатыми арками и мозаичным орнаментом отступила перед благоуханным избытком солнца.

По углам квадратного водоема крепкие стволы папируса жадно тянулись к свету. А наклонившись над бирюзово-прозрачной водой, можно было разбудить зеленые нити, медленно встающие со дна.

Разомлевшие от жары широкие плиты призывали к отдыху. И ты вкушал забвение, одетый солнцем, живя бездумно, а главное, бездеятельно, лениво развалившись, весь во власти единственного ощущения — накатившего зноя. Надо всем этим виднелась горделивая и свежая синева неба. Ни звука, ни птичьего щебета, ни лягушачьего кваканья — лишь невнятное, усыпляющее гудение зноя.

Порою, лишь открыв глаза, ты замечал ветви и листья, неподвижно застывшие в арке окна, в глубине дворика. И созерцание этой живой природы не вызывало ничего, кроме инстинктивного желания вернуться к первоначальному небытию. В тот день я примирился с солнцем. Я угадал в нем очистительную силу, уничтожающую бес-

причинное томление и пустую мечтательность. Но позже долгое блуждание по городу привело меня к маленькому мусульманскому кладбищу. День был безмятежен. Кладбище под сенью фиговых деревьев охраняла мечеть. Надгробия в виде колыбели не наводили на скорбные раздумья; надписи на них успокаивали своей непонятностью. Было около полудня. Впереди тянулась площадка, откуда открывался вид на крыши, сбегавшие вниз и исчезающие далеко-далеко, в синеве моря. Солнце слегка разогревало белый, нежный воздух: покой. Возле надгробий никого не было. Казалось, мертвые должны быть довольны этим тихим убежищем. Сейчас им довольно было лишь тишины и покоя, чтобы научиться безразличию. От гладких беломраморных плит, испещренных причудливыми тенями фиговых листьев, взгляд устремлялся к беленой ограде, а затем скользил по крышам и, наконец, терялся в море.

В этом замкнутом тихом уголке, в безмятежной белой бесконечности я стал презирать ту любовь к патетике, которая так часто управляла мной. Не то чтобы в этом безмолвном жилище заключалось какое-то назидание, оно просто существовало, жило мирной, безразличной жизнью, не снисходившей до презрения. Оно было согласнo дать приют страстям и безумствам, но так, чтобы не отворачиваться от синей умиротворяющей бесконечности в дымке чудесного далека.

Под стеной мечети пролегла легкая тень, один вид которой давал прохладу. И если бы не эта тень, продвигавшаяся все дальше и одно за другим накрывавшая надгробия, то показалось бы, что жизнь здесь остановилась и бег времени прервался. Кладбище созерцало. В этой остановке жизни не ощущалось усталости, одна лишь полнота безразличия.

Но вот испуганная птица, шумно завозившись в ветвях фигового дерева, привнесла свою поэзию в этот покой, и все его очарование было разрушено.

Я спустился в город.

Последний полумрак

У каждого дома есть своя драма. Любимых домов у меня два. Один из них — арабский дом. Под насмешливыми красками он скрывает важность ухода в идеал

и в бесконечность. Другой — серый дом, скрывающий великую драму посредственности. Я люблю оба дома за то, что они ведут свой поиск, прикрываясь личиной равнодушия. Они осторожны и замкнуты, ибо не хотят казаться смешными с их страстным призывом к бесконечности. Они хотят, чтобы их считали веселыми или равнодушными, и не хотят, чтобы все всё узнали. Как я понимаю их!

Ненавижу эти горделивые и тщеславные дома так же, как порой ненавижу себя самого — за глупую гордыню страдания и несвободы. И сегодня, когда я выхожу из мавританского дома, моя ненависть вопрошает их, словно меня самого: «А все-таки сможем ли мы забыть задумчивые напевы ради песен пылких и жестоких, — и банальных, дабы избежать приподнятости и исключительности? Арабский дом с игрой тьмы, сумрака и света, научи меня усталости».

Стоя на пороге этого дома, я глядел, как наступает ночь. Летучие мыши крупным замысловатым почерком уже выписывали на небе свое неосознанное отчаяние. Еще не веря себе, в этот ленивый час напряженного дня я чувствовал, как сопротивляются во мне отступающие тревоги. На исходе вечера, в час, столь любимый прежде, я чувствовал омерзение. И юность моя уповала на возвращение света, долгих часов, когда палящее солнце сжигает пшеничные поля, и оттуда поднимается к небесам вкусный запах жарева, запах перегретого хлеба, — часов, когда упоение зноем приносит с собой приобщение, обретаемое в блаженном смирении, в головокружительной мучительной паузе, в звонкой глухоте, которая делает тебя добрым, сострадательным, великодушным. Я слишком страшился утонченности, а потому убеждал себя, что величие может быть лишь в паузе и приобщении. От бешенства, вызванного поражением, я захотел, наконец, перестать быть подростком, верующим в свою гордыню, и стать зрелым, сложившимся мужчиной, доносящим свои привычки до самой могилы, захотел бояться смерти без усложнений и без одержимости, просто потому, что должно бояться смерти, захотел никогда не лить слез — не из геройства, а от опошления, никогда не лгать — не от искренности, а по скудоумию.

И стоя на пороге этого дома, под куполом, куда я снова возвратился, я видел, как хрупкий мир тонет в ночи, и старался уверовать, что во мне бунтует юность, жаждущая смирения, которого прежде стремилась избежать, и света, которого прежде сама себя лишила.

Патио

Освальд (странным голосом):
— Мама, дай мне солнце.

(Ибсен, «Привидения»)

Есть образы, тесно связанные с миром наших чаяний и настолько близкие нам, что при виде их нельзя мыслить смело и точно, можно лишь изъясняться тихо-тихо, про себя, бесцветными и стертыми словами, которым придает новый смысл лишь острое чувство сопричастности. Так, я вспоминаю, какие образы принимает природа Алжира под брызгами летнего солнца. Вспоминаю шерщельские оливы в золотой пыли, как они, тощие и взъерошенные, поднимаются над пылающей, тяжело дышащей землей. Вспоминаю глубокие долины Кабилии в полдень, когда уже не плавают кругами в небе большие птицы, которыми я любовался по вечерам. Из глубины этих долин ко мне поднимался покой смирения, а я, склонившись, глядел на обжигающую белизну пересохших рек и наслаждался великолепным головокружением. Я вспоминал также о деревушках на берегу моря, где пытался постичь совершенство, созерцая безупречную синеву воды или вбирая сквозь ресницы слепящее многоцветье добела раскаленного неба. Морская гладь не омрачалась ни единой морщинкой, и даже малейший намек на движение был бы для меня поистине невыносим. Хоть я никогда не любил ту землю, где родился, все же задаюсь вопросом: обрету ли я в другом краю такой же восторг отречения, какой вкусил под этим солнцем?

Это опьяняющее изнеможение, жаркое забытьё, эта полнота жизни, благодетельное небо, бесконечным потоком льющее свет — едва ли их найдешь в других краях. И разве в других краях смогли бы понять знойную лень на террасах мавританских кофеен, где коренные жители, полузакрыв глаза, упиваются сумбурной симфонией света?

Когда я вновь переживаю эти минуты, меня охватывает благодарное волнение. Я думаю о том, что минуты эти были счастливыми от отсутствия напряженного стремления к счастью и что после этих минут забвения я сторал от жажды быть благородным и сострадательным. Я умел любить. Я знал, что затраченных усилий хватит для самопознания.

Наслаждаясь песнями, улыбками и танцами, забываешь о гнетущей печали и постылой тоске; глядя на стаи птиц на островах, склоняясь над прозрачными, как стекло, источниками, уйдя в созерцание бесконечно влекущего морского простора, забываешь о бесплодных сомнениях и мелком самолюбии. А если вглядываться в страдания, уродство и нищету, можно сохранить отвращение ко всякой низости и жалость, прежде боявшуюся заявить о себе.

Там, под моим алжирским небом, я осознал всю суетность своих тревог и возмечтал об иных, неведомых страданиях. Слишком сильно стремился я уйти от действительности, и мне открылось, что есть другой, малоизведанный путь к бегству: когда в опьянении природой забываешь о Мечте.

И еще, перед этим изобилием света, я чувствовал, как вместе со слезами, подступающими к горлу, из души рвется страстная молитва: «Ты, безмянный, дай мне забыться».

Но воспоминание бесплодно. Пора вернуться к сверкающим полудням, к чистым и резким краскам, пора вновь увидеть оливковые рощи Шершеля, долины Кабилии и деревушки, теснящиеся у самых волн.

Настало время любить, пора омыться в неясной музыке зноя и солнца.

Вместо заключения

Медленно, в самозабвении и в сосредоточенности, равно как и в безмятежной радости, строил я свой дом. Теперь он построен, я гляжу на него — и сожаление питает во мне затаенные и сладостные чувства, от которых он оберегал меня. Я в тревоге оттого, что придется начинать искать заново, ведь дом закончен, а значит, больше мне не принадлежит.

Пока он еще не был создан, в прохладной полутьме его уединенных комнат я внимательно следил за медленным расцветом чувств, которые, еще не определившись, все же давали мне совершенные радости, непостижимые редчайшие цветы, выросшие во влажной теплице Мечты.

Теперь дом воздвигнут, и я в отчаянии ощущаю, как он ускользает от меня, с мучительной ясностью вижу, как медленно и неотвратимо приближается он к пропасти, где позабудет о человеке, которого защищал, и вместо белой штукатурки будет одет лишь волшебной дымкой воспоминаний.

ИСКУССТВО ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ

...И я могу поддержать лишь того,
кто ищет, стесняя от боли.

Паскаль

Когда молодой человек стоит на пороге жизни, еще не успев приступить к какому-либо делу, он обычно чувствует огромную усталость и глубокое отвращение ко всему мелочному и суетному, что одолевает его, несмотря на отчаянную борьбу, и кроме того, в нем зреет инстинктивное неповиновение. Его гордыня восстает против обыденной жизни, которая от этого становится еще унижительнее. Он все подвергает сомнению: самые основные понятия, социальные установления, — все, что ему внушали. И, что хуже, сомнению подвергается и более важное: Вера, Любовь. Он понимает, что он — никто. Он одинок, он в растерянности. Но он знает, к чему стремится, знает, что может кем-то стать: ему жизненно необходимо определить, каковы его перспективы. С другой стороны, он понимает всю бесплодность того, что я назвал бы необузданной рефлексией. Осознание собственной неопытности причиняет боль, но приносит ясность: свобода для него заключается в том, чтобы отдать себя, а добиться независимости можно, лишь выбрав для себя зависимость. Его положение драматично: он должен сделать выбор. Пусть этот выбор зовется «Бог», или «Искусство», или «Я сам» — это значения не имеет.

И только тогда юноша, совсем недавно отступивший перед жизнью, может возвыситься над ней и забыть ее. Вот так же поднимается над жизнью Искусство.

Искусство не противопоставляет себя жизни, оно просто не замечает ее.

Задержимся на этом выводе. Как объяснить сказанное? По сути дела, искусство борется со смертью. Когда художник стремится завоевать бессмертие, им владеет не только суетная гордыня, но и праведная надежда. Вот

почему необходимо, чтобы искусство отделилось от жизни и не замечало ее, ведь жизнь преходяща и ведет к смерти. Искусство — это Пауза, между тем как жизнь несется без остановки, а потом гаснет. То, что пробует и пытается сделать жизнь (эти попытки безуспешны: ведь она не может вернуться, чтобы завершить свою работу), осуществляет искусство. Художественные впечатления, группируясь и накапливаясь, занимают место между жизнью и нашим сознанием, образуя нечто вроде занавеса. Как только мы начинаем смотреть сквозь эту благоденственную призму, у нас возникает смутное чувство освобождения.

Над жизнью, над ее рассудочными рамками, живет искусство, совершается Приобщение.

*

И это характерно для любого из искусств. Думаю, так можно с полным основанием сказать об архитектуре, живописи, музыке. А затем, с таким же основанием, о самой жизни.

Я назвал архитектуру, несмотря на то, что она, казалось бы, наоборот, служит повседневной, быстротечной жизни. Но взгляните на архитектуру арабского дома. Как правило, дом начинается с квадратной прихожей под куполом, затем попадаешь в коридор, уводящий в синий сумрак, затем — внезапный прорыв света, и другой, узенький коридорчик, отходящий от первого под прямым углом и ведущий в патио — просторный, раздающийся вширь, бесконечный. С этим архитектурным приемом можно сблизить некий закон, управляющий нашими чувствами: если подумать о тревоге, которая витает под куполом прихожей, углубляется в смутную и влекущую синеву коридора, потом в первый раз озаряется светом, но снова оказывается в коридоре сомнений, и наконец достигает безбрежной истины патио, то разве не придет в голову, что на пути от прихожей до патио проявляется воля к бегству, столь точно отражающая потребности восточной души? Не думаю, чтобы за этим крылась лишь игра ума. Нельзя ведь отрицать, что арабу присуще стремление создать собственный мир, упорядоченный, носящий отпечаток его личности мир, который позволил бы ему забыть мир внешний. Такой мир созда-

ет ему его дом. Вот хотя бы такой факт: снаружи невозможно разглядеть ничего, кроме прихожей. Когда стоишь перед мавританским домом, невозможно представить, какие богатства ощущений скрыты внутри.

Вспоминаются также средневековые соборы. Нельзя не удивиться, узнав, что их архитектура подчинена символам и диаграммам, которые можно назвать мистическими. Вдумаемся, сколь важное место занимает в ней треугольник, символ триединства и совершенства: три треугольных шпиля над фасадом, детали внутреннего убранства, мотивы витражей и тому подобное.

Я потому так много говорю об архитектуре, что хочу привести в этом эссе особые, на первый взгляд непоказательные примеры. В заключение этих архитектурных демонстраций процитирую Плотина: «Это все равно что задаться вопросом: как зодчий, соединив настоящий дом с мысленным представлением о доме, может утверждать, что этот дом красив? А дело в том, что внешний вид дома, если оставить в стороне камни, есть не что иное, как мысленное представление о нем, распределенное по всей совокупности вещества и проявляющее в многообразии свою неделимую сущность» («Энеады», I, кн. 6).

Если обратиться к живописи, несложно доказать, что она создает собственный мир, порою логичнее мира реального: я говорю о Джотто.

У этого художника церкви или дома меньше человеческих фигур. Его герои застыли в торжественной тишине совершающегося великого деяния. На втором плане, позади фигур и на фоне пока еще условных пейзажей¹, видны церкви и дома, кажущиеся крохотной мебелью в кукольном домике. Этому подыскивали всевозможные объяснения, от элементарного — незнание перспективы — до более обоснованного: такая аномалия вызвана тем, что фрески Джотто располагаются на большой высоте. Недавно, однако, додумались и до более простой причины.

Желая возратить человеку его духовное превосходство, Джотто символически выразил его через внешнюю диспропорцию. Тем более, что его героями обычно бывали святые, в частности, Франциск Ассизский. Таким обра-

¹ Имеется в виду традиция византийского искусства.

зом, мы вправе сказать, что Джотто исправлял жизнь, создавал другой, более логичный мир, в котором всему уделялось настоящее место.

Но живопись предоставляет нам и другие примеры. У современных художников, от импрессионистов до кубистов, через посредство Сезанна, очевидно сознательное стремление создать особый мир, резко отличающийся от видимой реальности. У импрессионистов Сезанн научился смотреть на природу своими глазами, чувствовать ее по-своему. Он привык видеть в ней скорее объемы и цвета, чем линии. А кубизм довел эту тенденцию до крайности: у созданного им мира минимум сходства с привычным нам трехмерным миром. Поэтому кубизм прозвали «гиперсезаннизмом».

Литературе я уделю меньше внимания. С поэзией все ясно: о поэме-молитве, о ее чарующей силе, магии, мистицизме стиха сказано более чем достаточно. Упомяну только одно, единственное в своем роде явление в прозе, которое в подобных случаях всегда приводят в пример: натурализм. Несмотря на все, сказанное о нем, осмелюсь утверждать: ценность натурализма — только в том, что он добавляет к жизни. Нередко он обожествляет грязь, но тогда это уже не грязь. Это уже не натурализм, это романтизм. Стало банальным видеть в Золя романтика. Но без этой банальности не обойтись.

А теперь, наконец, перейдем к музыке. С этой точки зрения, как и со всех остальных, музыка — совершеннейшее из искусств. Едва ли найдется хоть малейшее сходство между музыкальной фразой и явлениями повседневной жизни. Нет ничего идеальнее этого искусства: оно обходится без каких-либо осязаемых форм, в отличие от живописи и скульптуры. И однако всякое музыкальное произведение обладает неповторимой индивидуальностью. Соната или симфония — такие же памятники искусства, как картина или статуя. В музыке совершенство выражено столь свободно и столь легко, что для этого не требуется никаких усилий. Музыка творит жизнь. Она также творит смерть. Вспомним восхитительную сцену в «Божественной комедии», где Данте встречает в Аду одного из знаменитых певцов своего времени. Поэт просит его спеть. И те ни зачарованно останавливаются при звуках его голоса, забыв, что находятся в таком месте, о котором сказано:

«Оставь надежду, всяк сюда входящий». И стоят там, покуда за ними не являются неумолимые стражи.

Однажды Мюссе сказал как бы в шутку, но на самом деле очень искренне и глубоко: «Музыка заставила меня поверить в Бога». И в этой вековой победе музыки над жизнью можно удостовериться, слушая музыку Вагнера.

Никакой центрообразующей точки, сплошное единообразное текучее целое. Из недр этого целого пытается пробиться мелодия, она крепнет, затем сникает и обретает живую плоть лишь к концу¹. Об этой музыке нельзя судить во время ее исполнения: слишком сильно воздействует она на чувства. Но когда звуки стихают, когда сотканное оркестром длинное полотно медленно расплетается, — только тогда слушатель осознает, что вкусил забвения. Вся эта бесформенная глыба мрака, вся эта сладострастная безличность, весь этот диалектический синтез не имеют ничего общего с жизнью: это бегство от жизни.

Когда слушаешь Баха, ощущаешь то же самое, только еще сильнее; величавое спокойствие его музыки поднимается над обыденностью легко и непринужденно, одним взмахом крыла. В его чистейшем искусстве, в его незыблемой вере не замечаешь трепета — разве что трепет совершенства, поддерживаемого и сохраняемого каждую минуту неким чудом, которое повторяется вновь и вновь.

И это мы находим в музыке повсюду. Моцарт? Божественная улыбка невидимых уст. Бетховен? В древних германских сказаниях говорится о блистающих, неистовых духах, что проносятся в грохочущей грозовой туче. Шопен? Чувствительность, доведенная до совершенства. Каждая нота балансирует на грани банальной и глупой сентиментальности. Величие Шопена в том, что он всякий раз бесстрашно подходит к этой грани, рискуя утратить аристократизм идеала и снова ввергнуться в обыденную жизнь.

Итак, музыка — совершеннейшее из искусств. В ней, с такой ясностью, как нигде, мы смогли увидеть воспарение искусства над жизнью. Но все искусства объединяет общее стремление: не замечать жизни.

¹ «Тристан и Изольда». Интродукция. Смерть от любви.

Означает ли это, что искусство — божественно? Нет. Но искусство — это средство достичь божественного. Нас могут упрекнуть в том, что мы принижаем искусство, рассматривая его как средство. Но порою средства оказываются прекраснее целей, а поиски истины — прекраснее самой истины. Кто не мечтал о такой книге или таком произведении искусства, которое было бы лишь началом и несло бы в себе надежду, без разочаровывающего финала? Правда, наряду с искусством, есть и другие средства: они зовутся Верой и Любовью.

Если Поль Клодель символист и в то же время реалист, если он прост и в то же время изыскан, мрачен и могуч, суров и резок, прежде всего он мистик. Он понял, что человек сам по себе — ничто, и должен отдать себя чему-то более высокому. Он выбрал христианского бога. И приносит в дар этому богу свое достояние: поэтическое искусство, которое сумел вознести выше нашего мира и из которого творит истинную жизнь, — язык, способный выразить всю глубину и таинственность замысла, и, по-видимому, мистические озарения.

Его строки побудили меня собрать в одной работе разрозненные ощущения — ошибочно называемые идеями — и придать этим ощущениям умиротворяющую связность. Человеку необходимо уверить себя в том, что он способен занять позицию, продиктованную логикой. Этот фанатик соразмерности всегда тяготеет к порядку. А потому эта работа, вдохновленная строками Клоделя, — не столько критическое исследование, сколько самостоятельное эссе, и, хоть и опирается на единичные случаи в искусстве, достигнет, думается, и более значительных целей.

*

В самом начале я говорил о юноше, робеющем перед жизнью. Обратившись к искусству, он, все еще потрясенный безобразием действительности, погружается в мечту. Но там, увы, его ждет другая действительность, со своими красотами и уродствами. Причина, по-видимому, в том, что мечта, по нашей вине, слишком зависима от жизни. Помимо воли, самим фактом существования, мы соединяем вместе этих двух, казалось бы, непримиримых врагов. И здесь, и там нас ожидают одни и те же горес-

ти. И тогда молодой человек понимает: Искусство — это не только мечта. Он убеждается в том, что должен избрать в повседневной жизни предмет искусства и вознести его над пространством и временем. Он понимает, что для искусства необходима Пауза, когда происходит Приобщение.

В самом деле, достичь завершенности, величия можно лишь во время Паузы. Жест актера, произведение скульптора становятся завершенными, только если сумеют задержать и закрепить в себе некое мгновение в ходе вещей, доставляющее нам радость. Задумчивое, бесплодное томление сумерек надо озарить ярким светочем искусства. Может ли быть что-то более волнующее, чем эта Пауза — результат равновесия двух могучих сил, напряженная неподвижность слишком равной борьбы, — или чудесный сплав, рожденный в битве? Не надо пытаться узнать, что скрывается за хрупким миром жеста и формы. Надо погрузиться в него и приобщиться к нему. Мы устали от тщетных поисков истины: они могут дать лишь оскорбительное ощущение бесполезности. Свойство искусства — «закреплять в вечных формулах то, что витает в туманном мире видимостей»¹. Искусство выделяет предмет своего созерцания из быстротечного потока явлений, и этот предмет, бывший лишь невидимой молекулой в тусклом и однообразном потоке, становится бесконечным множеством, которое разливается по жизни и скрывает ее под собой.

Заключение

Перечитывая эти страницы, я не нахожу в них желаемой целостности. Наверное, потому, что это не утверждение, а поиск. И все же, кажется, мне удалось доказать, что искусство возникает в Приобщении, совершающемся вне жизни, удалось объяснить, почему это так, и подкрепить эти рассуждения примерами.

Однако остается ощущение, что полной ясности я не достиг. Отправной точкой для этой попытки дать определение искусству стала картина жизни и того отвращения, которое она возбуждает в юной душе. Чтобы достичь

¹ Шопенгауэр.

искусства, следует отвернуться от жизни. Значит, должно существовать нечто такое, от чего надо было отвернуться, чтобы познать искусство. И следовательно, искусство не может отрицать жизнь. Искусство должно предполагать ее существование, пусть в качестве пугала. Задача остается нерешенной. Выходит, для нее нет решения?

Все горе в том, что наше стремление к целостности всегда наталкивается на непреодолимую двойственность. Некий двойной ритм, навязчивый и деспотичный, царит в окружающей жизни и в умах, он способен не просто привести в изнеможение, но и привести в отчаяние.

Но падать духом непозволительно. Изнеможение и скепсис не заменяют выводов. Надо идти дальше. Надо во что бы то ни стало побороть навязчивую двойственность, пусть даже для этого понадобится совершить подвиг веры.

Юноше, по чьим следам мы шли до сих пор, этому юноше, сталкивающемуся с непостижимым для него миром, нужно увериться, что в его лице бунтует целое юное поколение, жаждущее смирения, которого прежде желало избежать, и света, которого прежде само себя лишило.

ГОЛОСА БЕДНОГО КВАРТАЛА

МОЕЙ ЖЕНЕ

25 декабря 1934 г.

1

Вначале это голос женщины, которая не думала.

Неверно называть это воспоминанием, скорее это призыв. Мы не пытаемся найти в этом ни былого счастья, ни бесполезного утешения. Но от часов, которые мы возвращаем из глубин забвения, сохранилось главным образом воспоминание об испытанном нами чистом волнении, о мгновении вечности, подарившем нам сопричастность. Только это истинно в нас. А осознание всегда приходит слишком поздно. Это те часы, те дни, когда мы любили. И вновь становятся близки взмах руки, дерево, оживляющее пейзаж. Чтобы воссоздать любовь, есть лишь одна, мелкая деталь, но и ее достаточно: духота в слишком долго запертой комнате, особенно отдающийся звук шагов по дороге. Мы любили, отдавая себя, а по сути были самими собой, ибо только любовь помогает человеку вернуться к самому себе. Вот отчего, наверное, эти часы былого так притягивают. В них познаешь целую вечность. И даже если она обманет, ее все равно встретишь с волнением.

Вечером, в печали уходящего дня, в смутном томлении слишком серого, слишком тусклого неба, эти часы медленно оживают, столь же яркие, столь же волнующие, ставшие, быть может, еще более пьянящими оттого, что пришли из такого далека. Мы обретаем их вновь во всем, что делаем; однако напрасно думать, будто это узнавание способно породить что-либо, кроме печали. И тем не менее эти мгновения печали слаще всего, ведь их печаль почти безотчетна. И только когда чувствуешь, что они подходят к концу, душа просит покоя и безразличия. «Потребность в покое нарастает по мере того, как

гаснет надежда, и в конце концов одерживает верх даже над жадной жизнью»¹. Если бы пришлось рассказывать об этих часах, голос наш звучал бы мечтательно, как бы затуманенно, словно мы читаем роль, словно обращаемся к самим себе, а не к другим. В сущности, быть может, именно это и называется счастьем. Оглядывая череду воспоминаний, мы облачаем всё в одинаково приглушенные тона, и даже смерть представляется выцветшей драпировкой на заднем плане, не такой страшной, почти умиротворяющей. И когда, наконец, путь преграждает какая-нибудь сиюминутная потребность, мы чувствуем прилив нежности, порожденной возвращением к самим себе: сознавая свое несчастье, мы любим себя сильнее. Да, быть может, это и есть счастье — расстроганность от сознания собственного несчастья. И эта услужливая нежность к себе перестает быть смешной, когда вглядывается в наше вчера, чтобы обогатить нас сегодня.

Так и было тем вечером. Он вспоминал не о былом счастье, а о странном чувстве, которое когда-то причиняло ему боль. Когда-то у него была мать. Порой ее спрашивали: «О чем ты думаешь?» «Ни о чем», — отвечала она. И это была правда. Всё перед глазами, значит, и думать не о чем. Ее жизнь, интересы, дети — всё сосредоточено здесь, этот факт очевиден, и его не надо осознавать. Она была инвалидом, ей трудно было думать. Ее мать, крутая и властная, готовая жертвовать всем ради своего животного, больного самолюбия, долго тиранила малодушную дочь. Замужество дало той свободу, но, овдовев, она покорно вернулась под материнскую опеку. Муж, как принято говорить, пал смертью храбрых. Пал в славном бою — вон там, в золоченой рамке, красуются крест «За боевые заслуги» и Военная медаль. А еще вдове прислали из больницы маленький осколок снаряда, извлеченный из тела. Вдова сохранила осколок. Горе ее давно прошло. О муже она забыла, но все еще вспоминает об отце своих детей. Чтобы вырастить их, она работает, и все заработанные деньги отдает матери. А та воспитывает детей с помощью хлыста. Когда она бьет слишком сильно, дочь говорит ей: «Не бей по голове». Ведь это ее дети, она же их любит. Она любит их всех одинаково,

¹ Конрад.

и проявлений этой спокойной любви они никогда не замечали.

Иногда — вот как тем вечером, о котором он вспоминал, она возвращается после тяжелой работы (она ходит к людям убирать) и никого не застает дома. Старуха ушла за покупками, дети еще не вернулись из школы. Тогда она скрючивается на стуле и с затуманенным взглядом погружается в бесконечное созерцание щели в полу. В сгущающихся сумерках эта немая жалоба исполнена безмерной тоски: и некому узнать об этом.

И все же один из детей страдает, видя мать в эти минуты, когда она, судя по всему, только и бывает счастлива. Если он, войдя, различает в полутьме тощую фигурку с костлявыми плечами, то останавливается на пороге: ему страшно. Он много чего стал понимать. Собственная жизнь его почти не занимает. Но это молчание животного причиняет ему невыносимую боль. Он жалеет мать, значит ли это, что он ее любит? Она ни разу не приласкала его — да она и не умеет. Он чувствует себя здесь посторонним, и от этого приходит сознание горя. Она не слышит его, потому что она глухая.

Сейчас вернется старуха, и жизнь пойдет своим чередом: круг света от керосиновой лампы, клеенка на столе, крики, брань. Но сейчас ее молчание означает некую передышку, мгновение вечности. Ребенок смутно чувствует это, и в охватившем его порыве ему кажется, будто он чувствует любовь к матери. А так и должно быть, ведь это все же его мать.

О чем она сейчас думает, о чем же таком она думает? Ни о чем. Свет и шум остались снаружи; здесь молчание и тьма. Ребенок вырастет, пойдет учиться. Его воспитывают, и будут требовать от него благодарности, словно это сможет уберечь его от горя. Мать по-прежнему будет замыкаться в молчании. И ребенок по-прежнему будет безмолвно вопрошать и ее, и самого себя. Он вырастет в страданиях. Быть мужчиной — вот главное. Бабушка умрет, потом умрет мать, а когда-нибудь и он сам.

Мать вздрогнула от испуга. Она ругает сына. Чего он на нее уставился с дурацким видом? Пускай идет делать уроки. Сын сделал уроки. Он любил, страдал и от всего отказался. Сегодня он сидит в другой комнате, тоже уродливой и темной. Теперь он мужчина. А это ведь главное, не правда ли?

Затем это голос мужчины, который родился, чтобы умереть.

Разумеется, в его голосе звучало торжество, когда он, сдвинув брови, наставительно покачивал в воздухе указательным пальцем. Он говорил: «А вот мне отец выдавал по субботам на развлечения пять франков из моего недельного заработка. Так я еще ухитрялся откладывать. А когда хотел повидаться с невестой, то должен был отшагать по полям четыре километра туда и четыре обратно. Не спорьте, не спорьте: теперь молодежь веселиться не умеет, это я вам говорю». Они сидели за круглым столом — трое молодых и он, старик. Он хвастался своими жалкими приключениями, и его рассказы были под стать ему: пустяки, перевозносимые до небес, дурацкие выходки со скуки, прославляемые, как победы. О многом он умалчивал и, торопясь выговориться, пока все не разошлись, извлекал из прошлого не столько то, что когда-то его поразило, сколько то, что, как ему казалось, должно было произвести впечатление на слушателей. Заставлять себя слушать — это было его единственным пороком, ради этого он не замечал недоверчивых взглядов, не обращал внимания на град насмешек. Для них он был старикашка, уверявший, будто в его время жилось прекрасно, а себе он казался почтенным старцем, чей жизненный опыт незамечен. Молодые не знают, что жизненный опыт — результат поражения, и чтобы хоть сколько-то узнать, надо потерять все. Он много страдал, но помалкивал об этом, считая, что произведет большее впечатление, притворяясь счастливым. Впрочем, если в этом он и заблуждался, то опять-таки ошибся бы, желая растрогать их своими горестями. Что значат страдания какого-то старика, когда жизнь захватывает вас целиком?

Он говорил и говорил, упивался, блуждая в сумерках своего глуховатого голоса. Но долго это продолжаться не могло. Его наслаждению пора было прекратиться, а внимание слушателей ослабевало. Он даже не был уже смешон; он просто был стар. А молодежь любит бильярд и карты, это отдушина среди каждодневного отупляющего труда.

Он так старался, так врал, чтобы сделать свой рассказ более занимательным, и все же вскоре остался один. Молодежь бесцеремонно бросила его. И снова он один. Когда ты состарился, тебя перестают слушать, вот что ужасно. Его приговорили к молчанию и одиночеству. Ему давали понять, что он скоро умрет. А старик, который скоро умрет, никому не нужен, больше того, он в тягость, и добра от него не жди. Убирался бы отсюда поскорее. А нет, так пусть, по крайней мере, молчит. И он страдает, потому что когда молчит, сразу вспоминает о том, что стар.

Все же он встал и ушел, улыбаясь всем, кто был вокруг. Но на пути ему попадались лишь равнодушные лица, или взбудораженные весельем, в котором он не имел права участвовать. И медленной походкой, неспешной рысцой навьюченного осла он прошел по длинным улицам, полным прохожих.

Он плохо себя чувствовал и не хотел возвращаться домой. Обычно он любил усесться за стол с керосиновой лампой и с тарелками, на которых пальцы машинально находили привычное место. Он все еще любил ужинать молча, сидя напротив старухи, долго пережевывать еду, с пустой головой и пристальным взглядом мертвых глаз. Сегодня он вернется поздно. Остывший ужин ждет его на столе, старуха уже ляжет спать — она не беспокоится, привыкла, что он задерживается без предупреждения. Она говорила: «Дурит», — и этим все было сказано.

Он шагал, и в его походке было какое-то кроткое упорство. Он был одинок и стар. К концу жизни старость оборачивается приступами тошноты. Не слишком-то весело оказаться на идущем вниз эскалаторе, по которому нельзя подняться обратно. Бывает ли, чтобы этот эскалатор повернул вспять, или всё на свете под конец остается без слушателей? Почему его не хотят услышать? Его так нетрудно обмануть. Хватило бы улыбки, приветливого слова.

А вот и ночь, она спускается без проволочки, неотвратимо; вот так все происходит и со старым бедняком. Он шагает молча, заворачивает за угол, спотыкается, едва не падает. Я видел его. Выглядит он смешно, но что тут поделаешь? И все-таки он предпочитает улицу, уж лучше быть на улице, чем дома, когда у него жар, и он не видит старуху, и часами лежит один в своей комнате. Бывает,

дверь отворяется и на какое-то мгновение остается приоткрытой. Входит высокий человек, одетый в светлое. Он садится напротив старика и долго молчит. Он неподвижен, как дверь, раскрывшаяся только что. Время от времени он приглаживает волосы и тихонько вздыхает. Он долго глядит на старика всегда одним и тем же, полным гнетущей печали взглядом, а затем неслышно удаляется. За ним захлопывается дверь, задвижка с резким стуком закрывается, и старик остается наедине со своим ужасом, с мучительным страхом, разъедающим нутро.

А на улице он не один, даже если народу попадаетея немного. Он, несомненно, болен. Быть может, совсем скоро он упадет. Я уверен в этом. И тут ему придет конец.

Жар у него усиливается. Неспешная походка ускоряется: завтра, завтра все будет иначе. И вдруг он делает открытие: завтра все будет как всегда, и послезавтра тоже, и во все остальные дни. И это непоправимое открытие сокрушает его. Бывают такие мысли, которые сводят человека в могилу. Он не в состоянии с ними жить, поэтому убивает себя. А если он молод, то избывает их в патетических фразах.

Сразу не скажешь, стар он, безумен или пьян. Его смерть будет выглядеть достойно, — омытая слезами, невероятно трогательная. Он умрет красиво, то есть в страданиях. Это станет ему утешением. Да, впрочем, куда ему деваться? Он состарился навсегда.

Теперь улицы стали темнее, и народу на них поменьше. Но вокруг еще слышались голоса прохожих. В странном вечернем умиротворении они казались торжественнее. За холмами, кольцом обступившими город, еще виднелись отсветы дня. За поросшими лесом зубцами гор неизвестно откуда появился необычайно густой дым. Он медленно поднялся ввысь и распался на слои, как разлапистая ель. Старик закрыл глаза. Все это принадлежало ему... и остальным тоже. Перед жизнью, уносившей прочь городской гул, и перед глупой, равнодушной улыбкой неба он был одинок, незащищен, растерян, уже мертв.

Стоит ли описывать обратную сторону этой красивой медали? Надо полагать, в грязной и темной комнате старуха накрывала на стол, а когда ужин был готов, она села, поглядела на часы и, подождав еще немного, стала с аппетитом есть. Она думала: «Дурит». И этим все было сказано.

А теперь это голос женщины, который слышался среди музыки.

Бывает, что долго смотришь на улицу из окна и слушаешь уличный шум, а потом, когда окно закрыто и наступила тишина, людская суета кажется лишенной смысла, а людские дела — нереальными, ибо они бесповоротно обречены кануть в пустоту, — так и голос этой женщины лишился всякой опоры и всякой существенности, когда умолкла подкреплявшая его музыка. А еще, бывает, пока не закроешь окно, не поймешь, насколько шумно на улице, и начинаешь страдать от этого гвалта только когда он погребен в безмолвии комнаты, — вот так же величие той женщины казалось чем-то обычным тем, кто ее слушал, а потом стало казаться обманчивым.

Эта женщина рассказывала детям о своей несчастной жизни. Когда она вошла в комнату, там слушали музыку. Вертелась пластинка. Это был очень известный романс, но в необычном исполнении: художественный свист под оркестр. Он назывался «Песнь соловья». Он был очень глупым, и именно поэтому брал за душу. В нем чувствовался страстный порыв молодого человека, еще не узнавшего жизни. Всего-то одна музыкальная фраза, но оркестр перебрасывал ее скрипке, а скрипка — свистуну. Вначале фраза была томно-неопределенной, она спотыкалась, слезно жаловалась и наконец снова шла своим крестным путем, то во всей мощи оркестра, то в обстоятельном пересказе скрипки, то превращаясь в намек на свистуна. И вот женщина со своим горем ворвалась в эту бескрайнюю, бездумную меланхолию. И заговорила.

Без всякого сомнения, она была несчастна. Она жила вдвоем с братом, глухонемым, злобным и тупым. Конечно же, она оставалась с ним из жалости. Но и от страха. Если бы еще он дал ей жить по-своему! Но он запрещал ей встречаться с любимым человеком. Впрочем, теперь оба они были в таком возрасте, когда это не имеет значения. Он, ее возлюбленный, тоже был несвободен: он был женат. Та, что носила его фамилию, уже много лет пьянствовала и не ухаживала за мужем. А он все еще хранил грубоватую нежность к тому лучшему, что

было у него в жизни. Он приносил подруге цветы, которые срывал с живых изгородей на окраине, апельсины, спиртное, выигранное в ярмарочных лотереях. Конечно, он не был красив. Но красота — не главное в жизни, зато он был молодчина. И для нее тоже это было захватывающим приключением. Она привязалась к нему, потому что он привязался к ней. Это и есть любовь, разве не так? Она стирала ему белье, старалась, чтобы он выглядел опрятно. У него была привычка складывать носовые платки треугольником и повязывать вокруг шеи. Ее заботами эти платки всегда были белоснежными, и это доставляло ей большую радость.

Но тот, другой, ее брат, не желал, чтобы возлюбленный навешал ее дома. Приходилось видеться с ним тайком. Сегодня он навестил ее. Но брат застал их, и произошла страшная драка. Сложенный треугольником платок после их ухода остался где-то в грязном углу, а она пришла выплакаться к сыну.

И правда, что же ей было делать? Она, бесспорно, была несчастна. Она так сильно боялась брата, что не могла расстаться с ним. И так сильно ненавидела, что не могла вычеркнуть из памяти. Когда-нибудь он убьет ее, это ясно.

Она проговорила все это унылым голосом. Теперь в ее голосе угадывались слезы, которыми эта женщина, все больше и больше проникавшаяся своей бедой, омывала душевные раны, какими небо украшает избранных, и голос становился чистым, оттого что был глуховат.

А музыка все звучала. Мелодия накатывала большими вздымающимися волнами и в долгих вздохах уносила с собой душу этой женщины. Музыка поднималась к небу, стучась в двери божества, к которому обращено столько упований. Казалось, Женщина вырастала. Она возносила к небу свои слезы, приносила их в жертву. Сама того не сознавая, она была почти счастлива. Мелодия то затухала, то ярко вспыхивала в оркестре. А потом все успокаивалось. Мелодию едва слышно подхватывала скрипка. И голос Женщины становился тише. Она говорила: «Ну как мне быть? В конце концов я отравлюсь. По крайней мере, найду покой».

И те, кто ее слышал, чувствовали волнение — не от слов женщины, но оттого, что она вплетала их в музыку.

(Горе было рядом, и это приблизило их к богу. А музыка позволила яснее видеть бога, близость которого они ощущали). Женщина не плакала и не жаловалась. Она была очень далеко отсюда. Она приняла решение и успокоилась. Скорее всего, решение так и останется невыполненным. Но то, что она могла принять его, поверила, будто сможет его выполнить, осознала, что ее несчастье настолько велико, что может подвигнуть на такой замысел, — все это успокоило ее. Получалось, в общем, что у нее был хоть какой-то выход.

Женщина встала. Ничего далекого не осталось в ее лице — только покрасневшие, запавшие глаза, искривленные губы, желтая, как пергамент, кожа. Лицо, облагороженное слезами, горе, преодолевшее преграду плоти и окружившее ореолом каждую морщинку, каждую одряблость, подобно тому, как вечер придает неожиданную выразительность и одухотворенность самым безобразным пейзажам. То неведомое, что она несет в себе, выходит за границы ее тела и захватывает другие тела, весь мир, — нечто похожее на музыку или на голос, возвещающий истину. Словно лицо, которое видится в зеркале и кажется похудевшим, одухотворенным, далеким от земного, проще говоря, чужим.

Она собирается уходить. Кое-как, неловко надевает шляпу, так же неловко улыбается. Говорит, что придет еще. Она познала приключение, которое принесло ей несчастье. У бога уродливое, костлявое, совсем неказистое тело, прямо плакать хочется. Создавший ее бог — тот же бог, что сейчас оставил ее, и она ничего не знает. Она не размышляет. В чем же ее тайна на этой земле? Но все хорошо, очень хорошо. Пускай она теперь уходит.

После ее ухода опять поставили ту же пластинку. А что стало с ней, унесшей с собой свои страхи? Раз ее здесь нет, значит, она больше не существует. И все же она должна ходить, дышать, сворачивать на знакомые улицы и вернуться домой к злему, безжалостному брату, который ее там поджидает. Она вернется в свою тьму, после того как ее чудом освободила оттуда глупая музыка. Ее жизнь ускользает от нас, а голос теряется вдали, утасует, погружая нас в неведение и скрывая уголок жизни. Словно закрылось окно, выходящее на шумную улицу.

А теперь это голос больной старухи, которую оставляли в одиночестве, уходя в кино.

Ее терзала болезнь, от которой чуть не умерла. Вся правая сторона тела была парализована. Только одной половиной она оставалась на этом свете, а вторая уже стала ей чужой. Когда-то она была маленькой, подвижной, словоохотливой старушкой, которая много лет жила одна, привыкла к самостоятельности, а потом ее обрекли на молчание и неподвижность. Ее похоронили в кресле, у дочери. Прежде она очень дорожила своей независимостью и ради этого на восьмом десятке еще работала. А теперь она оказалась на иждивении дочери.

Она по целым дням оставалась одна, читать не умела, ни к чему не испытывала интереса, и единственной отдушиной в этом растительном существовании был бог. Она в него верила. Доказательством были имевшиеся у нее четки, свинцовое распятие и гипсовый святой Иосиф с младенцем Христом на руках. Она сама не была уверена, что ее болезнь неизлечима, однако уверяла в этом других, чтобы вызвать сочувствие, а вообще-то полагалась на бога, которого так мало любила.

В это время некто проявлял к ней участие. Это был бледный высокий молодой человек, наделенный восприимчивостью. Ему казалось, что тут кроется какая-то истина, и в то же время он знал, что женщина скоро умрет — но он не стремился разрешить это противоречие. Его по-настоящему заинтересовала тоска старой женщины. Она это сразу почувствовала. И его интерес стал неожиданным подарком для больной. Она увлеченно рассказывала ему о своих бедах: жизнь ее близилась к концу. Пора уступать место молодым. Тоскливо ли ей? Верно, тоскливо. С ней никто не разговаривает. Она сидит в своем углу, как собака. Скорей бы уж конец. По ней, так лучше умереть, чем быть кому-то обузой.

Ее голос стал сварливым. Это был голос вздорной рыночной торговки. Но молодой человек понимал ее, ведь он был наделен восприимчивостью. Хотя, по его мнению, быть людям в тягость все же лучше, чем умереть. Однако это доказывало только одно: что сам он, очевидно, никогда не был в тягость никому, кроме бога. И действительно, он

говорил старухе — поскольку видел у нее четки: «У вас еще остался бог». Это была правда. Но даже тут ей досаждали. Если ей случалось надолго погрузиться в молитву, если она неотрывно разглядывала узор на обоях, дочь говорила:

— Ну вот, опять она молится!

— Не твое дело, — отвечала больная.

— Не мое, а все равно меня это раздражает. — Тогда старуха умолкала и закрывала глаза.

Молодой человек выслушивал это с огромной, неведомой прежде болью, теснившей ему грудь. А еще ему было сказано: «Вот сама состарится, тогда поймет. Ей тоже придется молиться».

Загадочна и трогательна участь этой старой женщины, отрешившейся от всего, кроме бога, целиком отдавшей последнему недугу, добродетельной по необходимости, слишком легко уверившей себя в том, что он — единственное благо, достойное любви, окончательно, безвозвратно впавшей в ничтожество человека перед богом. По несчастью, такая чересчур вялая религиозность не выдерживает первого же испытания жизнью. Дальнейшее покажет, что бог бессилён против людских замыслов.

Семья села за стол. Бледного молодого человека пригласили к ужину. Старуха есть не стала — вечером еда тяжела для желудка — и осталась в своем углу, за спиной того, кто выслушивал ее. А он ел с трудом, чувствуя, что за ним наблюдают. Ужин продолжался; всем было хорошо вместе и не хотелось расставаться. Тогда решили пойти в кино: там как раз показывали комедию. Молодой человек легкомысленно согласился, не подумав о живой душе, несмотря ни на что продолжавшей существовать у него за спиной.

Все встали, собираясь вымыть руки перед уходом. Конечно же, не могло быть и речи о том, чтобы взять с собой старуху. Не будь она даже такой немощной, она по своему невежеству все равно ничего не поняла бы. Она говорила, будто совсем не любит кино. На самом деле она его не понимала. Впрочем, она сидела в своем углу и с глубоким, праздным интересом изучала бусинки четок. За четками скрывался бог и призывал довериться ему. Три хранимые ею вещи были для нее материальной отправной точкой, за которой начиналось божественное. По ту сто-

рону четок, распятия или святого Иосифа, позади них открывалась необъятная тьма, где находился бог.

Все приготовились уходить. Они подошли к старой женщине, чтобы поцеловать ее и пожелать спокойной ночи. Она уже все поняла и крепко сжимала четки. Однако в этом жесте угадывалось столько же благочестия, сколько и отчаяния. Все по очереди ее поцеловали, остался только бледный молодой человек. Он с нежностью пожал руку старушке и собрался было уйти. Но она поняла, что и он уходит — он, принявший в ней участие! Она не хотела оставаться одна; она уже чувствовала ужас одиночества, долгой бессонницы, бесплодной беседы с богом. Ей было страшно, теперь она полагалась только на людей и, цепляясь за единственное существо, которое проявило к ней участие, не выпускала его руку, сжимала ее и неуклюже благодарила, пытаясь оправдать свою настойчивость. Молодому человеку стало неловко. Все стояли у дверей и уже оборачивались — просили его поторопиться. Фильм начался в девять, и лучше было прийти пораньше, чтобы не стоять в очереди за билетом.

А он чувствовал, что оказался свидетелем самого ужасного несчастья, какое только видел в жизни: несчастья увечной старухи, которую бросают ради того, чтобы сходить в кино. Ему хотелось исчезнуть, скрыться, не зная об этом, он пытался вырвать у нее руку. На миг он ощутил жгучую ненависть к старухе и подумал, что сейчас закатит ей оплеуху.

Наконец, рука разжалась, он смог уйти, а больная, приподнявшись в кресле, с ужасом смотрела, как ее покидает то единственно надежное, на что она могла бы опереться. Теперь она осталась без всякой защиты. И, всецело отдавшись мысли о смерти, она все же не совершала пугавшего ее отступничества, она осознавала только, что не хочет быть одна. Бог оказался ей ни к чему, он только отдалил ее от людей и сделал одинокой. Она не хотела расставаться с людьми. И она заплакала.

Все уже вышли на улицу. Молодого человека донимали угрызения совести: его недостатком была чувствительность. Он поглядел вверх, на освещенное окно, большой мертвый глаз в затихшем доме. Глаз закрылся. Дочь больной старухи сказала бледному молодому человеку: «Она всегда тушит свет, когда остается одна. Любит сидеть в темноте».

Люди строят планы на предстоящую старость. Старости, теснимой необоримыми бедами, они хотят подарить праздность, и тем делают ее беззащитной. Они хотят стать строителями и уединиться на своей маленькой вилле. Но на склоне лет они уже знают, что ошиблись. Чтобы чувствовать себя защищенными, они нуждаются в других.

Человек находит прибежище в других людях. Кто больше всех жаждет одиночества и своеволия, тому больше всех хочется блеснуть перед окружающими. Люди — вот что важно. Поколения сменяются, перетекая одно в другое, рождаются, умирают и вновь рождаются. Когда-то на долю какой-то старой женщины выпали страдания. Ну и что? Ее участь представляет лишь ограниченный интерес. Она сама не имеет другой опоры, кроме людей. Бог ей ни к чему, он только отдалил ее от людей и сделал одинокой. Она не хочет этого. Она плачет.

Мужчина, старая женщина, другие женщины отговорили свое, и их голоса медленно, постепенно растворяются, теряются во всеобщем людском гуле, звучащем громко и ровно, как биение вездесущего сердца.

ИЗНАНКА И ЛИЦО



L'ENVERS ET L'ENDROIT

ПРЕДИСЛОВИЕ¹

Эссенстика, объединенная в этом томе, писалась в 1935—1936 годах (мне тогда было двадцать два года) и была опубликована мизерным тиражом в Алжире год спустя. Это издание давно уже стало библиографической редкостью, и я упорно отказывался от переиздания «Изнанки и лица».

В моем упрямстве не было никакой тайны. Я ни на йоту не отказываюсь от того, что запечатлено в этих текстах, но их форма всегда казалась мне неуклюжей. Предрассудки, связанные с искусством, которые я мимовольно возвращал в себе (к этому я еще вернусь), долго мешали мне решиться на переиздание. Но, быть может, виной тому было тщеславие, внушившее мне, что все мои другие книги безупречны? Нужно ли говорить, что дело было не в этом? Просто я более чувствителен к промахам «Изнанки и лица», чем к известным мне недостаткам прочих моих книг. Но тогда необходимо признать, что моя первая книга затрагивает и частично выявляет предмет, наиболее близкий моему сердцу. Покончив с вопросом о художественной ценности этой небольшой книги, я могу сознаться, что для меня очень важна такая ее ценность, как ценность свидетельства. Я говорю сугубо о себе, так как именно для меня она о многом свидетельствует и именно от меня требует верности, трудность и глубина которой ведома мне одному.

Попытаюсь объяснить.

Брис Парен не впервые утверждает, что эта маленькая книга содержит лучшее из написанного мною. Парен ошибается. Но я на этом настаиваю, зная о его добро-

¹ К изданию 1954 года.

желательности, я понимаю его категоричность, свойственную людям искусства, и нетерпимость к тем, кто имеет дерзость предпочитать то, чем он был, тому, чем он стал. Брис Парен ошибается потому, что в двадцать два года, если ты не гений, то лишь начинаешь постигать азы писательства. Но я понимаю, что Парен, этот убежденный враг искусства и философ сострадания, имеет в виду. Он имеет в виду — и тут он прав, — что в этих неуклюжих страницах больше доподлинной любви, чем во всех последующих книгах.

Каждый художник хранит в глубине души особый источник, который питает в течение всей его жизни то, чем он является, и то, о чем он говорит. Когда источник иссякает, мало-помалу видишь, что творчество засыхает и растрескивается. Эти бесплодные территории искусства больше не животворит невидимый поток. И когда этот истончившийся, как волос, источник становится скудным и безводным, художнику, покрытому ошметьями жнивья, остается молчать или болтать в гостиных, что одно и то же. Что до меня, то я знаю: мой источник — в «Изнанке и лице», в этом мире бедности и света, где я так долго жил, и воспоминания о котором оберегают меня от двух противоположных опасностей, угрожающих каждому художнику, — злобы и самоупоенности.

С самого начала я никогда не ощущал бедность как несчастье: свет рассыпал на ней свои несметные сокровища. Даже мои мятежи были освещены им. Они были (полагаю, что могу утверждать это без тени лукавства) мятежами ради всех, ради того, чтобы жизнь всех возвысилась до яркого света. Едва ли мое сердце было от природы расположено к такому виду любви, но мне помогли обстоятельства. Чтобы исправить прирожденное равнодушие, меня поместили как раз посередине меж бедностью и солнцем. Бедность не давала мне верить, что под солнцем и в истории все обстоит наилучшим образом; солнце научило меня, что история — это еще не все. Изменить жизнь — да, но не мир, который был для меня священен. Сознаюсь, я начал свой непростой путь почти в неведении, ступив на натянутую нить, по которой с трудом продвигаюсь вперед, отнюдь не уверенный, что достигну цели. Короче говоря, я стал художником, если правда то, что нет искусства без отказа и гармонии.

Так или иначе, но живительное тепло, царившее над моим детством, избавило меня от всякой злобы. Я пребывал в нужде, но одновременно и в каком-то восторге. Я чувствовал в себе безграничные силы: нужно было только найти для них применение. Силам этим препятствовала вовсе не бедность: в Африке море и солнце даются даром. Препятствие было скорее в предрассудках или в собственной глупости. У меня были все возможности развить свою «кастильскую гордыню», которая причинила мне немало вреда, которую с полным основанием высмеивает мой друг и учитель Жан Гренье и от которой я безуспешно пытался избавиться, пока не понял, что существует некая predeterminedенность характеров. Лучше было принять собственную гордыню и заставить ее служить себе, чем отдался, как говорит Шанфор, принципам более сильным, чем характер. Но, положа руку на сердце, я могу засвидетельствовать, что среди моих многочисленных слабостей никогда не наличествовал самый распространенный человеческий недостаток, я имею в виду зависть, сущую язву всех обществ и доктрин.

Я не сам воспитал в себе этот счастливый иммунитет. Я обязан им моим близким, которые, нуждаясь почти во всем, не завидовали почти ничему. Только благодаря молчаливости, сдержанности, врожденной неброской гордости эти люди, даже не умевшие читать, дали мне тогда самые возвышенные уроки, сохранившиеся навсегда. К тому же я был настолько поглощен чувствами, что не мечтал о чем-то другом. Даже теперь, когда я наблюдаю в Париже жизнь очень богатых людей, они вызывают у меня глухое сострадание. В мире много несправедливости, но есть одна, о которой никогда не говорят: это несправедливость климата. Я долго пользовался плодами такой несправедливости, сам того не зная. Я уже слышу филиппики наших ревностных филантропов, если только они меня читают. Я-де хочу представить рабочих богатыми, а буржуа бедными, чтобы и дальше сохранять счастливое рабство одних и могущество других. Нет, это не так. Наоборот, когда бедность сопрягается с той жизнью без неба и надежды, которую я, возмужав, обнаружил в ужасных предместьях наших городов, тогда последняя и самая возмутительная несправедливость достигает пика: нужно сделать все, чтобы эти люди избежали двойного унижения

нищетой и уродством. Родившись бедным, в рабочем квартале, я, однако, не ведал, что такое настоящее несчастье, пока не узнал ужаса наших промозглых пригородов. Даже крайняя нищета арабов не может с этим сравниться из-за различия небес над головой. Познав хотя бы раз промышленные предместья, чувствуешь себя навек оскверненным и ответственным за их существование.

То, что я сказал, сушая правда. Иногда я встречаю людей, которые живут в невообразимом богатстве. Однако я не могу себе представить, что такому богатству можно завидовать. Однажды, много лет назад, я целую неделю жил, наслаждаясь всеми благами мира: мы спали под открытым небом, на пляже, я питался фруктами и по полдню купался — один на весь берег. В это время я познал истину, которая всегда побуждала меня воспринимать признаки комфорта и вообще обустройства с иронией, нетерпением, а порой и с яростью. Хотя теперь я живу, не заботясь о завтрашнем дне, то есть как человек привилегированный, я не умею чем-либо владеть. Я не могу сохранить ничего из того, что имею и что мне было предоставлено без всяких усилий с моей стороны. И мне кажется, что причина тому — не расточительность, а скорее особый вид бережливости: я жаден до свободы, которая исчезает из-за избытка благ. Самая большая из роскошей всегда совпадала для меня с некой утратой. Я люблю голые стены дома арабов или испанцев. Номер в гостинице — вот где я предпочитаю жить и работать и где легко мог бы умереть. Я никогда не мог предаться тому, что называют внутренней домашней жизнью, которая так часто является противоположностью истинной внутренней жизни; счастье, именуемое мещанским, вызывает у меня скуку и отвращение. Этим моим свойством, впрочем, не стоит гордиться; оно немало способствовало подпитке моих дурных качеств. Я ничему не завидую, и это мое право, но я не всегда представляю себе зависть других, а это лишает меня воображения, то есть доброжелательства. Правда, я создал для личного пользования лозунг: «Надо применять свои принципы в большом, в малом достаточно милосердия». Увы! Лозунги создают, чтобы залатать прорехи в собственном характере. А мое милосердие скорее зовется безразличием. И его результаты, как нетрудно догадаться, менее благотворны.

Но я хочу всего лишь подчеркнуть, что бедность не обязательно предполагает зависть. Даже позже, когда тяжелая болезнь временно лишила меня жизненных сил, которые все во мне преображали, несмотря на невидимые немощи и новые слабости, которые я в себе обнаруживал, даже тогда я познал лишь страх и отчаяние, но только не горечь. Эта болезнь, вне всяких сомнений, добавила другие, более тяжкие недуги к тем, что уже гнездились во мне. Но в конечном счете она способствовала свободе сердца, этой легкой отстраненности от человеческих страстей, которая всегда предохраняла меня от злобы. С тех пор, как я живу в Париже, я знаю, что это королевская привилегия. Но я всегда наслаждался ею без оглядок и угрызений совести, во всяком случае, доселе она озаряла мою жизнь. К примеру, как художник я начинал в состоянии восторга, то есть в каком-то смысле в земном раю. (Известно, что сейчас во Франции есть обычай дебютировать в литературе и даже завершать литературную карьеру, выбирая какого-нибудь художника мишенью насмешек.) К тому же, мои личные чувства никогда не были «против». Люди, которых я любил, всегда были лучше и значительнее меня. Бедность, которую я пережил, научила меня не злобе, но, наоборот, некоторой верности и немому упорству. Если мне случалось об этом забывать, то в том повинны только я и только мои недостатки — отнюдь не мир, в котором я родился.

Воспоминание об этих годах также не давало мне быть довольным результатами моего труда. Здесь я хочу рассказать с такой простотой, на какую только способен, о том, о чем писатели обычно умалчивают. Я не стану говорить об удовлетворении, которое, по-видимому, получаешь от каждой удавшейся книги или страницы. Я не уверен, что так уж много художников такое удовлетворение испытывают. Что до меня, то не думаю, чтобы когда-либо я получал удовольствие, перечитывая законченную страницу. Могу даже признаться — и тут меня можно поймать на слове, — что успех некоторых моих книг меня всегда удивлял. К этому, безусловно, привыкаешь, и это довольно мерзко. Однако даже сегодня я ощущаю себя подмастерьем рядом с писателями-современниками, за которыми я признаю их истинные заслуги, и первым из них я назову

того, кому двадцать лет назад посвятил эти эссе¹. Писатель, естественно, имеет свои радости, ради которых он живет и которые способны его щедро одарить. Но что касается меня, то я испытываю их в миг появления замысла, в момент, когда определяется сюжет, когда перед внезапно прояснившимся внутренним взором вырисовываются сочленения твоей задумки, в те сладостные минуты, когда воображение окончательно сливается с разумом. Эти мгновенья проходят так же неожиданно, как и рождаются. Остается исполнение замысла, то есть долгий нелегкий труд.

С другой стороны, у художника есть радости тщеславия. Писательское ремесло — особенно во французском обществе — часто превращается в ремесло тщеславия. Я говорю об этом, однако, без презрения, да и навряд ли с сожалением. Здесь я похож на других; кто может счесть себя свободным от этой глупой слабости? В конце концов, в обществе, обреченном на зависть и издевку, всегда наступает день, когда наши писатели, осыпанные насмешками, дорого платят за эти жалкие радости. Но за двадцать лет литературной жизни я имел очень мало подобных радостей от профессии, и с течением времени их становилось все меньше.

Разве не воспоминание об истинах, смутно угаданных в «Изнанке и лице», всегда мешало мне чувствовать себя комфортно в публичном воплощении моего ремесла, разве не оно вынуждало меня столько всего отвергать, что лишило меня многих друзей? Игнорируя похвалы или знаки почтения, даешь повод славословящему думать, что ты относишься к нему с пренебрежением, тогда как на самом деле ты сомневаешься только в себе самом. Если бы я проявил ту смесь суровости и любезности, которая встречается в литературном мире, даже если бы я преувеличил свою кичливость, как многие другие, я заполучил бы куда больше симпатии, так как я, наконец, принял бы участие в игре. Но что делать — эта игра меня не развлекает! Честолюбие Рюбампре и Жюльена Сореля часто приводит меня в замешательство своей неприхотливостью и наивностью. Честолюбие Ницше, Толстого или Мелвилла меня волнует хотя бы потому, что оно закончилось их пораже-

¹ Жан Гренье.

нием. В глубине души я чувствую себя униженным только перед самыми жалкими судьбами или самыми великими проявлениями духа. Между ними находится современное общество, способное вызывать лишь смех.

Иногда на театральных премьерах, которые являются единственным местом, где я встречаю то, что заносчиво называется «светским Парижем», мне кажется, что зал вот-вот исчезнет, что этот призрачный мир не существует вовсе. Мне представляются куда более реальными другие — великие персонажи, вопиющие на подмостках. Но чтобы не удрать, нужно вспомнить, что каждый из этих зрителей тоже имеет в перспективе свиданье с самим собой, что он об этом знает и, несомненно, вскорости на него отправится. И сразу возникает новое братство: одиночество объединяет тех, кого разлучает общество. Но зная все это, как угождать сему миру, как домогаться его смешных привилегий, поздравлять всяких авторов со всякими книгами, подчеркнута благодарить благосклонного критика, как пытаться соблазнить противника и особенно с каким лицом принимать комплименты и то восхищение, каковое французское общество — по крайней мере, в присутствии автора (ибо стоит ему уйти, как начнется такое!..), — смакует, как перно. Я ничего тут не понимаю, это факт. Может быть, здесь присутствует много той злой гордыни, власть и устойчивость которой во мне самом мне доподлинно известна. Но если бы только это, если бы пыжилось только одно мое тщеславие, мне кажется, что тогда я хотя бы поверхностно радовался похвалам вместо того, чтобы видеть в них непрерывно повторяющуюся неловкость. Нет, я чувствую, что тщеславие, которым я обладаю вкупе с людьми моего положения, особенно остро реагирует на кое-какую критику, которая содержит весомую часть правды. Перед наплывом комплиментов отнюдь не гордость придает мне тот ленивый и неблагодарный вид, который я хорошо за собой знаю, но (одновременно с глубоким безразличием, существующим во мне наподобие недуга характера) особое, возникающее в тот момент чувство: «Это не то...» Нет, это не то, и потому порой столь трудно поддерживать свою репутацию, что испытываешь некое злорадство, делая все, чтобы ее потерять. И наоборот, по прошествии стольких лет, перечитывая ради этого переиздания «Изнанку и лицо», я инстинктивно чувствую,

когда перелистываю некоторые страницы, что, невзирая на их несовершенство, это именно то: эта старая женщина, молчаливая мать, эта бедность, этот свет над оливковыми деревьями Италии, эта любовь, одинокая и полная людей, — все, что в моих собственных глазах свидетельствует о правде.

С тех пор, как были написаны эти страницы, я постарел и немало пережил. Я многое узнал о себе, уяснив все свои возможности и почти все свои слабости. Я гораздо меньше узнал о людях, потому что мое любопытство простиралось скорее на их судьбы, чем на их поведение, а судьбы часто повторяются. Во всяком случае, я узнал, что они существуют и что эгоизм, раз уж он не может собой поступиться, должен пытаться быть по крайней мере проникательным. Наслаждаться собой невозможно; я это усвоил, несмотря на немалые способности к этому упражнению. Если одиночество существует, в чем я не уверен, люди были бы вправе мечтать о нем, как о рае. Я иногда мечтаю о нем, как и все прочие. Но два тихих ангела всегда запрещали мне погрузиться в него: один имел лицо друга, а другой — лицо врага. Да, я все это знаю, и еще я понял, или почти понял, чего стоит любовь. Но о самой жизни я знаю не больше того, что так неуклюже изложено в «Изнанке и лице».

«Нет любви к жизни без отчаяния», — написал я не без выпренности на этих страницах. В то время я не осознавал, насколько был прав, я еще не вступил в полосу подлинного отчаяния. Эти времена настали, и они могли разрушить во мне все, кроме необузданного желания жить. Я до сих пор страдаю от этой страсти, одновременно благотворной и разрушительной, звучащей даже на самых мрачных страницах «Изнанки и лица». Кем-то было сказано, что по-настоящему мы живем лишь несколько часов нашей жизни. В определенном смысле это правда, в определенном — ложь, поскольку исступленный пыл, который вы ощутите в нижеследующих очерках, никогда меня не покидал, и, в конечном счете, он является самой жизнью в лучших и худших ее проявлениях. Разумеется, я хотел исправить то худшее, что породила во мне эта жажда. Как и все, я попытался худо-бедно облагородить свою природу морально. Но увы! Как раз это мне очень дорого обошлось. С помощью энергии, а она у меня есть, иногда удается

вести себя — но отнюдь не существовать — в соответствии с моралью. А мечтать о морали, когда живешь страстями, значит обречь себя на несправедливость в то самое время, когда говоришь о справедливости. Человек иногда представляется мне как несправедливость в действии: я говорю о себе. Если мне в данный момент кажется, что я в своих произведениях иногда ошибался или лгал, то это потому, что я не знаю, как честно признать свою неправоту. Конечно, я никогда не говорил, что был справедлив. Мне только случалось говорить, что нужно пытаться таковым быть и что это мука и несчастье. Но разве разница здесь так уж велика? Может ли действительно проповедовать справедливость тот, кому не удастся воплотить ее даже в своей жизни? Если бы по крайней мере можно было бы жить сообразно чести, этой добродетели несправедливых! Но наш мир считает это слово непристойным: аристократ участвует в литературных и философских перепалках. Я не аристократ, мой ответ содержится в этой книге: вот мои близкие, мои учителя, мое потомство, вот то, что через них объединяет меня со всеми. И однако же, признаться, я нуждаюсь в чести, потому что я недостаточно велик, чтобы обойтись без нее.

Но не все ли равно! Я только хотел отметить, что если я и прошел долгий путь со времени написания этой книги, то все же не так уж продвинулся вперед. Часто, полагая, что продвигаюсь, я отступал. Но, в конце концов, мои ошибки, мое незнание и моя верность всегда выводили меня снова на ту старую дорогу, которую я начал открывать с «Изнанки и лица» и следы которой видны во всем, что я сделал потом и по которой в иные утра я все еще бреду в Алжире с тем же легким опьянением в душе.

Почему же, если это так, я долго отказывался предьявлять это слабое свидетельство? Прежде всего потому, что во мне есть — я должен это повторить — художественная сопротивляемость, как у других бывает сопротивляемость нравственная или религиозная. Запретный императив, мысль, что «так не делается», которые мне чужды как сыну первозданной природы, представляются мне как рабу, и рабу восхищенному непреложной художественной традицией. Может быть, это недоверие опирается также на мою глубокую анархичность и потому остается плодотворным. Я знаю свои душевные смуты, буйность определенных

инстинктов, беспощадное самозабвение, в которое я могу безоглядно кинуться. Чтобы быть созданным, художественное произведение должно пользоваться прежде всего темными силами души. Но при этом необходимо их направлять, окружать запрудами, чтобы их уровень поднялся еще. Возможно, мои запруды даже сегодня слишком высоки. Отсюда порой эта скованность... Просто тогда, когда установится равновесие между тем, что я есть, и тем, что говорю, возможно, — и я едва осмеливаюсь это произнести — я смогу создать произведение, о котором мечтаю. Признаюсь откровенно, оно будет тем или иным образом похоже на «Изнанку и лицо» и будет повествовать о некоей разновидности любви. Отсюда понятна и вторая причина, побудившая меня сохранить эти юношеские сочинения для себя. Самые дорогие для нас тайны мы сообщаем беспорядочно и неумело, мы выставляем их в чрезмерно вычурном маскарадном наряде. Лучше подождать, когда станешь искусным и сможешь придать им форму, не переставая прислушиваться к их голосу, когда сумеешь объединить в приблизительно равных дозах искусство и безыскусность, наконец, когда будешь существовать. Ибо существовать — это все мочь одновременно. В искусстве все приходит одновременно или не приходит вовсе; нет света без пламени. Стендаль воскликнул однажды: «Моя душа — это огонь, который томится, если не пылает». Те, кто в этом похож на него, должны творить только в подобном пылании. Вершина пламени исторгает крик и преобразуется в слова, которые, в свою очередь, этот крик выражают. Я имею в виду, что все мы, художники, не уверенные, что мы действительно художники, но уверенные, что мы не есть что-то другое, день за днем ждем мгновенья, чтобы наконец согласиться жить.

Но раз речь идет о таком, возможно, тщетном ожидании, почему же именно теперь я решаюсь на эту публикацию? Прежде всего потому, что читатели смогли найти аргумент, который меня убедил¹. И потом, в жизни художника всегда наступает пора, когда он должен определиться, приблизиться к собственному центру, чтобы затем попы-

¹ Он прост: «Эта книга уже существует, но в ничтожно малом количестве экземпляров, которые стоят очень дорого. Почему только богатые имеют возможность ее читать?» И действительно, почему?

таться там удержаться. Так обстоит дело сегодня, и мне нет необходимости говорить об этом еще. Если, несмотря на столько усилий, чтобы создать язык и оживить вымысел, мне не удастся однажды вновь написать «Изнанку и лицо» на ином уровне, я никогда ничего не достигну — таково мое пессимистическое убеждение. Во всяком случае, мне ничто не мешает мечтать, что я еще смогу поставить в центре этого произведения восхитительное молчание матери и усилия человека обрести справедливость или любовь, которая уравновесила бы это молчание. Вот человек, находящийся в сновидении жизни свои истины и теряющий их на земле смерти, чтобы наконец вернуться сквозь войны, вопли, безумие справедливости и любви, наконец, страдания к этой тихой отчизне, где сама смерть — лишь счастливое молчанье. И еще... Да, ничто не мешает мечтать даже в период изгнания, ибо я знаю — и знаю твердо, — что всякое творчество есть не что иное, как долгое продвижение ради того, чтобы обрести с помощью обходных путей искусства два-три простых и великих образа, на которые когда-то впервые отозвалось сердце. Вероятно, поэтому после двадцати лет литературной работы я продолжаю жить с мыслью, что мое творчество еще и не началось. Эта мысль пришла ко мне в связи с данным переизданием, когда я вернулся к своим первым страницам. Именно ее я хотел бы напоследок отметить.

ИРОНИЯ

Два года назад я познакомился с одной пожилой женщиной. Она страдала болезнью, от которой, по ее мнению, должна была умереть. Правая сторона ее тела была парализована. Иначе говоря, только одна ее половина принадлежала ей, другая же была как бы чужой. Болтливая и вертлявая маленькая старушка оказалась обречена на молчание и неподвижность. Долгими днями она оставалась совершенно одна, неграмотная, маловосприимчивая, и вся ее жизнь свелась к Богу. В Бога она веровала. Доказательством тому служили ее четки, свинцовое распятие, выполненные под мрамор Святой Иосиф с Младенцем. Вообще-то она сомневалась, чтобы ее болезнь была так уж неизлечима, но настаивала на этом, чтобы ею заинтересовались, в остальном полагаясь на Бога, которого она еще недавно любила так нерадиво.

И вот однажды кто-то действительно ею заинтересовался. Это был некий молодой человек. (Он считал, что болезнь ее не смертельна, но понимал, что эта женщина скоро умрет, не пытаясь разрешить это противоречие.) Он проявил искреннее сочувствие к томящейся смертной тоской старухе. И она это мигом почувствовала. Это сочувствие было для нее неожиданной удачей. Она охотно рассказывала ему о своих страданиях: она уже одной ногой в могиле, пора уступить место молодым. Скучно ли ей? Конечно. Ведь с ней не разговаривали. Отвели ей свой угол, как собаке. Лучше уж с этим покончить. Потому что она предпочитает умереть, нежели быть для кого-нибудь обузой.

Голос ее стал сварливым. Это был голос рынка, торговых рядов. Однако молодой человек все понимал. И тем

не менее он считал, что лучше быть для других обузой, чем умереть. Но это доказывало только одно: он наверняка никогда не был ни для кого обузой. Он говорил старухе — поскольку видел ее четки: «Вам остается уповать на Бога». Это была правда. Но даже тут ей досаждали. Если ей случалось долго молиться, и взгляд ее замирал на какой-нибудь завитушке обоев, ее дочь ворчала: «Ну вот, опять она молится! — А тебе-то что? — возмущалась больная. — Мне-то ничего, но в конце концов это действует на нервы». И старуха умолкала, устремляя на дочь долгий укоризненный взгляд.

Молодой человек слушал все это с новым для него безграничным огорчением, теснившим ему грудь. А старуха говорила: «Ничего, она все это поймет, когда сама постареет! Ей это тоже понадобится!»

Чувствовалось, что старуха освободилась от всего, кроме Бога, она полностью отдалась своему последнему недугу, добродетель ее диктовалась необходимостью, она слишком легко уверилась в том, что ей осталось единственное благо, достойное любви, и она безвозвратно погрузилась в муку пребывания человека в Боге. В конце концов, надежда неистребима, а Бог не станет противиться устремлениям человека.

Сели за стол. Молодой человек был приглашен к ужину. Старуха ничего не ела, потому что еда вечером тяжела для желудка. Она осталась в своем углу, за спиной своего недавнего собеседника. Молодой человек, чувствуя, что за ним наблюдают, ел скверно. Однако ужин подходил к концу. Чтобы продлить общение, решили пойти в кино. Как раз шла довольно веселая кинолента. Молодой человек легкомысленно согласился, не подумав о той, что продолжала пребывать за его спиной.

Гости встали и отправились помыть руки перед выходом. Совершенно очевидно, и речи не могло быть, чтобы старуха пошла с ними. Даже если б она и не была такой немощной, ее невежество помешало бы ей разобраться в фильме. Она говорила, что не любит кино. На самом деле она его просто не понимала. Она оставалась в своем углу, проявляя пустопорожний интерес к бусинкам своих четок. Но в них она вкладывала всю свою веру. Три предмета, хранимые ею, обозначали материальное начало божественного. За четками, распятием и Святым Иосифом рас-

крывалась великая тьма, в которую она устремляла всю свою надежду.

Все были готовы. Подходили к старухе, целовали ее и желали спокойной ночи. Она уже все поняла и лишь сжимала четки. Однако этот жест можно было воспринимать и как жест отчаяния, и как проявление религиозного рвения. Все ее уже поцеловали — оставался только молодой человек. Он сердечно пожал старухе руку и уже было повернулся к дверям. Но она видела, что уходит тот, кто ей сочувствует. Ей не хотелось оставаться одной. Она уже испытывала ужас перед одиночеством, долгой бессонницей, печальным свиданием с Богом. Ей было страшно, она надеялась только на этого человека и, цепляясь за единственное существо, которое проявляло к ней интерес, она не выпускала его руку и все пожимала ее, неловко благодаря его, чтобы оправдать свою назойливость. Молодой человек был смущен. Остальные уже оборачивались, чтобы поторопить его. Сеанс начинался в девять, и надо было прийти чуть раньше, дабы потом не ждать у кассы.

Молодой человек чувствовал, что перед ним самое ужасное несчастье, с подобным которому он до сих пор не встречался: несчастье немощной старухи, которую близкие бросают ради того, чтобы пойти в кино. Он хотел побыстрее улететь, он не хотел больше ничего знать, он попытался вырвать руку. Какой-то миг он испытывал слепую ненависть к этой старухе и едва сдержался, чтобы не отвесить ей оплеуху.

Наконец ему удалось высвободиться и скрыться, а больная между тем, полуприподнявшись на кресле, с ужасом глядела, как исчезает единственная достоверность, на которую она могла бы рассчитывать. Теперь ничто ее не защищало. Полностью погрузившись в мысли о своей смерти, она ясно не сознавала, что именно ее пугает, но точно знала, что не хочет остаться одна. Бог годился только для того, чтобы отделять ее от людей и погружать в одиночество. Она не хотела покидать общество людей. И от этой мысли она заплакала.

Все уже были на улице. Но угрызения совести неотступно терзали молодого человека. Он поднял глаза на освещенное окно, этот большой мертвый глаз в безмолвном доме. Глаз закрылся. Дочь больной старухи сказала

молодому человеку: «Она всегда гасит свет, когда остается одна. Она любит сидеть в потемках».

Старик торжествовал, он хмурил брови, поучительно помахивая указательным пальцем. Он говорил: «Отец давал мне на целую неделю пять франков, чтобы я развлекался до следующей субботы. Так вот, я еще исхитрился немножко сэкономить. Сначала, чтобы увидеться с невестой, я одолевал четыре километра по пустынному полю туда и четыре обратно. Да, да, уж поверьте моему слову, нынешняя молодежь разучилась веселиться». Они сидели за круглым столом: трое молодых людей и он, старик. Он рассказывал о своих скудных приключениях: безмерно преувеличенные пустышки, трудности, которые он с честью преодолел. Он говорил без умолку, торопясь рассказать все прежде, чем его покинут, он вспоминал истории из своего прошлого, которые, как он считал, могут заинтересовать слушателей. Заставить себя слушать был его единственный порок: он будто бы не замечал насмешливых взглядов, не слышал грубых издевок, которыми его осыпали. Для молодых он был докучным стариком, уверяющим, что в его времена все было отменно, он же считал себя уважаемым патриархом, чей опыт дорогого стоит. Молодые не знают, что опыт — это поражение и что нужно все потерять, чтобы немного узнать жизнь. Старик немало выстрадал. Впрочем, об этом он не говорил: выгодней казаться счастливым. А если он в этом и ошибался, то ошибся бы еще грубее, если бы рассчитывал кого-то растрогать своими бедами. Кого волнуют страдания какого-то старца, когда каждый полностью поглощен текущей жизнью? А он все говорил, говорил с наслаждением, сливаясь с пыльноцветным пейзажем своего глуховатого голоса. Но долго так продолжаться не могло. Его удовольствие предполагало концовку, а внимание слушателей ослабевало на глазах. Он уже никого не интересовал; он был просто стар. А молодые любили бильярд и карты, которые так отличаются от осточертевшей каждодневной работы.

Вскоре он остался один, несмотря на все усилия и ухищрения сделать свой рассказ более занимательным. Молодые бесцеремонно удалились. Снова он один. Не иметь слушателя: вот что ужасно, когда ты стар. Его приговаривали к молчанию и одиночеству. Ему давали

понять, что он скоро умрет. А старый человек, который скоро умрет, бесполезен и даже тягостен и злонамерен. Пусть он уходит. А если уж остался, то пусть молчит: это предел уважения, на которое он мог рассчитывать. Но он страдает, потому что когда он молчит, он вспоминает о своей старости. И все-таки он встает и уходит, улыбаясь всем окружающим. Но он видит только безразличные лица, порой оживленные весельем, в котором он не имеет права участвовать. Один человек хохочет: «Она старуха, не спорю, но бывает, что в старой-то кастрюле суп лучше получается». Другой, уж более серьезно: «Мы хоть и не богаты, но питаемся хорошо. Посмотри на моего внука — он ест больше своего отца. Тому хватает одного фунта хлеба, а внуку подавай целый килограмм! А еще и колбасу, и камамбер! Иногда, едва закончив, он попыхтит: «Ух! Ух!» — и ест еще». Старик удаляется медленной походкой навьюченного мула, он долго бредет по тротуарам, запруженными людьми. Он скверно себя чувствует, ему не хочется идти домой. Обычно он все-таки любил снова сесть за свой стол, увидеть керосиновую лампу и тарелки, ко всему этому так привычно прикасались его пальцы. Любил он и молчаливый ужин со старухой, которая сидела напротив и старательно пережевывала куски, без единой мысли в голове, с неподвижными и мертвыми глазами. Нет, нынче вечером он придет домой попозже. Ужин ему приготовлен, хоть и остыл, старуха может спокойно лечь спать, потому что она уже привыкла к его непредвиденным опозданиям. В таких случаях она говорила: «Опять он чудит», и все тут.

Сегодня он идет тихо и упорно. Он одинок и стар. В конце любой жизни старость переходит в отвращение к себе. Все кончается тем, что тебя перестают слушать. Он идет, поворачивает за угол какой-то улицы, спотыкается и почти падает. Я это вижу. Это смешно, но что поделаешь. Несмотря на все, он больше любит улицу, чем те часы, когда он уже дома и волнение заслоняет от него старуху и заточает его в четырех стенах. Тогда порой дверь медленно отворяется и некоторое время остается полуоткрытой. Входит человек, одетый во что-то светлое. Он садится напротив старика и долго молчит. Он неподвижен, как и только что открывшаяся дверь. Время от времени он проводит рукой по волосам и тихо вздыхает. Он долго смотрит на старика все тем же тяжелым от грусти взглядом,

а затем безмолвно удаляется. Резко звякает щеколда, и старик остается один, испуганный, с болезненным кислотным страхом в животе. А на улице он никогда не бывает один, как бы мало людей ему ни повстречалось. Его волнение поет. Его маленькие шаги ускоряются: завтра все изменится, завтра. Но вдруг он осознает, что завтра будет таким же, и послезавтра, и все остальные дни. И это кошмарное открытие его сокрушает. Именно такие мысли и заставляют умирать. Из-за невозможности их вынести люди налагают на себя руки, а если человек молод, то облакает их в слова.

Старый, безумный, пьяный, неизвестно какой. Но его конец будет достойным, всеми оплаканным, восхитительным. Он умрет в красоте, то есть в страдании. И это будет ему утешением. А впрочем, куда деваться: он стар навсегда. Люди, зная о грядущей старости, заранее пекутся о комфорте. Этой старости, фатально непоправимой, они хотят даровать праздность, которая в итоге сделает их совсем беззащитными. Они поглощены строительными работами, чтобы потом удалиться на свою маленькую виллу. Но углубившись в возраст, они осознают, что все это иллюзии. Лишь общество других людей дает им чувство защищенности. А этому старику нужно только одно: чтобы его слушали, иначе он не может поверить в свою прожитую жизнь. Вот улицы стали темнее и менее оживленными. Откуда-то еще слышатся голоса. В странном умиротворении вечера они звучат почти торжественно. За холмами, окружающими город, еще золотятся отблески дня. Неизвестно откуда идущий дым величественно вздымается за лесистыми гребнями. Он медленно поднимается и расслаивается, как пихта. Старик закрывает глаза. Перед жизнью, уносящей гул города и простодушную, безразличную улыбку неба, он остается совсем один, растерянный, нагой и уже бездыханный.

Стоит ли описывать обратную сторону этой медали? Легко догадаться, что в грязной сумрачной комнате старуха накрывает на стол, что ужин уже готов, что она садится, смотрит на часы, некоторое время ждет, а затем начинает с аппетитом есть. Она думает: «Опять он чудит». Вот и все.

Они жили впятером: бабка, ее младший сын, старшая дочь и двое ее детей. Сын был почти немой; болезненная

дочь туго соображала, из двоих детей один уже работал в страховой компании, а младший еще учился. В семьдесят лет бабка продолжала властвовать в этом мире. Над ее кроватью висел ее портрет, где она была на пять лет моложе, прямая, в черном платье, с медальоном на шее, без единой морщины, с огромными светлыми холодными глазами, и где у нее та королевская осанка, от которой она отказалась только с возрастом и которую порой еще считала нужным принимать на людях.

Этим светлым глазам ее внук был обязан воспоминанием, от которого до сих пор краснел. Бабка дожидалась, когда придут гости, и, строго на него глядя, спрашивала: «Кого ты любишь больше, мать или бабушку?» Игра осложнялась, когда присутствовала сама дочь. И во всех случаях мальчик отвечал: «Бабушку», ощущая при этом порыв любви к своей вечно молчащей матери. А если гости удивлялись такому ответу, мать говорила: «Просто его всегда воспитывала бабушка».

Таким образом, старуха считала, что любовь — это то, что можно требовать. Она исторгала из своего сознания доброй матери семейства некую непреклонность и нетерпимость. Она никогда не изменяла мужу и родила ему девять детей. После его смерти она энергично воспитывала свое семейство. Они переехали со своей фермы в предместье и попали в старый бедный квартал, где с тех пор и жили много лет.

Конечно, эта женщина была вполне добродетельна. Но для внуков, вошедших в возраст, которому свойственны резкие суждения, она была всего лишь домашней артисткой. От одного из своих дядей они знали показательную историю. Этот дядя шел навестить тещу и заметил, что она сидит у окна и ничего не делает. Но приняла она его с тряпкой в руке и извинилась за то, что будет продолжать работу, поскольку хозяйственные заботы занимают все ее время. И нужно признать, что так было и в остальном. С большой легкостью она падала в обморок на исходе семейного спора. Из-за болезни печени она также страдала сильными рвотами. Но она не помышляла ни о какой сдержанности в проявлении своей болезни и не думала уединиться, когда ее шумно рвало в мусорное ведро на кухне. Она возвращалась к своим бледная, с глазами, полными слез от напряжения, а если ее умоляли лечь, она

вспоминала, что ей еще надо кое-что приготовить и о том месте, которое она занимала в руководстве домом: «Здесь все делаю я». И еще: «Что с вами будет, когда меня не станет!»

Дети привыкли не обращать внимания на ее рвоты, на ее «приступы», как она говорила, на ее жалобы. Однажды она слегла и потребовала врача. Чтобы угодить ей, врача пригласили. В первый день он определил простое недомогание, во второй — рак печени, а в третий — запущенную желтуху. Но младший из детей упорно видел в этом лишь очередную комедию, еще более искусную симуляцию. Он нисколько не встревожился. Эта женщина столько его угнетала, что он не мог с ходу впасть в панику. В сугубой сдержанности и в отказе любить есть некая отчаянная храбрость. Впрочем, играя в болезнь, можно и в самом деле занемочь: бабка довела свое лицедейство до смерти. В последний день, окруженная детьми, она освобождалась от газов в кишечнике. Она запросто сказала внуку: «Видишь, пукаю, как поросенок». Час спустя она умерла.

Ее внук — потом он хорошо это почувствовал — тогда ничего не понял в происходящем. Он не мог освободиться от мысли, что перед ним была сыграна последняя и самая чудовищная из всех симуляций этой женщины. Он искал в себе признаки горя, но не обнаруживал ни малейших. Только в день похорон из-за всеобщего пролития слез он заплакал, но тут же засомневался в своей искренности перед лицом смерти. Это было в прекрасный солнечный зимний день. В голубизне неба утаивалась прохлада, подернутая желтизной. Кладбище высилось над городом, и можно было видеть, как прекрасные сквозные солнечные лучи падали на бухту, дрожащую от света, как влажная губа.

Вы спросите, как все это совместить? Но истина неделима. Больная женщина, которую бросают, чтобы пойти в кино, старик, которого уже никто не желает выслушать, покойница, которая смертью своей ничего не искупает, а с другой стороны — весь свет мира, ослепительный свет, так что приходится принимать все. Речь идет о трех похожих и все-таки различных судьбах. Смерть равняет всех, хоть у каждого она своя. Но, в конце концов, солнце согревает кости нам всем.

МЕЖДУ ДА И НЕТ

Если и вправду есть только один рай — тот, который потерян, — я знаю, как назвать то неуловимое, нежное, нечеловеческое, что переполняет меня сегодня. Скиталец возвращается на родину. А я — я предаюсь воспоминаниям. Насмешка, упрямство — все смолкает, и вот я снова дома. Не стану твердить о счастье. Все гораздо проще и легче. Потому что среди часов, которые я возвращаю из глубины забвения, всего сохранней память о подлинном чувстве, об одном лишь миге, который не затеряется в вечности. Только это во мне настоящее, и я слишком поздно это понял. Мы любим гибкость движения, вид дерева, которое выросло как раз там, где надо. И чтобы воскресить эту любовь, довольно самой малости, будь то воздух комнаты, которую слишком долго не открывали, или знакомые шаги на дороге. Так и со мной. И если я тогда любил самозабвение, значит, был верен себе, ибо самим себе возвращает нас только любовь.

Медлительные, тихие и торжественные возвращаются ко мне эти часы и все так же захватывают, все так же волнуют, ибо это вечер, печальный час, и в небе, лишенном света, затаилось смутное желание. В каждом вспомнившемся движении я вновь открываю себя. Когда-то мне сказали: «Жить так трудно». И я помню, как это прозвучало. В другой раз кто-то прошептал: «Самая горькая ошибка — заставить человека страдать». Когда все конечно, жажда жизни иссякает. Быть может, это и зовут счастьем? Перебирая воспоминания, мы все их облекаем в одни и те же скромные одежды, и смерть предстает перед нами, как старая выцветшая декорация в глубине сцены.

Мы возвращаемся к самим себе. Ощущаем всю меру своей скорби, и она становится нам милее. Да, быть может, грусть былых несчастий и есть счастье.

Таков и этот вечер. В мавританской кофейне, на краю арабского города, мне вспоминается не бывшее счастье, но некое странное чувство. Уже поздно. На стенах, среди пальм о пяти ветвях, канареечно-желтые львы гонятся за шейхами в зеленых одеяниях. В углу мигает ацетиленовая лампа. Но комнату кое-как освещает открытая топка маленькой печки, выложенной зелеными и желтыми изразцами. Пламя освещает середину комнаты, и я ощущаю на лице его отблески. Передо мною распахнутая дверь, и за нею — залив. В углу сидит на корточках хозяин и, кажется, смотрит на мой давно уже пустой стакан с листиком мяты на дне. В кофейне ни души, внизу шумит город, вдали виднеются огни над заливом. Мне слышно, как тяжело дышит араб, в сумраке поблескивают его глаза. Глухой далекий шум — верно, море? Нескончаемые мерные вздохи доносятся до меня — дыхание мира, непреходящее равнодушие и спокойствие того, что не умирает. От крупных алых бликов огня изгибаются львы на стенах. Становится прохладней. Над морем звучит сирена. Загораются огни маяка: зеленый, красный, белый. И не смолкает мощное дыхание мира. Из равнодушия рождается какая-то потаенная песнь. И вот я вновь на родине. Думаю о мальчишке, что жил в бедном квартале. Тот квартал, тот дом... Всего два этажа, и на лестнице темно. Еще и сейчас, после долгих лет, он мог бы вернуться туда среди ночи. Он знал, что взбежит по лестнице единым духом и ни разу не споткнется. Все его тело хранит на себе отпечаток того дома. Ноги в точности помнят высоту ступеней. И ладонь помнит невольный страх перед перилами, который так и не удалось одолеть. Потому что там водились тараканы.

Летними вечерами рабочие выходят на балкон. А у мальчишки было только крохотное оконце. Что ж, выносили из комнаты стулья и радовались вечеру, сидя перед домом. Тут была улица, рядом шла торговля мороженым, напротив — кофейни, с криком носилась от крыльца к крыльцу детвора. А главное, между огромными фикусами было небо. Бедность делает человека одиноким. Но одиночество это всему придает цену. Кто хоть на несколько ступеней поднялся к богатству, тот даже небо и ночь,

полную звезд, принимает как нечто само собою разумеющееся. Но для стоящих внизу, у подножия лестницы, небо вновь обретает весь свой смысл: это благодать, которой нет цены. Летние ночи, таинство, пламенеющее звездами! За спиной мальчика тянулся зловонный коридор, на продавленном стуле не очень-то удобно было сидеть. Но, подняв глаза, он впивал чистоту ночи. Порой пробегал мимо большой быстрый трамвай. Где-то за углом затягивал песню пьяный, но и это не нарушало тишины.

И мать мальчика тоже всегда молчала. Иной раз ее спрашивали: «О чем ты думаешь?» «Ни о чем», — отвечала она. И это была правда. Все тут, при ней, — о чем же думать? Ее жизнь, ее заботы, ее дети просто-напросто были при ней, а ведь того, что само собой разумеется, не ощущаешь. Она была слаба здоровьем, мысль ее работала трудно и медленно. Ее мать, женщина грубая, властная, вспыльчивая, все приносила в жертву неистовому самолюбию и с детства сломила слабую волю дочери. Выйдя замуж, дочь высвободилась было из-под ее власти, но, когда муж умер, покорно вернулась к матери. Умер он, как говорится, на поле чести. В золоченой рамке на самом виду висят его награды: крест «За боевые заслуги» и медаль. И еще из военного госпиталя вдове прислали найденный в его теле осколок гранаты. Вдова сохранила осколок. Она давно уже перестала горевать. Мужа она забыла, но еще говорит иногда об отце своих детей. Чтобы их вырастить, она работает и деньги отдает матери. А та воспитывает внуков ремнем. Когда она бьет слишком сильно, дочь говорит ей: «Только не бей по голове». Она их любит, ведь это ее дети. Любит всех одинаково и ни разу ничем не показала им своей любви. Случалось, в такой вот вечер, какие ему теперь вспоминаются, она вернется без сил с работы (она ходила по домам убирать) и не застанет ни души. Старуха ушла за покупками, дети еще в школе. Тогда она опустится на стул и смутным взглядом растерянно уставится на трещину в полу. Вокруг нее сгущается ночь, и во тьме немота ее полна безысходного уныния. В такие минуты, случись мальчику войти, он едва различит угловатый силуэт, худые, костлявые плечи и застынет на месте: ему страшно. Он уже начинает многое чувствовать. Он только-только начал сознавать, что существует. Но ему

трудно плакать перед лицом этой немоты бессловесного животного. Он жалеет мать — значит ли это любить? Она никогда его не ласкала, она этого не умеет. И вот долгие минуты он стоит и смотрит на нее. Он чувствует себя посторонним и оттого понимает ее муку. Она его не слышит: она тута на ухо. Сейчас вернется старуха, и жизнь пойдет своим чередом: будет круг света от керосиновой лампы, клеенка на столе, крики, брань. А пока — тишина, значит, время остановилось, длится нескончаемое мгновение. Мальчику кажется — что-то встрепенулось внутри, какое-то смутное чувство, наверно, это любовь к матери. Что ж, так и надо, ведь, в конце концов, она ему мать.

А она ни о чем не думает. На улице светло, шумно; здесь тьма и тишина. Мальчик вырастет, поймет. Его растят и за это потребуют благодарности, как будто уберегли от боли. Мать всегда будет вот так же погружаться в молчание. Он будет расти среди боли. Главное — стать взрослым. Бабушка умрет, а потом и мать, и он сам.

Мать вздрогнула. Испугалась. Чего он на нее уставился как дурак? Пускай садится готовить уроки. Мальчик приготовил все уроки. Сегодня он сидит в какой-то дрянной кофейне. Теперь он — взрослый. Разве это не главное? Похоже, что нет, ведь, когда сделаешь все уроки и примиришься с тем, что ты уже взрослый, впереди остается только старость.

Араб все так же сидит на корточках в своем углу, взявшись руками за ступни. Снаружи, с террас, тянет запахом поджаренного кофе, доносятся оживленные молодые голоса. Еще гудит негромко и ласково буксирный пароходик. Жизнь замирает, как всегда по вечерам, и от всех безмерных мучений остается лишь обещание покоя. Странная мать, такая равнодушная! Только безграничное одиночество, переполняющее мир, помогает мне постичь меру этого равнодушия. Однажды сына, уже взрослого, вызвали к матери. Внезапный испуг кончился для нее кровоизлиянием в мозг. Она привыкла по вечерам выходить на балкон. Садилась на стул, прикидала губами к холодным ржавым железным перилам. И смотрела на прохожих. За спиной у нее понемногу сгущалась тьма. Перед нею вдруг вспыхивали витрины. Улицу заполняли огни и люди. И мать погружалась в бесцельное созерцание. В тот вечер, о котором идет речь, сзади появился неизвест-

ный человек, набросился на нее, избил и, заслышав шум, скрылся. Она ничего не видела, потеряла сознание. Когда примчался сын, она была в постели. Врач посоветовал не оставлять ее на ночь одну. Сын прилег подле нее на кровати, поверх одеяла. Было лето. Жаркая комната еще дышала ужасом недавно разыгравшейся драмы. За стеною слышались шаги, скрип дверей. В духоте держался запах уксуса, которым обтирали больную. Она и сейчас беспокойно металась, стонала, порой вздрагивала всем телом. И сын, едва успев задремать, просыпался весь в поту, настороженно приглядывался к ней, потом бросал взгляд на часы, на которых плясал трижды отраженный огонек ночника, и вновь погружался в тяжелую дремоту. Лишь позднее он постиг, до чего одиноки были они в ту ночь. Одни против всех. «Другие» спали в этот час, когда их обоих сжигала лихорадка. Старый дом казался пустым, нежилым. Прошли полуночные трамваи, и с ними иссякли все надежды, какие пробуждают в нас люди, пропала уверенность, которую приносят нам городские шумы. В доме еще отдавалось эхо прогремевшего мимо вагона, потом все утасло. И остался лишь огромный сад безмолвия, где порою прорастали пугливые стоны больной. Никогда еще сын не чувствовал себя таким потерянным. Мир истаял, а с ним и обманная надежда, будто жизнь каждый день начинается сызнова. Ничего больше не существовало — ни занятий, ни честолюбивых замыслов, излюбленных блюд в ресторане, любимых красок. Остались только болезнь и смерть, и они затягивали его... И, однако, в тот самый час, когда рушился мир, он жил. И даже в конце концов уснул. Но все же в нем запечатлелся надрывающий душу, полный нежности образ этого одиночества вдвоем. Позже, много позже, вспомнится ему смешанный запах пота и уксуса, вспомнятся минуты, когда он ощутил узы, соединяющие его с матерью.словно безмерная жалость, переполнявшая его сердце, излилась наружу, обрела плоть и, ничуть не считая себя самозванкой, добросовестно играла роль полунищей старой женщины с горькой судьбой.

Уголья в очаге уже подернулись пеплом. И все так же дышит земля. Где-то рассыпает переливчатую трель дербука¹. С ней сливается смеющийся женский голос. По

¹ Арабский музыкальный инструмент, подобие барабана.

заливу приближаются огни — наверно, возвращаются в гавань рыбацьи лодки. Треугольник неба, который виден мне с моего места, стряхнул с себя дневные облачка. Полный звезд, он трепещет под чистым дуновением, и меня овевают медленными взмахами бесшумные крылья ночи. Куда придет эта ночь, в которой я больше не принадлежу себе? Есть нечто опасное в слове «простота». И сегодня ночью я понимаю: в иные минуты хочется умереть, потому что видишь жизнь насквозь — и тогда все теряет значение и смысл. Человек страдает, на него обрушивается несчастье за несчастьем. Он все выносит, свыкается со своей участью. Его уважают. А потом однажды вечером оказывается — ничего не осталось; человек встретил друга, когда-то близкого и любимого. Тот говорит с ним рассеянно. Возвратясь домой, человек кончает самоубийством. Потом говорят о тайном горе, о душевной драме. Нет. Если уж необходимо доискиваться причины, он покончил с собой потому, что друг говорил с ним рассеянно. И вот, всякий раз, как мне кажется, что я постиг мир до самых глубин, он меня потрясает своей простотой. Вспоминается мама, тот вечер и ее странное равнодушие. Или другой случай: я жил на даче в предместье, со мной были только собака, две кошки и их котята, все черные. Кошка не могла их кормить. Котята умирали один за другим. Они наполняли ящик пометом. И каждый вечер, возвратясь домой, я обнаруживал еще один окоченелый, оскаленный трупик. Однажды вечером я нашел последнего — мать наполовину сожрала его. От него уже пахло. Несло мертвечиной и мочой. Тогда я сел на пол и среди всей этой мерзости, с перепачканными руками, дыша запахом разложения, долго смотрел в зеленые, горящие безумием глаза кошки, оцепеневшей в углу. Да. Вот так было и в тот вечер. Что-то утратишь, и уже ни в чем нет связи и толку, надежда и безнадежность кажутся одинаково бессмысленными, и вся жизнь воплощается в единственном образе. Но почему бы не пойти дальше? Все просто, все очень просто при свете маяка — зеленый огонь, красный, белый; все просто в ночной прохладе, в долетающих до меня запахах города и нищеты. Если в этот вечер ко мне возвращаются образы детства, как же не принять урок, который они дают, урок любви и бедности? Этот час — как бы затишье между ДА и НЕТ, а потому я отложу

на другие часы и надежду, и отвращение к жизни. Да, надо только принять прозрачную ясность и простоту потерянного рая, заключенную в одном лишь образе. И вот, не так уж давно, в один дом в старом квартале пришел сын навестить мать. Они молча сидят друг против друга. Но взгляды их встречаются.

— Ну как, мама?

— Да так, ничего.

— Тебе скучно? Я мало говорю?

— Ну, ты всегда мало говорил.

И прекрасная улыбка освещает ее лицо, почти не трогая губ. Да, правда, он никогда с нею не разговаривал. Но, в сущности, что нужды говорить? В молчании все проясняется. Он ей сын, она его мать. Она может просто сказать ему: «Знаешь...»

Она сидит на краешке дивана, ступни плотно сдвинуты, руки сложены на коленях. Он — на стуле, почти не смотрит на нее, курит без передышки. Молчание.

— Напрасно ты так много куришь.

— Да, верно.

В окно вливается все, чем дышит улица. Слышен аккордеон из соседней кофейни, шумы уличного движения, нарастающие к вечеру; пахнет жареным мясом — кусочки его, прямо с вертела, едят, зажав между маленькими упругими лепешками; где-то плачет ребенок. Мать поднимается, берет вязанье. У нее неловкие пальцы, изуродованные артритом. Она вяжет медленно, по три раза принимается за одну и ту же петлю или распускает весь ряд; чуть слышно глухое шуршанье.

— Это кофточка. Буду носить с белым воротничком. Еще есть черное пальто, вот я и одета на зиму.

Она опять встает, зажигает свет.

— Нынче темнеет рано.

Да, верно. Уже не лето, но еще не осень. В ласковом небе еще носятся с криком стрижи.

— Ты скоро вернешься?

— Да ведь я еще не уехал. Почему ты спрашиваешь?

— Просто так, надо же что-то сказать.

Проходит трамвай. Автомобиль.

— Правда, что я похож на отца?

— А как же, вылитый отец. Понятно, ты его не знал. Тебе полгода было, когда он умер. Вот если бы тебе еще усики!

Об отце он говорит неуверенно. Никаких воспоминаний, никакого волнения. Уж, конечно, самый обыкновенный человек. Впрочем, воевать он пошел с восторгом. На Марне ему раскроило череп. Он ослеп, мучительно умирал целую неделю, имя его в его родном округе выбито на обелиске в память павших.

— Вообще-то так лучше, — говорит мать. — Вернулся бы он слепой, а может, помешанный. Что уж тогда бедняге...

— Да, верно.

Что же удерживает сына в этой комнате, если не уверенность, что всегда все к лучшему, не ощущение, что в этих стенах укрылась вся абсурдная, бессмысленная простота мира.

— Ты еще приедешь? — спрашивает мать. — Я знаю, у тебя работа. Но хоть кой-когда...

Так о чем это я сейчас? И как отделить нынешнюю пустую кофейню от той комнаты из прошлого? Я уже сам не знаю, живу ли или только вспоминаю. Вот они, огни маяка. И араб, хозяин кофейни, встает передо мной и говорит, что пора закрывать. Надо идти. Не хочу больше спускаться по этому опасному склону. Правда, я смотрю вниз на залив и его огни в последний раз, и его дыхание приносит мне не надежду на лучшие дни, а спокойное, первобытное равнодушие ко всему на свете и к самому себе. Но надо прервать этот слишком плавный, слишком легкий спуск. И мне необходима ясность мысли. Да, все просто. Люди сами все усложняют. Пусть нам не рассказывают сказки. Пусть не изрекают о приговоренном к смертной казни: «Он заплатит свой долг обществу», а скажут просто: «Ему отрубят голову». Кажется, пустяк. Но все-таки не совсем одно и то же. И потом, есть люди, которые предпочитают смотреть своей судьбе прямо в глаза.

СО СМЕРТЬЮ В ДУШЕ

Я приехал в Прагу в шесть часов вечера. Сразу же отнес вещи в камеру хранения. На поиски гостиницы в моем распоряжении было еще два часа. Меня переполняло странное чувство свободы, тем более, что два чемодана больше не оттягивали мне руки. Я вышел из вокзала, зашагал мимо садов и вдруг очутился прямо на проспекте Венцеслава, в это время дня кишашем людьми. Вокруг меня роились мириады существ, живших вдали от меня, о существовании которых я доселе ничего не знал. А между тем они существовали. Я был в тысяче километров от родной страны. Их языка я не понимал. Все шло быстро. Обгоняли меня, опережали. Я растерялся.

У меня было совсем мало денег. Как раз на шесть дней. Впрочем, на седьмой ко мне должны были присоединиться друзья. Меня беспокоило и это. Итак, я приступил к поискам какой-нибудь скромной гостиницы. Я находился в новой части города, и все, что предстало передо мной, вспыхивало огнями, смехом и женщинами. Я пошел быстрее. В моей поспешной прогулке было что-то от бегства. Однако к восьми часам, порядком устав, я достиг старого города. Там меня прельстила скромного вида гостиница с крохотным подъездом. Вхожу. Заполняю карточку, беру ключ. Мне достается номер 34, на четвертом этаже. Открываю дверь и оказываюсь в роскошной комнате. Ищу указатель цены: она в два раза выше, чем я рассчитывал. Денежный вопрос становится насущным. В этом большом городе я могу жить только скромно. Беспокойство, еще недавно смутное, принимает определенный характер. Мне становится не по себе. Я чувствую себя

полым, опустошенным. Однако тут же припоминаю: мне постоянно — справедливо или нет — приписывали полное безразличие к денежным вопросам. Откуда же эта дурацкая болезнь? Но рассудок мой уже работает: необходимо поесть, нужно снова идти и отыскать какой-нибудь скромный ресторан. На каждую трапезу я должен тратить не более десяти крон. Из всех ресторанов, которые я увидел, наименее дорогой выглядел и наименее уютным. Слоняюсь у ресторана. Там в конце концов встревожились моими маневрами: необходимо войти. Это довольно темный погребок, расписанный безвкусными фресками. Публика довольно пестрая. В углу несколько девиц курят и степенно переговариваются. Мужчины едят, в большинстве они лишены возрастных признаков и какого бы то ни было своеобразия. Кельнер, гигант в засаленном смокинге, наклоняет ко мне огромное бесстрастное лицо. Быстро, наугад, тычу пальцем в непонятном для меня меню в какое-то блюдо. Но похоже, требуется пояснение. Кельнер о чем-то спрашивает меня по-чешски. Я отвечаю на своем скудном немецком. Но он не знает немецкого. Я нервничаю. Он подзывает одну из девиц, которая подходит с классическим видом — левая рука на бедре, сигарета в правой, на губах — слюнявая улыбочка. Она садится за мой столик и заговаривает со мной на немецком, столь же скверном, как и мой. Все проясняется: кельнер хочет мне навязать дежурное блюдо. Будучи хорошим игроком, я соглашаюсь. Девица говорит со мной, но я больше ничего не понимаю. Естественно, я говорю «да» с самым проникновенным видом. Но я отсутствую. Все меня здесь раздражает, я в растерянности, мне уже не хочется есть. Я постоянно ощущаю какое-то покалывание, желудок мой стиснут. Заказываю кружку пива, так как знаю свои привычки. Приносят фирменное блюдо, я ем: это какая-то смесь манной каши и мяса, отвратительная из-за избытка тмина. Но я думаю о другом, скорее всего ни о чем, глядя на растянутые в улыбке толстые губы девки, сидящей напротив. Она надеется на приглашение? Она уже рядом со мной, прижимается. Я машинально отстраняю ее. (Она была некрасива. Я потом часто думал, что будь девица покрасивей, я избежал бы всего того, что за этим последовало.) Я боялся занемочь среди этих людей, готовых расхохотаться. Но еще больше я боялся оказаться

один в гостиничном номере, без денег и без желания, остаться наедине с собой и своими никчемными мыслями. До сих пор я в недоумении: как диковатый и робкий человек, каким я тогда был, смог себя преодолеть? Я ушел из ресторана. Я брел по старому городу, чувствуя, что не могу больше переносить себя; я заторопился в свою гостиницу, сразу улегся, и сон пришел почти мгновенно.

Каждая страна, где я не скучаю, — это страна, которая ничему меня не учит. Именно с помощью таких фраз пытался я справиться с силами. Но смогу ли я описать дни, которые затем последовали? Я питался в том же ресторане. Утром и вечером я подвергал себя пытке ужасным варевом с тмином, которое вызывало у меня отвращение. Весь день меня постоянно чуть ли не рвало от этого. Но я изо всех сил противился, зная, что нужно хоть чем-то питаться. Впрочем, это был пустяк по сравнению с тем, что наверняка пришлось бы вынести, переменяв ресторан. Здесь, по крайней мере, я был «своим». Если со мной и не разговаривали, то хотя бы улыбались. С другой стороны, моя тревога нарастала. Меня слишком терзала эта острая боль, засевшая в моем мозгу. Я решил упорядочить свой режим, снова найти в нем точку опоры. Я как можно дольше оставался в постели, и мой день настолько же укорачивался. Затем я приводил себя в порядок и методично изучал город. Я слонялся по пышным барочным храмам, пытаясь обрести в них отчизну, но выходил оттуда еще более опустошенным и отчаявшимся от этого малоприятного свидания с самим собой. Я бродил вдоль Влтавы, перерезанной бурлящими плотинами. Проводил долгие часы в огромном квартале Градчаны, пустынном и безмолвном. В тени его собора и его дворцов, в час заката, мои одинокие шаги гулко звучали на улицах. И, замечая это, я впадал в панику. Я рано ужинал и ложился спать в половине девятого. Солнце отрывало меня от самого себя. Церкви, дворцы, музеи — я старался унять свою тревогу, созерцая бесчисленные произведения искусства. Классический прием: я старался растворить свой бунт в меланхолии. Но тщетно. Как только я выходил, я становился чужим всем и всему. Но однажды, в одном барочном окраинном монастыре, в ласке угасающего дня, в медленном колокольном звоне, под гроздьями голубей, взлетаю-

щих со старой башни, в чем-то подобном запаху трав и небытия, во мне зародилась тишина, напитанная слезами, которая поставила меня на грань избавления от мук. И, вернувшись вечером в свой номер, я одним духом написал, а теперь скрупулезно переписываю то, что следует дальше, ибо я нахожу в самой выпренности всего этого сложность моих тогдашних чувств: «А собственно, какую еще пользу можно извлечь из путешествия? Вот он я без всяких прикрас. Город, вывески на улицах которого я не могу прочесть, странные буквы, с которыми не связано ничего привычного, здесь нет друзей, с которыми можно было бы поговорить, наконец, нет развлечений. Ничто не может извлечь меня из этой комнаты, куда проникает шум чужого города, ничто не приведет меня к доброму свету очага или какого-то излюбленного места. А что, если позвать кого-нибудь, закричать? Но и тогда появятся чужие лица. Церкви, золото и ладан — все отбрасывает меня в обыденную жизнь, где моя тревога оценивает каждую вещь. И вот занавес привычек при комфортабельном распорядке жестов и слов, когда сердце погружается в дремоту, медленно приподымается и обнажает бледный лик отчаяния. Человек оказывается наедине с самим собой: я бросаю ему вызов — будь счастлив... Но именно так путешествие его просвещает. Между ним и вещами возникает огромная дисгармония. В размягченное сердце свободнее входит музыка мира. Наконец, в этом великом самолишении крохотное одинокое деревце становится самым нежным и самым хрупким из образов. Произведения искусства и улыбки женщин, поколения людей, выросших в свою землю, памятники, которые подводят итог векам, — все это волнующий и проникновенный пейзаж, создаваемый путешествием. И потом, в конце дня, этот гостиничный номер, где что-то снова зияет во мне, как голод души». Может быть, все это только ради того, чтоб уснуть? Но теперь я могу сказать откровенно: все, что во мне осталось от Праги, это запах маринованных огурцов, которые продаются на каждом углу, огурцов, рассчитанных на то, чтобы их съели на ходу; их терпкий пикантный аромат пробуждал во мне тревогу и усиливал ее, как только я переступал порог гостиницы. От Праги остался этот запах и, возможно, еще одна мелодия, которую исполнял на аккордеоне под моими окнами однорукий слепой; сидя

на своем инструменте, он прижимал его ягодицей и играл, пользуясь единственной рукой. Это была всегда одна и та же детская и нежная мелодия, которая будила меня по утрам и внезапно вышвыривала в реальность без каких бы то ни было прикрас, в которой я барахтался как мог.

А еще вспоминается, как я вдруг останавливался на берегу Влтавы и, захваченный этим запахом или этой мелодией, брошенной в душу, вопрошал себя: «Что это означает? Что это означает?» Но я, конечно, еще не достиг пределов понимания. На четвертый день утром, около десяти часов, я готовился выйти в город. Я хотел посмотреть одно еврейское кладбище, которого не смог найти накануне. В дверь соседнего номера постучали. Никто не ответил, и в дверь постучали снова, на сей раз более настойчиво, но, по-видимому, безрезультатно. Кто-то тяжелой поступью спустился по лестнице. Не придав этому значения, я бездумно потерял некоторое время на чтение инструкции к крему для бритья, которым, впрочем, я пользовался уже месяц. День был тяжелый. С облачного неба на шпили колоколен и соборов древней Праги спускался металлический свет. Продавцы газет, как и каждое утро, выкрикивали «Народную политику». Я с трудом вырвался из охватившего меня оцепенения. Но когда я уходил, то встретил коридорного с ключами. Я остановился. Он снова долго стучал в дверь, затем попытался ее открыть. Ничего не вышло. Видимо, была задвинута внутренняя шеколда. Снова стук в дверь. Комната издавала гулкий и столь зловецкий звук, что я, не желая ни о чем спрашивать, ушел совершенно удрученный. Но на улицах Праги мной неотступно завладело тягостное предчувствие. Перед глазами стояло глуповатое лицо коридорного, его лаковые туфли, странным образом загнутые, и недостающая на куртке пуговица. Я позавтракал с нарастающим отвращением, а к двум часам вернулся в гостиницу.

В вестибюле шептался персонал. Я быстро поднялся по лестницам, чтобы побыстрее оказаться перед тем, чего ожидал. Так оно и случилось. Дверь номера была полуоткрыта так, что виднелась только выкрашенная в голубой цвет стена. Но глухой свет, о котором я говорил выше, отбрасывал на этот экран тень лежащего на кровати по-

койника и тень полицейского, дежурившего у тела. Тени образовывали прямой угол. Этот свет меня потряс. Он был подлинным, настоящим светом жизни, светом послеполуденным, который убеждает тебя в том, что ты живешь. Но тот человек умер. Один в номере. Мне было понятно, что это не самоубийство. Я поспешно вошел в свой номер и бросился на кровать. Человек как человек, маленький и тучный, если судить по тени. Без сомнения, он умер уже давно. А жизнь в гостинице продолжалась, пока коридорному не пришлось в голову постучать к нему. Он приехал сюда, ничего не предвидя, и умер в одиночестве. А я в это время читал инструкцию к крему для бритья. Все время после полудня я провел в состоянии, которое навряд ли смог бы описать. Я лежал без единой мысли в голове и странно сжавшимся сердцем. Я подпиливал ногти, считал бороздки паркета. «Если досчитаю до тысячи...» На пятидесяти или шестидесяти я осекся. Дальше я считать не мог. Снаружи не было слышно никаких шумов. Однако один раз в коридоре чей-то приглушенный голос, женский голос, произнес по-немецки: «Он был таким добрым». Тогда я с тоской подумал о своем городе на берегу Средиземного моря, о летних вечерах, которые я так люблю, таких ласковых в зеленом свете и населенных молодыми и красивыми женщинами. Уже много дней как я не произнес ни слова, и мое сердце разрывалось от воплей и сдержанного бунта. Я разревелся бы, как ребенок, если б кто-нибудь раскрыл мне объятия. К вечеру, с пустой головой, изнемогая от усталости, я неотступно смотрел на щеколду двери и твердил народную мелодию аккордеона. В тот момент я чувствовал, что уперся в тупик. Нет больше ни страны, ни города, ни комнаты, ни наименований: безумие или победа, унижение или вдохновение, узнаю ли я, на чем себя исчерпаю? В дверь постучали, вошли мои друзья. Я был спасен, даже если и не окончательно. Кажется, я сказал: «Рад вас видеть». Но я уверен, что на этом мои признания пресеклись и что в глазах тех друзей я остался таким же человеком, с каким они расстались.

Вскоре я уехал из Праги. И, конечно, заинтересовался тем, что потом увидел. Я мог бы отметить некий час на маленьком готическом кладбище Баутзена, пылающий

багрянец его гераней и лазурное утро. Я мог бы говорить о протяжных долинах Силезии, бесчувственных и бесплодных. Я их пересек на рассвете. Тяжелый косяк птиц летел в туманном и густом утре над вязкими землями. Я полюбил также нежную и степенную Моравию, ее чистые дали, ее дороги, окаймленные сливовыми деревьями с кислотоватыми плодами. Но в глубине души я хранил ошеломление тех, кто заглянул в бездонную расщелину. Я прибыл в Вену и уехал оттуда к концу недели, все время оставаясь пленником самого себя.

Однако в поезде, который вез меня из Вены в Венецию, я чего-то ждал. Я был как выздоравливающий, которого поили бульоном и который мечтает о первой корке хлеба, которую съест. Зарождался некий свет. Теперь я это осознаю: я был готов для счастья. Расскажу только о первых шести днях, которые я прожил на холме рядом с Виченцей. Я еще там, или скорее я иногда вновь представляю себя там, и часто все это возвращается, окутанное благоуханием розмарина.

Я въезжаю в Италию. Земля, созданная для моей души, один за другим я узнаю признаки ее приближения. Первые дома с чешуйчатыми крышами из черепицы, первые виноградники у стены, голубой от купороса. Первые веревки, протянутые во дворах, беспорядок предметов, безалаберность людей. И первый кипарис (такой хрупкий и тем не менее такой прямой), первое оливковое дерево и пыльное фиговое дерево. Площади итальянских городков, полные теней, полуденные часы, когда голуби ищут убежища, медлительность и нега, здесь душа истощает свой бунт. Страсть постепенно приводит к слезам. А вот и Виченца. Здесь дни вертятся вокруг своей оси, начиная с пробуждения, наполненного куриным кудахтаньем, до несравненного вечера, сладковатого и нежного, шелковистого за кипарисами и долго сопровождаемого стрекотом цикад. Меня сопровождает внутренняя тишина, порождаемая медленным течением, которое влачит один день вслед за другим. Чего же еще желать, кроме этой комнаты, выходящей окнами на долину, комнаты со старинной мебелью и вязаными крючком кружевами. Все небо у меня на лице, и кажется, что я беспрерывно мог бы следовать за этим кружением дней, неподвижный, вращающийся вместе с ними. Я вдыхаю единственное счастье, на которое спосо-

бен — внимательное и дружелюбное осознание. Весь день я гуляю: с холма спускаюсь к Виченце или же иду вперед до деревни. Каждое встреченное мною живое существо, каждый запах этой улицы — все служит мне предлогом для безмерной любви. Молодые женщины, работающие в детском лагере, рожки продавцов мороженого (их тележка — это гондола на колесах с носилками), лотки с фруктами, алые арбузы с черными семечками, липкий полупрозрачный виноград — столько поддержки для того, кто больше не умеет быть один¹. Но нежная и пронзительная флейта цикад, аромат воды и звезд, который случается в сентябрьские ночи, благоухающие дороги среди мастиковых деревьев и тростников — столько знаков любви для тех, кто вынужден быть один². Так проходят дни. После ослепления солнечных часов наступает вечер в пышном декоре из золота вечерних зорь и черноты кипарисов. Тогда я иду на дорогу к цикадам, голоса которых слышны издалека. По мере того, как я приближаюсь, они одна за другой начинают настороженно верещать, затем умолкают. Я медленно иду вперед, задавленный таким изобилием жгучей красоты. За моей спиной цикады одна за другой повышают голос, потом запевают все вместе: есть тайна в этом небе, откуда исходят равнодушие и красота. И в последних лучах солнца я читаю на фронте какой-то виллы: *In magnificentia naturae resurgit spiritus*³. Вот здесь нужно остановиться. Появилась уже первая звезда, затем три огонька на холме напротив, внезапно наступает ночь, которую ничто не предвещало, шепот и легкий ветерок в кустах сзади меня — и день убежал, оставив мне всю свою сладость.

Безусловно, я не изменился. Просто я больше не один. В Праге я задыхался среди стен. Здесь я стоял перед миром и, множась вокруг себя, заселял вселенную формами, похожими на меня самого. Но я еще не сказал о солнце. Я долго пытался понять свою привязанность и любовь к миру нищеты, где прошло мое детство, но только сейчас я вижу уроки страны и солнца, которые осеняли мое рождение. Незадолго до полудня я выходил и направлялся

¹ То есть для всех. — *Прим. автора.*

² См. предыдущее примечание. — *Прим. автора.*

³ В великолепии природы обновляется дух.

к хорошо знакомому месту, возвышавшемуся над огромной долиной Виченцы. Солнце было почти в зените, небо темно-голубое и невесомое. Весь свет, идущий с него, спускался по склону холмов, окутывал кипарисы и оливковые деревья, белые дома и красные крыши самым горячим из одеяний, а затем терялся в дымящейся от солнца долине. И каждый раз одна и та же горечь. Во мне возникала горизонтальная тень маленького тучного человека. И в этих долинах, кружащихся на солнце и в пыли, на этих сбитых и покрытых коркой выжженной травы холмах, все, чего я касался пальцем, было нагой непривлекательной формой с привкусом небытия, которую я продолжал носить в себе. Эта страна вела меня к моему собственному сердцу и ставила перед моей затаенной тревогой. Это была тревога Праги и в то же время не она. Как это объяснить? Конечно, перед этой итальянской долиной, наполненной деревьями, солнцем и улыбками, я лучше улавливал запах смерти и бесчеловечности, уже с месяц преследовавший меня. Да, эта бесслезная горечь, этот безрадостный покой, переполнявший меня — все это происходило только от четкого сознания того, что было не по мне: от отречения и равнодушия. Подобно этому, обреченный на смерть и знающий об этом не интересуется судьбой своей жены — разве что в романах. Он осуществляет призвание человека, который является законченным эгоистом, а значит человеком отчаявшимся. Для меня в этой стране нет никакой надежды на бессмертие. А что для меня значит снова воскресить в душе Виченцу, не имея глаз, чтобы ее видеть, рук, чтобы притронуться к ее винограду, кожи, чтобы почувствовать ласку ночи на дороге от Монте-Берико до виллы Вальмарана?

Да, все это правда. Но в то же время с солнцем в меня входило нечто, что мне трудно определить. На этом крайнем острие крайнего сознания все соединялось, и собственная жизнь казалась мне глыбой, которую нужно отбросить или принять. Мне необходимо было величие. Я находил его в противоборстве моего великого отчаяния и тайного безразличия одного из самых прекрасных пейзажей на свете. В нем я черпал силу быть одновременно мужественным и сознающим. Мне хватало столь трудной и парадоксальной коллизии. Но, быть может,

я уже преодолел кое-что из того, что тогда так верно чувствовал. Впрочем, я часто мысленно возвращаюсь к тем тягостным дням, которые пережил в Праге. Я давно вернулся в свой город. Но иногда острый запах огурцов и уксуса пробуждает мою былую тревогу. Тогда мне необходимо думать о Виченце. Но мне дороги оба города, и я плохо отличаю свою любовь к свету и жизни от своей тайной привязанности к печальному испытанию, которое я решил описать. Вы это уже поняли, а я не хочу выбирать. В предместье Алжира есть маленькое кладбище с чугунными воротами. Если идти до конца, то увидишь лощину с изгородью в глубине. Можно долго мечтать перед этим даром, вздыхающим вместе с морем. Но когда возвращаешься, на заброшенной могиле видишь плиту с надписью «Вечная скорбь». К счастью, чтобы гармонизировать такие противоречия, существуют идеалисты.

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Ночью в Пальме жизнь мало-помалу оттекает в квартал кафе-шантанов, за рынок: улицы там черные и молчаливые, пока не упруешься в решетчатые двери, откуда просачиваются свет и музыка. Мне довелось провести почти всю ночь в одном из таких заведений. Крохотный зал, очень низкий, квадратный, выкрашенный в зеленый цвет и увешанный розовыми гирляндами. Доштатый потолок усеян миниатюрными красными лампочками. В этом тесном закутке каким-то чудом умещались оркестрик, бар с разноцветными бутылками и публика, сидевшая так тесно, что хоть подыхай. Сплошь одни мужчины. В середине оставалось два свободных квадратных метра. Повсюду были стаканы и бутылки, рассылаемые официантом по всем четырем углам зала. И не было ни единого человека в своем уме. Все вопили и горланили. Какой-то вроде бы морской офицер отрывивал мне прямо в лицо пьяные любезности. Карлик неопределенного возраста, мой сосед по столику, распинался о своей жизни. Но я был слишком напряжен и не слушал его. Оркестрик без передышки наяривал мелодии, от которых оставался только ритм, потому что его отбивали ногами все посетители. Время от времени распахивалась дверь, и горлодерам приходилось потесниться, чтобы дать вновь прибывшему место между двумя стульями¹.

Внезапно грохнули медные тарелки и в тесный прогал посреди кабачка выскочила женщина. «Ей двадцать один год», — сообщил мне офицер. Я оторопел. Юное девичес-

¹ Известная непринужденность во время веселья — признак истинной цивилизации. Испанцы же — один из немногих цивилизованных народов Европы.

кое лицо, прилепленное к горе мяса. Росту в ней было, наверное, метр восемьдесят, а весила эта туша не меньше ста двадцати килограммов. Она стояла подбоченившись, закутанная в желтую сеть, сквозь ячейки которой выпирали квадратики белой плоти, стояла и улыбалась; от обоих уголков рта к ушам струилась мелкая телесная зыбь. Восторгу зала не было границ. Видно было, что девицу здесь знают, любят, ждут. А она все улыбалась. Обвела публику взглядом и, не переставая улыбаться, принялась кольхат пюзом. Зал взвыл от восхищения, потом потребовал песенку, вроде бы всем знакомую. То был гнусавый андалузский напев, на каждые три такта сопровождаемый глухим звяканьем ударных. Она пела и при каждом ударе содрогалась всей тушей, изображая любовную сцену. Эти монотонные и страстные извивы порождали новую череду телесных волн, струившихся от ляжек к плечам. Зал прямо-таки тонул в них. Когда дошла очередь до припева, девица крутанулась на месте, стиснула груди ладонями и, разинув накрашенный влажный рот, принялась выкрикивать припев вместе с залом, пока все шумно не повскакали с мест.

Всей своей неохватной тушей высилась она в середине кабаре, мокрая от пота, растрепанная, вздувшаяся в желтой сети. Похожая на вылезшую из воды поганую богиню с низким безмозглым лбом и запавшими глазами, она не подавала иных признаков жизни, кроме мелкой дрожи в коленке, — такая дрожь иногда бьет загнанную лошадь. В окружении публики, топающей ногами от восторга, с отчаяньем в пустых глазах и густыми потеками пота на животе, она казалась мерзким и неотразимым воплощением самой жизни...

Трудно было бы путешествовать, не будь на свете кафе и газет. Листок с текстом на понятном тебе языке, местечко, где можно потолкаться среди людей, помогают нам посредством привычного жеста ощутить себя тем, кем мы были дома и кто теперь, на расстоянии, кажется совсем незнакомым. Ибо плата за путешествие — страх. Он разрушает в нас то, что можно назвать внутренними декорациями. Становится невозможно плутовать — прикрываться маской часов, проведенных в конторе или на стройке, тех самых часов, что кажутся такими нудными, а на самом деле как нельзя лучше оберегают от мук одиночества. Потому-то я мечтаю написать романы, герои которых

говорили бы: «Что бы со мною стало без работы в контроле?», или: «Жена умерла, но, к счастью, завтра мне надо подготовить целую кипу важных документов». Путешествие лишает нас этого убежища. Вдали от близких, от родного языка, утратив всякую опору, лишившись всех масок (поди догадайся, почему тут трамвайный билет, о прочем и говорить нечего), мы целиком всплываем на поверхность самих себя. Но эта душевная неустроенность позволяет нам вернуть каждому существу, каждой вещи их изначальную волшебную ценность. Бездумно танцующая женщина, бутылка на чьем-то столе за оконной занавеской — каждый образ становится символом. Кажется, что в них сполна отражается вся жизнь в той мере, в какой в этот миг сводится к ним наше собственное существование. Мы благодарим жизнь за все ее дары, но как описать те разноречивые формы опьянения, вплоть до опьянения ясностью ума, которые нам дано испытать? Ведь ни один край, кроме Средиземноморья, так не отдалял и одновременно не приближал меня к моей сути.

Вот какие чувства обуревали меня, когда я сидел в кафе Пальмы. Однако в полдень, в пустынных кварталах вокруг монастыря, среди старинных дворцов и свежих палисадников, на улицах, пахнувших тенью, меня, напротив, поразило ощущение некой «неспешности». Там не было ни души, только на террасах застыли силуэты старух. Шагая по улице, заглядывая во дворики, полные зелени, вьющейся по округлым серым столбам, я растворялся в этом благоухании тишины, терял представление о себе самом, превращался в отзвук собственных шагов, в птичью стайку, чья тень изредка мелькала на верху еще озаренных солнцем стен. Я часами оставался в тесном готическом клуатре собора Св. Франциска. Его изысканная и вычурная колоннада лучилась дивной желтизной, свойственной старым монументам Испании. Во дворе росли олеандры и перечные деревья, виднелась кованая колодезная ограда с висевшим на ней ржавым черпаком. Из него пили прохожие. Мне до сих пор иногда слышится чистый звук, с которым он ударялся о каменную кладку. Но не тихой радости бытия научила меня эта обитель. В сухом плеске голубиных крыльев, в затаившейся среди сада тишине, в отдаленном скрежете колодезной цепи я ощущал незнакомый и в то же время такой привычный привкус. Я про-

светлел и улыбался этой неповторимой игре обличий. Но мне чудилось, будто кто-то неосторожно оставил трещину на кристалле, в котором сквозило безмятежное лицо мира. Что-то должно было разладиться, голубиный полет должен был прерваться, каждой из птиц суждено было, расправив крылья, медленно осесть на землю. Только мое собственное безмолвие и неподвижность придавали правдоподобность тому, что так походило на иллюзию. Я вступал в игру. Не будучи обманутым, я отдавался видимостям. Дивное золотое солнце потихоньку грело желтые камни монастырского дворика. Женщина черпала воду из колодца. Но через час, через минуту, через секунду, — быть может, в этот самый миг все вокруг могло обратиться в ничто. И однако чуду не было конца. Мир жил дальше — застенчивый, насмешливый и скромный, какой бывает нежная и сдержанная женская дружба. Равновесие сохранялось, хотя и было окрашено предчувствием близкого конца.

В этом и состояла моя любовь к жизни: молчаливая страсть ко всему, что готово было ускользнуть от меня, горький пепел под пламенем. Каждый день я покидал обитель с таким чувством, словно я отнят у самого себя и на краткий миг причтён к длительности мирового бытия. Теперь мне понятно, отчего я думал тогда о незрячих глазах дорических Аполлонов, о застывших и дышащих огнем фигурах Джотто¹. Ведь в тот миг я отчетливо сознавал, чем могут одарить меня подобные страны. Меня восхищало, что на берегах Средиземноморья можно обрести ручательства и правила жизни, которые способны утолить разум, оправдать жизнелюбие и доверительное отношение к людям. И еще меня поражало тогда не то, что мир Средиземноморья сотворен по человеческим меркам, а то, что он замыкается на человеке. Язык этих стран был созвучен тому, что раздавался в моей душе, но не оттого, что он мог ответить на мои вопросы, а оттого, что показывал их бесполезность. И не изъявления благодарности готовы были сорваться с моих губ, а горькое слово «nada» — «ничто», которое могло родиться только среди этих испепеленных солнцем пей-

¹ С появлением улыбки и взгляда начинается упадок греческой скульптуры и распространение итальянского искусства. Слово красота иссякает там, где начинается дух.

зажей. Любви к жизни нет без вызываемого жизнью отчаяния.

Будучи в Ивисе, я каждый день заходил в портовые кабачки. Часам к пяти местные девушки и парни начинали двумя рядами прогуливаться вдоль причала. Здесь заключаются браки, здесь начинается жизнь. Поневоле думаешь, что есть некое величие в том, чтобы начинать жизнь вот так, на виду у всех. Я усаживался, еще пошатываясь от дневного солнца, переполненный белыми церквями и белеными стенами, выжженными полями и корявыми оливами. Я пил тепловатый оршад, смотрел на извивы холмов прямо передо мной. Они мягко спускались к морю. На самом высоком из них последний порыв бриза ворочал крылья ветряной мельницы. Будто по волшебству все вокруг начинали говорить вполголоса, так что оставалось только небо да возносящиеся к нему певучие слова, звучавшие словно откуда-то издалека. В этот краткий миг сумерек все было напоено какой-то мимолетной грустью, ощутимой не только отдельными людьми, но и целым народом. Мне хотелось кого-то любить, как иногда хочется беспричинно расплакаться. Мне казалось, что отныне каждый час, отданный сну, будет похищен у жизни... то есть у времени беспредметных желаний. Как в те трепетные часы, проведенные в кафе Пальмы и в обители Св. Франциска, я был недвижим, напряжен и бессилен перед могучим порывом, стремившимся уместить в моих ладонях целый мир.

Я знаю, что ошибаюсь, что есть предел всякой самоотдаче. А если это так, то за ним-то и начинается творчество. Но нет пределов любви, и пусть мои объятия неуклюжи, — ведь я обнимаю весь мир. Я знал генуэзских женщин, чьи улыбки могли восхищать меня целое утро. Я никогда их больше не увижу, да и, сказать по правде, ничего особенного в этих улыбках не было. Но словами не погасишь огонек сожаления об утраченном. Стоя у колодца в обители Св. Франциска, я следил за полетом голубей и забывал о жажде. Однако неизменно наступал миг, когда она воскресала.

ИЗНАНКА И ЛИЦО

Это была нелюдимая и своеобразная женщина. Она поддерживала тесное общение с духами, принимала участие в их распрах и отказывалась видеть некоторых членов своей семьи, которых плохо воспринимали в том мире, где она укрывалась.

От сестры она получила небольшое наследство. Эти пять тысяч франков, привалившие ей на исходе жизни, обернулись лишними хлопотами. Их нужно было как-то употребить. Почти все способны пользоваться большим состоянием, и трудности начинаются, когда сумма невелика. Эта женщина осталась верна себе. Приближаясь к смерти, она решила дать приют своим старым костям. Ей помог случай. На городском кладбище истекли сроки аренды на одном из участков, и владельцы воздвигли из черного мрамора склеп строгой формы, настоящее сокровище, которое они готовы были уступить за четыре тысячи франков. Этот склеп она и купила. Это было надежное вложение денег, ценность которого не зависела ни от биржевых колебаний курса, ни от политических событий. Она распорядилась привести в порядок внутреннюю часть могилы, чтобы та готова была принять ее тело. Когда все было исполнено, она распорядилась высечь свое имя крупными золотыми буквами.

Эти хлопоты захватили ее так глубоко, что она стала испытывать истинную любовь к своей могиле. Сначала она приходила смотреть на ход работ. А в конце концов стала посещать свою могилу каждое воскресенье после полудня. Это был ее единственный выход из дому и единственное развлечение. Около двух часов пополу-

дни она проделывала долгий путь, ведущий к городским воротам, где находилось кладбище. Она заходила в маленький склеп, бережно закрывала дверь и преклоняла колени на молитвенной скамеечке. Вот так наедине с собой она сопоставляла то, чем была, и то, чем должна была стать, соединяла разорванные звенья цепи и без усилий раскрывала тайные замыслы Провидения. Однажды она, благодаря особому знаку, вдруг поняла, что с точки зрения окружающих она уже умерла. На праздник Всех Святых, который наступил позже обычного, она обнаружила, что могила ее благоговейно усыпана фиалками. Деликатно проявив внимание, сердобольные незнакомые люди положили на эту могилу, лишенную цветов, часть своих цветов и почтили память всеми покинутой покойницы.

Но я всего этого не принимаю. От сада за окном я вижу только стены. И немного листвы, пронизанной светом. Выше — еще листва. Еще выше — солнце. Но из всего этого ликования воздуха, которое ощущается снаружи, из всей этой радости, разлитой над миром, я вижу только тени ветвей, играющие на белых занавесках. А также пять солнечных лучей, терпеливо наполняющих мою комнату запахом подсохших трав. Легкий ветерок — и тени резвятся на занавеске. Когда облако закрывает, а потом открывает солнечный диск, из тени выплывает ярко-желтая вспышка вазы с мимозами. Этого достаточно: один зарождающийся отблеск — и я уже переполнен смутной дурманящей радостью. Этот январский день открывает мне изнанку мира. Но в глубине воздуха затаился холод. Повсюду солнечная пленка, которая хрустит под ногтями и облицовывает все предметы вечной улыбкой. Кто я и что мне еще делать, как не вступить в игру листвы и света? Стать этим лучом, в котором тлеет моя сигарета, этой мягкостью и этой сдержанной страстью, пронизывающей воздух? Если я пытаюсь обрести себя, то именно внутри этого света. И если я тщуся понять и насладиться этим тонким вкусом, открывающим тайну мира, то в глубине вселенной я нахожу самого себя. Самого себя, то есть мое крайнее волнение, которое извбавляет меня от окружающего.

Но что сказать обо всем другом — о людях и могилах, которые они покупают? Разрешите мне вырезать это

мгновение из ткани времени. Некоторые оставляют цвет-ток меж страниц, прячут туда прогулку, где их коснулась любовь. Я тоже прогуливаюсь, но меня ласкает некий бог. Жизнь коротка, и грешно терять время. Говорят, я человек деятельный. Но быть деятельным — это тоже терять время соразмерно тому, как теряешь себя. Сегодня — некая передышка, и мое сердце устремляется на встречу с самим собой. Если меня все еще обуревают тревога, то скорее всего от ощущения, что это неосязаемое мгновение проскальзывает сквозь пальцы, как шарики ртути. Оставим же тех, кто предпочитает повернуться спиной к миру. Я не жалею, ибо наблюдаю свое рождение. В этот час все мое царство принадлежит сему миру. Это солнце и эти тени, эта жара и этот холод, идущий из глубины воздуха; буду ли я вопрошать себя: существует ли смерть и людские страдания, если все написано на этом окне, куда небо изливает свою полноту навстречу моему состраданию? Я могу сказать и сейчас скажу, что единственные стоящие вещи — человечность и простота. Даже не так: единственное, что нужно — это подлинность, а человечность и простота в нее вписываются. А ведь самый подлинный я тогда, когда следую за миром. Я удовлетворен еще до того, как этого пожелал. Вечность здесь, и я на нее уповал. Теперь я уже не желаю быть счастливым, но только хочу все сознать.

Один созерцает, а другой роет себе могилу: как их разделить? Как разделить людей и абсурдность их жизни? Но вот улыбка неба. Свет разбухает, скоро наступит лето? Но вот глаза и голоса тех, кого нужно любить. Я держусь за мир всеми своими поступками, за людей — всем своим состраданием и благодарностью. Я не хочу выбирать между лицом и изнанкой мира, я не люблю выбирать. Люди не хотят, чтобы ты был прозорливым и насмешливым. Они говорят: «Это доказывает, что вы человек недобрый». Я не вижу тут особой связи. Конечно, если я слышу, как кому-то говорят, что он аморален, я полагаю, что ему следует потрудиться над своим нравственным обликом; когда говорят еще о ком-то, что он презирает разум, я понимаю, что этот человек не может вынести своих сомнений. Но все это потому, что я не люблю плутовства. Великое мужество заключается в том, чтобы прямо смотреть

на свет, как и на смерть. Впрочем, что сказать о пути, по которому проходишь от этого безоглядного жизнелюбия к полному отчаянию? Если я слышу иронию¹, запрятанную где-то в глубине вещей, она понемногу себя обнаруживает. Подмигивая ясным глазком, она говорит: «Живите так, словно...» Несмотря на все поиски, вот и все мое знание.

В конце концов, я не уверен, что прав. Но это и не важно, когда я вспоминаю о женщине, чью историю мне как-то рассказали. Она умирала, и дочь обрядила ее для могилы, когда женщина была еще жива. И действительно, сделать это легче, пока члены еще не окоченели. И все же странно, что мы живем среди столь торопливых людей.

¹ Эту гарантию свободы, как говорит Баррес. — Прим. автора.

БРАЧНЫЙ ПИР



NOCES

БРАЧНЫЙ ПИР В ТИПАСА

Весной в Типаса обитают боги, и боги говорят на языке солнца и запаха полыни, моря, закованного в серебряные латы, синего, без отбелей, неба, руин, утопающих в цветах, и кипени света на грудах камней. В иные часы все вокруг черно от слепящего солнца. Глаза тщетно пытаются уловить что-нибудь, кроме дрожащих на ресницах капелек света и красок. От густого запаха ароматических трав, который стоит в знойном воздухе, першит в горле и нечем дышать. Я едва различаю черную громаду Шенуа, который вырастает из окружающих селение холмов и тяжелой, уверенной поступью спускается к морю.

Мы едем через селение, откуда уже видна бухта. Мы вступаем в желто-синий мир, где нас встречает, как вздох, терпкий аромат, который летом издает земля в Алжире. Повсюду из-за стен вилл выглядывают бутенвиллеи; в садах — еще бледные кетмии, которые скоро станут пурпурными, и море чайных роз, пенящихся, как взбитые сливки, в обрамлении нежно-лиловых ирисов на длинных стеблях. Каждый камень излучает тепло. Когда мы выходим из автобуса, сверкающего, как начищенная золотая пуговица, мясники в своих красных машинах, как обычно по утрам, объезжают селение, сзывая жителей гудками сирен.

Слева от порта лестница из каменных плит, не скрепленных цементом, ведет к руинам через заросли дрока и мастиковых деревьев. Дорога проходит мимо маленького маяка и теряется в полях. От самого подножия этого маяка какие-то большие мясистые растения с фиолетовыми, желтыми и красными цветами спускаются к первым скалам, которые море целует взасос. Мы стоим на солнце,

обдуваемые легким ветром, который касается холодком одной стороны лица, и смотрим, как с неба нисходит свет и море, без единой морщинки, улыбается своей белозубой улыбкой. Прежде чем вступить в царство руин, мы в последний раз созерцаем пейзаж, как сторонние зрители.

Едва мы делаем несколько шагов, полынь берет нас за горло. Повсюду, насколько хватает глаз, ее серые волосы покрывают руины. От зноя в ней бродят соки, и кажется, на всем свете от земли к солнцу поднимается крепкий хмель, от которого пьянеет и шатается небо. Мы идем навстречу любви и желанию. Мы не ищем поучений, проникнутых горькой философией, которых обычно ждут от всего величественного. Все, кроме солнца, поцелуев и диких запахов, кажется нам пустым. Что до меня, я не стремлюсь бывать здесь в одиночестве. Часто я приезжал сюда с теми, кого любил, и я читал в их чертах светлую улыбку, которой здесь озаряется лик любви. Здесь мне нет дела до порядка и меры. Меня всецело захватывает необузданное своеволие природы и распутство моря. Сочетавшись с весной, руины опять стали камнями и, утратив наведенную льдами полировку, вновь приобшились к природе. Чтобы отпраздновать возвращение этих блудных сыновей, природа щедро рассыпала цветы. Между плит фo-рума гелиотроп просовывает свою круглую белую головку, и красные герани обагрят кровью то, что некогда было домами, храмами и городскими площадями. Подобно тому как иных ученых наука вновь приводит к богу, столетия вновь привели руины в обитель их матери. Ныне их наконец покидает их прошлое, и ничто уже не мешает им покориться той властной силе, которая увлекает свободно падающее тело.

Сколько часов провел я, топча полынь, ошупывая теплые камни и пытаясь согласовать свое дыхание с бурными вздохами мира! Одурманенный дикими запахами и дремотным жужжанием насекомых, я приемлю взором и сердцем невыносимое величие знойного неба. Не так-то легко стать самим собой, вернуть утерянную внутреннюю гармонию. Но, глядя на массивный хребет Шенуа, я неизменно испытывал странное успокоение. Я начинал дышать глубоко и ровно, я обретал душевную цельность и полноту. Я поднимался то на один, то на другой склон, и каждый раз меня ждало вознаграждение, как, например, этот храм, колоннами которого расчислен бег солнца, а со ступеней видно все селение с его белыми и розовыми

крышами и зелеными верандами. Или эта базилика на Восточном холме: ее стены сохранились, а вокруг нее широким кольцом тянутся раскопанные саркофаги, по большей части едва обнажившиеся, еще причастные к земле. Прежде в них покоились мертвые, а теперь растут желтые левкой и шалфей. Сент-Сальса — христианская базилика, но стоит посмотреть в любой пролом, как, изгоняя чувство отрешенности, до нас доносится мелодия мира: склоны усажены соснами и кипарисами, а в каких-нибудь двадцати метрах белеет барашками море. У холма, на котором возвышается Сент-Сальса, плоская вершина, и от этого ветер свободнее бродит в портиках храма. Под лучами утреннего солнца блаженством дышит простор.

Ниши те, кто нуждается в мифах. Здесь боги служат руслами, по которым текут дни, или вехами, отмечающими их течение. Описывая пейзаж, я говорю: «Вот это красное, это синее, это зеленое. Это море, горы, цветы». И к чему мне упоминать о Дионисе, чтобы сказать, что я люблю, раздавив пальцами, подносить к носу почки мастикового дерева? И Деметре ли посвящен тот древний гимн, который потом сам собою пришел мне на память: «Счастлив тот из живущих на земле, кто видел это». Видеть, и видеть земное, — как можно забыть этот завет? Участникам Элевзинских мистерий достаточно было созерцать. Я знаю, что даже здесь я никогда до конца не сблизюсь с миром. Мне нужно раздеться донага и броситься в море, растворить в нем пропитавшие меня земные запахи и своим телом сомкнуть объятия, о которых издавна, прильнув устами к устам, вздыхают земля и море. Я вхожу в воду, словно в холодную смолу, и у меня перехватывает дыхание; потом ныряю; шумит в ушах, течет из носу, горько во рту, и я плыву — руки взлетают из воды, блестящие, будто покрытые лаком и позлащенные солнцем, сгибаются и опускаются, играя каждым мускулом; вода струится вдоль тела, я с шумом отталкиваюсь ногами, попирая волну, и — нет предо мной горизонта. На берегу я падаю на песок, вновь обретая тяжесть костей и плоти, и безвольно лежу, одуревший от солнца, изредка поглядывая на свои руки и следя, как с них скатываются капельки воды и там, где кожа высыхает, показываются золотистый пушок и пятнышки соли.

Здесь я понимаю, что такое избранничество: это право безмерно любить. Есть лишь одна любовь в этом мире.

Сжимать в объятиях тело женщины — то же, что вбирать в себя странную радость, которая с неба нисходит к морю. Сейчас я брошусь наземь и, валяясь по полыни, чтобы пропитаться ее запахом, буду сознавать, что поступаю согласно истинной природе вещей, в силу которой солнце светит, а я когда-нибудь умру. В известном смысле здесь я ставлю на карту свою жизнь, жизнь, согретую теплом, которое излучают камни, полную вздохов моря и стрекота цикад, которые заводят теперь свою песнь. Свежий ветерок, синее небо. Я самозабвенно люблю эту жизнь и хочу безудержно говорить о ней: она внушает мне гордость за мою судьбу — судьбу человека. Однако мне не раз говорили: тут нечем гордиться. Нет, есть чем: этим солнцем, этим морем, моим сердцем, прыгающим от молодости, моим солоноватым телом и необъятным простором, где в желтых и синих тонах пейзажа сочетаются нежность и величие. Завоевать все это — вот на что я должен употребить все мои силы и средства. Здесь ничто не мешает мне оставаться самим собой, я ни от чего не отрекаюсь и не надеваю никакой маски: мне достаточно терпеливо учиться жить. Это трудная наука, но она стоит всех формул житейской мудрости.

Незадолго до полудня мы через руины возвращаемся в маленькое кафе у самого порта. Какое отрадное убежище этот прохладный, полный тени зал, когда в голове звенит от солнца и красок, как освежает стакан ледяной зеленой мяты! За окном — море и сверкающая горячей пылью дорога. Сидя за столиком, я пытаюсь смотреть на раскаленное добела небо, мигаю и щурюсь — в глазах рябит от слепящего света. Лица у нас потные, но тело под легким полотняным платьем, в которое мы одеты, сохраняет приятную свежесть, и от всех нас веет счастливой усталостью людей, празднующих свое бракосочетание с миром.

Кормят в этом кафе плохо, зато здесь много фруктов — главным образом персиков, таких зрелых, что, когда их ешь, сок течет по подбородку. Смакуя персик, я слушаю, как во мне бурлит кровь, стуча в виски, и смотрю во все глаза. На море воцарилась всеобъемлющая полуденная тишина. Всякое прекрасное существо естественно гордится своей красотой, и гордость мира сегодня сквозит во всем. Зачем же мне перед его лицом отрицать радость жизни, если радость жизни для меня не исключает всего остального? Быть счастливым не стыдно. Но ныне ко-

роль — глупец, а глупцом я называю того, кто боится наслаждаться жизнью. Нам так много говорили о гордости: вы ведь знаете, это сатанинский грех. Берегитесь, кричали нам, вы погубите себя и свои живые силы! С тех пор я узнал, что известного рода гордость действительно... Но в иные минуты я не могу не настаивать на своем праве гордиться жизнью, ибо весь мир вступает в заговор, чтобы вселить в меня это чувство. В Типаса видеть и верить — одно и то же, и я не стану упорно отрицать то, к чему могу прикоснуться рукой или губами. Я не испытываю потребности воссоздать увиденное в произведении искусства, я хочу рассказать о нем, а это нечто иное. Типаса для меня подобна тем персонажам, которых описывают, чтобы косвенным образом высказать свой взгляд на мир. Они свидетельствуют в пользу этого взгляда, и свидетельствуют по-мужски твердо. Так и Типаса. Сегодня она мой персонаж, и, пока я любовно описываю ее, я, кажется, буду пьянеть и пьянеть. Всему свое время — время жить и время запечатлевать жизнь. Наступает и время творить, что уже не так естественно. Мне достаточно жить каждой клеточкой тела и утверждать жизнь всеми фибрами сердца. Жить жизнью Типаса и запечатлевать эту жизнь. А потом придет и искусство. Здесь гнездится свобода.

Я никогда не оставался в Типаса больше чем на день. Всегда наступает момент, когда ты слишком присмотрелся к пейзажу, точно так же, как проходит долгое время, прежде чем в него как следует всмотришься. Горы, небо, море подобны примелькавшимся лицам, которые вдруг поражают нас своей изможденностью или прелестью: до этого мы смотрели, вместо того чтобы видеть. Но всякое лицо, для того чтобы стать красноречивым, должно претерпеть известное обновление. И люди жалуется, что все слишком быстро приедается, когда им следовало бы восхищаться тем, что мир нам кажется новым только потому, что мы забыли, каков он.

К вечеру я возвращался в более ухоженную, расчищенную под сад часть парка, примыкающую к шоссе. Позади оставалось буйство солнца и запахов, в воздухе веяло вечерней прохладой, ум успокаивался, отдыхающее тело вкушало внутренний покой, который порождает удовлетворенная любовь. Я садился на скамейку и смотрел, как, замыкая окрестность в кольцо, со всех сторон надвигаются

сумерки. Я чувствовал себя пресыщенным. Гранатовое дерево свешивало надо мной свои нераспустившиеся бутоны, твердые и ребристые, как кулачки, в которых зажата вся надежда весны. Позади меня рос розмарин, я чувствовал его хмельной запах. Сквозь деревья виднелись холмы, а еще дальше — кромка моря, на котором, как парус в безветрие, покоилось небо, полное несказанной нежности. В сердце у меня была странная радость, та самая, какую дарует спокойная совесть. Есть чувство, которое испытывают актеры, когда они сознают, что хорошо сыграли свою роль, то есть что их поступки в самом точном смысле слова совпадали с поступками воплощаемых ими идеальных персонажей, что они в некотором роде вселились в заранее сделанный рисунок и оживили его биением своего сердца. Именно это я и чувствовал: я хорошо сыграл свою роль. Я занимался своим человеческим делом, и то, что я наслаждался в течение всего долгого дня, казалось мне не исключительной удачей, а волнующим осуществлением призвания, которое в известных обстоятельствах вменяет нам в обязанность быть счастливыми. В таких случаях мы снова обретаем одиночество, но на этот раз в полноте удовлетворения.

Теперь на деревьях появились птицы. Земля глубоко вздыхала, перед тем как вступить в темноту. Скоро, с первой звездой, на сцену мира упадет ночь. Светозарные боги вернутся под сень своей каждодневной смерти. Но на смену им придут другие боги. Более мрачные, с изможденными лицами, они родятся в недрах земли.

А пока непрерывный шум волн, набегавших на берег, доносился до меня через широкий просвет среди деревьев, где в воздухе танцевала золотистая пыльца. Море, поля, тишина, запахи этой земли... Я вбирал в себя полную аромата жизнь и надкусывал уже зрелый плод прекрасного мира, с волнением чувствуя, как его сладкий и густой сок течет по моим губам. Нет, дело было не во мне и не в мире, а лишь в гармонии и тишине, рождавших между мною и миром любовь. Любовь, на которую я не имел слабости притязать как на свою исключительную привилегию, с гордостью сознавая, что разделяю ее с целым племенем, рожденным от солнца и моря и полным жизненных сил, — племенем, которое черпает свое величие в своей простоте и, стоя на взморье, отвечает понимающей улыбкой на лучезарную улыбку неба.

ВЕТЕР В ДЖЕМИЛА

Есть места, где умирает дух и рождается истина как его прямое отрицание. Когда я приехал в Джемила, я застал там ветер и солнце, но об этом потом. Сначала нужно сказать, что там царила тишина, тяжелая и плотная тишина, неколебимая, как стрелка весов, застывших в равновесии. Крики птиц, сильный голос флейты с тремя дырочками, топот коз, отдаленное погромыхивание в небе — все эти звуки и создавали ощущение тишины и запустения этих мест. Изредка слышалось хлопанье крыльев и пронзительный крик — это взлетала птица, притаившаяся между камней. Какой бы дорогой ты ни шел, по тропинке ли между останками домов, или по вымощенной плитами широкой улице между блестящих колонн, или через огромный форум между триумфальной аркой и храмом, что высится на холме, ты неизбежно приходишь к оврагам, которые со всех сторон окружают Джемила, этот пасьянс, разложенный под беспредельным небом. И ты оказываешься в заточении, наедине с камнями и тишиной, и кажется, что время остановилось, только горы с каждым часом растут и лиловеют. Но на плато Джемила дует ветер. И из сумятицы ветра и солнца, освещающего руины, возникает нечто такое, что дает человеку почувствовать всю меру своей общности с уединением и тишиной мертвого города.

Нужно много времени, чтобы поехать в Джемила. Это не такой город, куда заезжают по пути. Из него никуда не попадешь, и у него нет округи. Это место, откуда возвращаются назад. К мертвому городу ведет длинная, непрестанно петляющая дорога, и она кажется еще более длинной оттого, что всякий раз ждешь, что город покажется за

поворотом. Когда наконец на плато, окрашенном в блеклые тона, в просвете между высокими горами возникает его желтоватый остов, похожий на лес скелетов, Джемилла представляется символом того завета любви и терпения, верность которому только и может открыть нам трепещущее сердце мира. Там, на плато, среди редких деревьев и жухлой травы, она всеми своими горами и всеми своими камнями обороняется от вульгарного восхищения, пристрастия к живописному или приятной игры воображения.

Мы долго бродили среди этого пустынного великолепия. Ветер, который в полдень едва чувствовался, мало-помалу окреп и, казалось, заполонил собой весь пейзаж. Он дул в расщелину между горами далеко на востоке, налетал из-за горизонта и куролесил в царстве камней и солнца. Он безостановочно свистел в развалинах, крутился в каменистом цирке, обдавал груды исчербленных глыб, завихрялся вокруг каждой колонны и с неумолчным воем мел по форуму, распростертому под ослепительным небом. Я был исхлестан ветром, как рангоут попавшего в шторм корабля, и пронизан им до костей. Глаза у меня воспалились, губы потрескались, а пересохшая кожа была как чужая. Прежде она позволяла мне разбирать почерк мира. Он писал на ней знаки своей нежности или своего гнева, согревал ее дыханием лета или покусывал зубами изморози. Но, измотанный сопротивлением ветру, который больше часа тряс и выколачивал меня, я переставал сознавать, что запечатлевает мое тело. Ветер шлифовал меня, как приливы и отливы шлифуют гальку. Я все больше приобщался к стихии, во власти которой я был, и наконец слился с ней, смешав свой пульс с мощным и звучным биением вездесущего сердца природы. Ветер лепил меня по образу пылающей наготы, которая меня окружала. И в его мимолетных объятиях я, камень среди камней, обретал одиночество колонны или оливкового дерева на фоне летнего неба.

Это неистовое омовение в ветре и солнце исчерпывало все мои жизненные силы. Во мне едва трепыхалась воля, жаловалась воля, жаловалась жизнь, пытался протестовать разум. Казалось, вот-вот, забыв обо всем на свете и о самом себе, я развеюсь в воздухе и претворюсь в этот ветер и в эти омытые ветром колонны, арку, плиты, излучающие тепло, и блеклые горы вокруг пустынного города. И никогда еще до этого я не испытывал такого чувства отре-

шенности от себя самого и в то же время своего присутствия в мире.

Да, я присутствую. И в эту минуту меня поражает мысль, что дальше этого я пойти не могу. Как человек, приговоренный к пожизненному заключению: все, что для него существует, при нем. Но также и как человек, который знает, что завтрашний день будет похож на нынешний и все остальные дни тоже. Ибо для человека осознать свое настоящее — значит ничего больше не ждать. Разве только самые вульгарные пейзажи воспринимаются так или иначе в зависимости от душевного состояния. В этом краю я всюду ощущал нечто, не привнесенное мной, а присущее ему — как бы привкус смерти, который нас объединял. Здесь, среди колонн, которые теперь отбрасывали косые тени, тревоги таяли в воздухе, как вспугнутые птицы. И на смену им приходила беспощадная ясность. Тревога рождается в сердце живущих. Но этому живому сердцу суждено остановиться — вот и все, что говорит моя прозорливость. По мере того как день клонился к вечеру, как звуки и свет угасали под пеплом сумерек, я, покинутый самим собой, чувствовал себя все более беззащитным перед вызевавшими во мне силами отрицания.

Немногие понимают, что бывает отказ от прав и привилегий, не имеющий ничего общего с отречением. Что означают здесь слова «будущее», «преуспеяние», «положение»? Что означает духовное развитие? Если я упорно отказываюсь от всех на свете «когда-нибудь», то для меня речь идет как раз о том, чтобы не отречься от моего нынешнего богатства. Я не желаю верить, что смерть — это преддверие новой жизни. Для меня это запертая дверь. Нет, это не порог, который надо перешагнуть, а ужасная и гнусная история. Все, что мне предлагают, направлено к тому, чтобы избавить человека от бремени собственной жизни. Но, глядя на тяжелый полет каких-то больших птиц в небе Джемила, я домогаюсь именно некоего бремени жизни, и я получаю это бремя. Я могу лишь сохранять цельность в этой пассивной страсти, а остальное от меня не зависит. Я слишком полон молодости, чтобы говорить о смерти. Но мне кажется, что, если бы я должен был о ней говорить, я именно здесь нашел бы нужные слова, чтобы выразить постигаемую в безмолвном ужасе неизбежность смерти, не таящей надежды.

У каждого из нас есть несколько близких сердцу идей. Две-три идеи. Соприкасаясь с миром и с другими людьми, мы их отшлифовываем и преобразуем. Нужно лет десять, чтобы выработать действительно свежую идею — идею, о которой стоило бы говорить. Конечно, это слегка обескураживает. Но это позволяет человеку приглядеться к прекрасному лику мира. До сих пор он смотрел на него в упор. Теперь ему надо отступить в сторону, чтобы увидеть его в профиль. Молодой человек смотрит на мир в упор. Он не успел еще отшлифовать идею смерти или небытия, но она вселяет в него ужас. Быть может, этот жестокий тет-а-тет со смертью, этот животный страх солнцелюбивого существа и есть молодость. Вопреки тому, что обычно говорится, молодежь, по крайней мере в этом отношении, чужда иллюзий. У нее не было ни времени, ни благочестия, чтобы создать их себе. И почему-то, взирая на этот суровый пейзаж, этот каменный крик, торжественный и скорбный, на Джемила, освещенную зловещим заревом заката, на смерть надежды и красок, я был уверен, что люди, достойные этого имени, на краю могилы снова смотрят в глаза небытию, отвергают идеи, которые они исповедовали, и обретают девственную правдивость, которая светилась во взоре древних перед лицом судьбы. Когда смерть раскрывает им объятия, к ним возвращается молодость. В этом отношении нет ничего презреннее, чем болезнь. Это лекарство от смерти. Она подготавливает к ней. Она обучает умирать, и на первой стадии этого обучения проходит умиление самим собой. Она поддерживает человека в его судорожных усилиях укрыться от той несомненной истины, что он умирает весь. Но Джемила... В Джемила я чувствую, что истинный, единственный прогресс цивилизации, к которому время от времени приобщается личность, состоит в том, что он создает людей, умирающих сознательно.

Меня всегда удивляло, что мы, столь изощренные в рассуждениях о других предметах, обнаруживаем такую бедность мысли, когда речь заходит о смерти. Смерть — это благо или зло. Я боюсь ее, или я ее призываю (как некоторые говорят). Но это лишнее доказательство, что все простое выше нашего понимания. Что такое синее и что можно думать о синем? Вот так же и смерть ставит нас в тупик. О смерти и о цветах мы не умеем рассуж-

дать. Однако что может быть важнее для меня, чем лежащий передо мною человек, тяжелый, как земля, — ведь это прообраз моего будущего. Но могу ли я действительно думать об этом будущем? Я говорю себе: я должен умереть. Но это ничего не значит, потому что я не в состоянии в это поверить и могу быть лишь свидетелем смерти других. Я видел, как умирают люди. И не раз видел, как умирают собаки. Прикосновение к ним потрясло меня. В такие минуты я думаю о цветах, об улыбках, о женщинах, которые будят во мне желание, и понимаю, что весь мой ужас перед смертью коренится в моей ревнивой любви к жизни. Я ревную к тем, кто будет жить и для кого будут существовать цветы и женщины во всей их плотской реальности. Я завистлив, потому что слишком люблю жизнь, чтобы не быть эгоистичным. Что мне до вечности! Быть может, в один прекрасный день услышишь: «Вы сильный человек, и я должен быть с вами откровенен: я могу вам сказать, что вы скоро умрете». И будешь лежать, судорожно цепляясь за жизнь, всем нутром чувствуя страх и бессмысленным взором глядя в пустоту. Что значит по сравнению с этим все остальное! При мысли об этом у меня кровь стучит в висках и я готов все вокруг разнести.

Но люди умирают вопреки самим себе, вопреки всему тому, чем они приукрашивают свою судьбу. Им говорят: «Когда ты выздоровеешь...» — а они умирают. Я не хочу этого. Ибо, если бывают дни, когда природа лжет, бывают и дни, когда она говорит правду. В этот вечер Джемила говорит правду, и как проникновенна ее печальная красота! Что до меня, то перед лицом этого мира я не хочу лгать и не хочу, чтобы мне лгали. Я хочу до конца нести бремя ясности и смотреть на неотвратимое со всей моей одержимостью, ужасом и ревностью. Я боюсь смерти в той мере, в какой я отделяю себя от мира, в той мере, в какой я связываю свою судьбу с судьбою живых, вместо того чтобы созерцать вечное небо. Создавать людей, умирающих сознательно, — значит уменьшать расстояние, которое нас отделяет от мира, и безрадостно вступать в свершающийся круговорот, сознавая всю пленительность бытия, которое нам суждено навсегда утратить. И, внимая печальной песне холмов Джемила, я до глубины души проникаюсь горечью этого поучения.

К вечеру мы поднимаемся по тропинкам, которые ведут в деревню, и, вернувшись, выслушиваем объяснения: «Здесь находится языческий город, а там, на отшибе, — христианское поселение. Позже...» Да, это так. Здесь сменялись люди и общества, завоеватели наложили на этот край отпечаток своей солдафонской цивилизации. У них было низменное и смешное представление о величии, и они измеряли величие своей империи пространством, которое они заселили. Но чудо в том, что руины их цивилизации являют собой прямое отрицание их идеала. Ибо этот город-скелет, созерцаемый с такой высоты поздним вечером, когда вокруг триумфальной арки летают белые голуби, не возносил в небо знаков власти и честолюбия. Мир всегда побеждает историю. Я понимаю поэзию, которой исполнен каменный крик, издаваемый Джемила среди гор, неба и тишины: это поэзия ясности и равнодушия, истинных признаков отчаяния или красоты. Сердце сжимается перед лицом этого величия, которое мы уже покидаем. Джемила остается позади со своим унылым, водянистым небом, пением птицы, доносящимся с другого края плато, козами, которые ручейками сбегают по склонам холмов, и объатым мягкими и гулками сумерками живым ликом рогатого бога на фронте алтаря.

ЛЕТО В АЛЖИРЕ

ЖАКУ ЭРГОНУ

Любовь, которая тебя соединяет с городом, чаще всего тайная. Такие города, как Париж, Прага, даже Флоренция, замкнуты в себе и тем самым ограничивают свой мир. Но Алжир — и другие счастливые города-избранники на морских берегах — открываются небу, словно рот или рана. В Алжире можно полюбить то, что видно всем: море за поворотом каждой улицы, тяжесть солнечных лучей, красоту жителей. И, как всегда, в этой бесстыдной открытости есть еще иной, тайный аромат. В Париже можно затосковать по простору и взмахам крыльев. Здесь по крайней мере человек одарен с избытком, все его желания исполнимы и он может измерить свои богатства.

Конечно же, надо долго жить в Алжире, чтобы понять, что чрезмерное обилие даров природы может иссушить душу. Ничто здесь не рождает желания больше знать, учиться, становиться лучше. Эта страна не преподает никаких уроков. Она ничего не обещает и не предвещает. Она только дает, но дает щедро. Она вся распахнута перед глазами, и ее узнаешь сразу, с первого же восхищенного взгляда. От ее наслаждений нет лекарства, и ее радости не пробуждают надежды. Ей необходимы ясновидцы, иными словами — безутешные души. Ей нужны бы подвиги во имя ясности разума, как всходят на костер во имя веры. Необыкновенная страна, она дает пищу равно и блеску, и нищете человеческой! Не удивительно, что чувственные богатства, какими наделен здесь каждый восприимчивый человек, сочетаются с крайним убожеством. Во всякой истине есть своя горечь. Так надо ли удивляться, если мне дороже всего облик этой страны, когда меня окружают последние бедняки?

© Перевод на русский язык, Н.Галь, 1998.

В этом краю, пока человек молод, он наслаждается жизнью в меру своей красоты. А потом — угасание и забвение. Люди делали ставку на свое тело и знали, что неминуемо проиграют. Для того, кто молод и полон жизни, в Алжире везде приют, во всем повод для торжества: залив, солнце, игра красного и белого на обращенных к морю террасах, цветы и стадионы, девушки со стройными ногами. Но тому, чья молодость прошла, не на что опереться и печали негде укрыться от себя. Есть на свете места, где человек может бежать от своей человеческой природы и тихо и мирно избавиться от самого себя — можно, к примеру, найти прибежище на террасах Италии, в монастырях Европы или любоваться холмами Прованса. А здесь, в Алжире, все требует одиночества и молодой крови. Гёте, умирая, воскликнул: «Света!» — и его последнее слово вошло в историю. А в Белькуре и в Баб-эль-Уэде старики сидят в кофейне и слушают хвастливые речи молодых людей с прилизанными волосами.

Так алжирское лето раскрывает перед нами начала и концы человеческих судеб. В летние месяцы все, кто может, покидают город. Но остаются бедняки, и остается небо. Вместе с бедняками мы спускаемся к порту, здесь ждут сокровища: теплое море, смуглые женские тела. А вечером, насытая этими богатствами, бедняки возвращаются к столу, покрытому клеенкой, и к керосиновой лампе — другого убранства в их жизни нет.

В Алжире не говорят «купаться», говорят «бултыхнуться в море». Не будем придираться. Здесь купаются в порту и отдыхают на буйках. Если купальщик, подплывая к буйку, видит там хорошенькую девушку, он кричит приятелям: «Глядите, чайка!» Это простые, здоровые радости. О других, наверно, эти молодые люди и не мечтают: почти все они ведут тот же образ жизни и зимой, каждый день в обеденный перерыв, во время скудной трапезы они подставляют обнаженное тело солнцу. Не то чтобы они читали докучные проповеди теоретиков жизни на лоне природы, этих новых протестантов, отстаивающих права плоти (когда расписывают по пунктам жизнь плоти, это столь же несносно, как строгая система в жизни духа). Нет, просто им «хорошо на солнышке». Невозможно оценить, как важен этот обычай для нашего времени. Впервые после

двух тысячелетий на взморьях появились нагие тела. Двадцать веков кряду люди всячески старались придать благопристойное обличье дерзкому простодушию греков, все больше принижали тело и все усложняли одежду. А сегодня, в завершение этой долгой истории, движения юношей на берегах Средиземного моря вторят великолепной пластичности атлетов Делоса. И когда живешь вот так, всем телом среди других тел, начинаешь замечать, что у тела свои тончайшие оттенки, своя жизнь и, как ни странно это звучит, своя особая психология¹. Тело развивается, как и дух, у этого развития тоже есть своя история, свои превратности, успехи и провалы. Взять хотя бы одну лишь тонкость — цвет кожи. Когда целое лето ходишь купаться в порт, замечаешь, что у всех кожа из белой понемногу становится золотистой, потом коричневой и наконец темно-шоколадной — это предел, которого может достигнуть, преображаясь, человеческое тело. Высоко над портом, точно детские кубики, теснятся белые дома Касбы. Когда лежишь у самой воды, на беспощадно белом фоне арабского города, вереница смуглых тел подобна медному фризу. И чем ближе к концу августа, чем огромней солнце, тем ослепительней белеют стены домов и тем жарче смуглеет кожа. Как же не слиться с этим диалогом камня и плоти, звучащим в лад солнцу и временам года? Все утро напролет — прыжки в воду, фонтаны брызг, и взрывы смеха, и широкие взмахи весел (оггибаешь красные и черные борта грузовых судов — те, что пришли из Норвегии, дышат всеми запахами леса; от тех, что из Германии, несет масляной краской; о тех, что ходят вдоль побережья, пахнет вином и старыми бочками). В час, когда солнце заполняет все небо от края до края, оранжевая байдарка с грузом смуглых тел мчит нас к берегу в неистовом беге.

¹ Не посмеются ли надо мной, если я скажу, что не нравится мне, как Андре Жид превозносит тело? От плоти он требует сдержанности, чтобы придать желанию больше остроты, и таким образом сблизается с теми, кого на жаргоне домов терпимости именуют закрученными или больно умными. Христианство тоже стремится обуздать желание, но понимает это прямолинейней — как умерщвление плоти. Мой приятель Венсен, бондарь, чемпион по брассу среди юношей, смотрит на вещи куда проще. Ошутив жажду, он пьет; когда его тянет к женщине, старается с нею переспать, а если полюбит (пока еще с ним такого не случилось), то и женится. А потом он всякий раз говорит: «Вот так-то лучше», — и, право же, трудно полнее оправдать утоленное желание.

Мерные взмахи весел — а потом их лопасти, яркие, точно спелые плоды, разом застывают в воздухе, и мы еще долго скользим по тихим водам внутренней гавани, и как тут не поверить, что я переправляю по глади вод ладью с опаленными солнцем богами, в которых узнаю моих братьев?

А на другом конце города лето уже приготовило для нас совсем иные дары: безмолвие и скуку. Безмолвие ведь тоже разное, смотря по тому, рождено оно тенью или солнцем. Есть полуденное безмолвие на Правительственной площади. В тени окаймляющих ее деревьев арабы продают ледяной лимонад, приправленный для аромата настоем из апельсинового цвета, пять су стакан. Над пустынной площадью разносятся зазывные крики: «А вот кому холодного, холодного!» Затихнут крики — и снова под солнцем безмолвие, и мне слышно, как в кувшине торговца чуть позвякивают льдинки. Есть безмолвие сиесты. Глубину его на улице Торгового флота перед грязными парикмахерскими можно измерить по певучему жужжанью мух за занавесями из сухого тростника. А вот в мавританских кофейнях Касбы безмолвствует тело, оно не в силах выбраться оттуда, оторваться от стакана чаю и вместе с шумом своей крови вновь обрести ход времени. Но превыше всего безмолвие летних вечеров.

Краткие мгновения, когда день опрокидывается в ночь... надо ли населять их тайными знаками и зовами, чтобы так нераздельно для меня с ними слился Алжир? Стоит недолго побыть вдаль от здешних мест, и в этих сумерках мне чудится обещание счастья. По склонам холмов над городом, среди олив и мастиковых деревьев, выются дороги. Вот куда возвращается мое сердце. Я вижу, как там черными снопами взметаются на зеленом небосклоне птицы стаи. Небо, где вдруг не стало солнца, словно вздохнуло с облегчением. Стайки алых облачков редуют и понемногу тают. Почти тотчас же проглядывает первая звезда, видно, как она возникает и крепнет в толще небес. И внезапно все поглощает ночь. Что же в них неповторимого, в этих мимолетных алжирских вечерах, отчего они так много во мне пробуждают? От них на губах остается сладость, но не успеешь ею пресытиться, как она уже исчезла в ночи. Быть может, оттого-то она и не забывается? Этот край таит в себе такую волнующую, такую неуловимую нежность! Но когда на миг она открывается,

сердце отдается ей безраздельно. В Падовани, квартале бедноты, на взморье каждый день открыт дансинг. И в этом огромном ящике, одной стороной выходящем на море, до ночи танцует молодежь. Часто я жду здесь одной особенной минуты. Весь день окна затенены наклонными деревянными щитами. После захода солнца щиты убирают. И зал наполняется странным зеленоватым светом, который отбрасывает двойная раковина моря и неба. Когда сидишь в глубине, подальше от окон, видишь только небо, и по нему опять и опять китайскими тенями проплывают мимо лица танцующих. Порой звучит вальс, и тогда черные профили на зеленом кружат с упорством бумажных силуэтов на патефонной пластинке. Очень быстро наступает ночь, загораются огни. Но есть для меня в этом тончайшем мгновенье что-то потаенное, окрыляющее. Помню рослую, статную красавицу, она танцевала весь вечер напролет. Голубое облегающее платье, влажное от пота, липло к бедрам и коленям, шею обвивала гирлянда жасмина. Она танцевала и все смеялась, запрокидывая голову. Она скользила мимо столиков, и за нею плыл смешанный запах плоти и цветов. Когда смерклось, я уже не различал ее тела, прильнувшего в танце к партнеру, только на темном небе, кружась, мелькали то белые цветы, то черные волосы, а потом она вскинула голову, всколыхнулась высокая грудь, и я услышал ее смех и увидел, как порывисто наклонился к ней профиль мужчины. Вот таким вечерам я и обязан своими понятиями о чистоте и невинности. И я научился не отделять этих людей, полных неукротимой силы, от неба, под которым кружат их желания.

На окраинах Алжира в кино иногда торгуют мятными пастилками, на которых отпечатано красной краской все, что нужно для начала любви: 1) вопросы: «Когда вы выйдете за меня замуж?», «Вы меня любите?» и 2) ответы: «Весной», «Страстно». Подготовив почву, пастилку передают соседке — и она либо отвечает тем же, либо прикидывается дурочкой. Бывало, в Белькуре вот так люди и женились, и вся жизнь строилась на том, что им случилось обменяться мятными конфетками. И в этом так ясно видна детская душа здешнего народа.

Быть может, признак молодости — всепобеждающее стремление к легким радостям. Но еще того больше —

торопливая, едва ли не расточительная жадность к жизни. В Белькуре, как и в Баб-эль-Уэде, женятся совсем молодыми. Работать начинают очень рано и за десяток лет исчерпывают опыт целой жизни. К тридцати годам для рабочего игра уже сыграна. Подле жены и детей ему остается только ждать конца. Все его радости были коротки и безжалостны. Такова и вся его жизнь. И тогда становится понятным, что он рожден страной, где человеку все дается ненадолго. Среди этой щедрости и изобилия жизнь пронесится в сильных страстях — внезапных, захватывающих, безоглядных. Она в том, чтобы не созидать, но сжигать. А если так, незачем размышлять и стремиться к совершенству. Понятие об аде, например, здесь просто милая шутка. Подобные причуды воображения позволены разве что какой-нибудь ходячей добродетели. И я думаю, в Алжире само слово «добродетель» — пустой звук. Не то чтобы эти люди лишены были нравственных устоев. Нет, у них свои особые принципы и правила. Не годится быть «непочтительным» с матерью. На улице никто не смеет проявить неуважение к своей жене. Полагается оказывать внимание беременной женщине. Не полагается нападать вдвоем на одного — «это уж подлость». Кто не соблюдает этих простейших заповедей, тот «не мужчина» — и дело с концом. На мой взгляд, все это веско и справедливо. Нас еще немало — тех, кто бессознательно соблюдает этот устав улицы, единственный бескорыстный устав, какой мне известен. Но в то же время здесь неведома мораль торгашей. Когда полицейские ведут арестованного, я неизменно вижу на всех лицах сочувствие. И еще не узнав, кто он — вор, отцеубийца или просто инакомыслящий, люди говорят: «Бедняга!», а то и с оттенком восхищения: «Сразу видно, разбойник!»

Иные народы созданы для гордости и для жизни. Как ни странно, они особенно склонны к скуке. И совершенно не приемлют смерти. Если не считать чисто чувственных радостей, развлечения алжирцев весьма непритязательны. Общество любителей игры в шары и традиционные «обеда» однокашников или однополчан, кино за три франка и деревенские праздники — годами это единственные утехи всех, кому за тридцать. Воскресенье в Алжире едва ли не самый мрачный день. Этот народ не причастен к духу, так где же ему окутать мифами бездонный ужас своего бытия? Все, что относится к смерти, здесь либо

нелепо, либо отвратительно. У этих людей нет ни веры, ни идолов, они живут в толпе, но умирают в одиночестве. Я не знаю ничего безобразнее кладбища на бульваре Брю, перед которым расстилается один из красивейших ландшафтов в мире. Здесь, где смерть открывает свое подлинное лицо, нестерпимо горько видеть, как траур захлестывает безвкусица. «Все проходит, кроме памяти», — гласят надписи на медальонах в виде сердца. И все настаивают на этой смехотворной вечности, которую нам задешево дарят любящие сердца. Те же слова служат утешением во всяком горе. К мертвому обращаются на «ты»: «Мы тебя никогда не забудем», — мрачное притворство, словно бы наделяющее плотью и желаниями то, что в лучшем случае обратилось в черную жижу. А рядом, среди отупляющего нагромождения мраморных цветов и птиц, смелое обещание: «Не увянут цветы на могиле твоей». Но сразу успокаиваешься: надпись эта окружает золоченый лепной букет, ведь гипсовые цветы прекрасно сберегают время для живых (так же как бессмертники, обязанные своим пышным названием благодарности тех, кто пока еще вскакивает в трамвай на ходу). Поскольку надо идти в ногу с веком, взамен обычной малиновки надгробье иногда украшают сногшибательным самолетиком из бисера, а пилота изображает глуповатый ангел, которого, нимало не заботясь о логике, снабдили парой роскошных крыльев.

И все же как вам объяснить, что эти образы смерти неотделимы от жизни? Все ценности здесь неразрывно связаны. Вот излюбленная шутка алжирских факельщиков: возвращаясь порожняком после похорон, они кричат с катафалка встречным девушкам: «Садись, красотка, подвезем!» Не очень приятно, но отчего бы не усмотреть в этом символ? Может также показаться кощунством, если при известии, что кто-то скончался, вам отвечают, подмигивая: «Бедняга, ему уж больше не петь». Или, как сказала одна жительница Орана, которая никогда не любила мужа: «Бог мне его дал, Бог и взял». Но в конце концов я не вижу, что в смерти священного, и, напротив, хорошо чувствую разницу между страхом и уважением. В стране, которая так и зовет жить и радоваться жизни, все дышит ужасом перед смертью. А между тем как раз под кладбищенской оградой молодежь Белькура назначает свидания, и не где-нибудь, а здесь девушки отдаются ласкам и поцелуям.

Я прекрасно понимаю, что такой народ не всем по вкусу. В отличие от Италии здесь разум не в чести. Алжирцев ничуть не занимает жизнь духа. Их преклонение и восторги отданы телу. В этом культе тела они и черпают свою силу, свой наивный цинизм и ребяческое тщеславие — все, за что их так сурово осуждают. Их упрекают обычно за «склад ума», иначе говоря, за взгляды и образ жизни. И в самом деле, слишком насыщенная жизнь не обходится без несправедливости. А все же этот народ без прошлого, без традиций не чужд поэзии — да, я знаю, это особая поэзия, грубая, чувственная, далекая от всякой нежности, совсем как алжирское небо, но, по правде сказать, только она меня и захватывает и задевает за живое. В противовес цивилизованным народам это народ-творец. И во мне теплится безрассудная надежда: быть может, эти варвары, что валяются под солнцем на взморье, лепят сейчас новую культуру, в чьем облике проявится наконец подлинное величие человека. Этот народ живет одним лишь сегодняшним днем, без мифов, без утешения. Он признает одни лишь земные блага и потому беззащитен перед смертью. Он издавна был одарен телесной, осязаемой красотой. А с нею — необычайной жадностью, которая всегда сопутствует столь преходящему богатству. Здесь каждый шаг и поступок проникнуты отвращением к постоянству, никто не заботится о том, что будет завтра. Люди торопятся жить, и если здесь суждено родиться искусству, оно будет послушно той вражде к долговечности, которая заставляла дорийских зодчих первую колонну выпесывать из дерева. И, однако, — да, конечно — не только неукротимость, но и чувство меры различаешь в облике этого буйного, страстного народа и в этом чуждом всякой нежности летнем небе, под которым можно высказать вслух любую истину и на котором никакое лживое божество не начертало знаков надежды или искупления. Между этим небом и запрокинутыми к нему лицами нет ничего такого, за что могли бы ухватиться мифология, литература, этика или религия, — лишь камни, да человеческая плоть, да звезды и те истины, которых можно коснуться рукой.

Ощущать узы, соединяющие тебя с землей, любить хотя бы немногих людей, знать, что есть на свете место, где сердце всегда найдет покой, — это уже немало для одной

жизни, есть на что опереться. Но, конечно, этого недостаточно. И, однако, в иные минуты всем существом рвешься туда, на родину души. «Да, вот куда надо возвратиться». Разве так уж странно обрести на земле то единение, к которому стремился Плотин? Слияние здесь выражено в солнце и море. Сердце ощущает его в особом вкусе плоти, оно-то и оделяет ее и горечью, и величием. Я понимаю, нет счастья вне и выше человека, нет вечности вне отпущенного нам круга дней. Меня волнуют лишь эти ничтожные и несомненные блага, лишь эти относительные истины. А другие, «идеальные», мне непонятны, на них у меня не хватает души. Не в том дело, что нужно уподобиться животному, но в счастье ангелов я не вижу смысла. Знаю только, что небо останется, когда меня уже не будет. Так что же называть вечностью, если не то, что меня переживет? Я вовсе не хочу сказать, будто смертный доволен своей участью. Нет, это совсем другое. Не всегда легко быть человеком, еще трудней быть душевно чистым. Но быть чистым — значит обрести родину души, где тебе сродни все мирозданье и удары сердца слиты с неистовым дыханьем послеполуденного солнца. Старая истина: что значит родина, постигаешь в тот час, когда ее теряешь. Для тех, кто склонен к самоистязанию, родная страна — та, что их отрицает. Не хочу быть грубым, и пусть не подумают, что я преувеличиваю. Но в конце концов в этой жизни меня отрицает прежде всего то, что убивает. Все, что наполняет жизнь восторгом, в то же время делает ее еще абсурдней, бессмысленней. И алжирское лето заставляет меня понять: только одно еще трагичней страдания — это жизнь счастливого человека. Но, быть может, это еще и путь к жизни более значительной, ибо тут учишься не плутовать.

В самом деле, многие прикрываются любовью к жизни, чтобы избежать просто любви. Гонятся за наслаждениями и стараются «побольше испытать». Но это все умствования. Чтобы наслаждаться, нужно редкостное призвание. Человек существует, не опираясь на жизнь духа с ее приливами и отливами, приносящими и одиночество, и полноту. Когда смотришь на обитателей Белькура — как они работают, защищают своих жен и детей, и подчас кажется, их не в чем упрекнуть, — право же, можно втайне устыдиться. Нет, конечно, я не тешу себя иллюзиями.

В жизни этих людей любви немного. Вернее сказать, ее немного остается. Но по крайней мере они ни от чего не увиливали. Есть слова, которых я никогда толком не понимал, например — грех. И, однако, я уверен: эти люди не грешны перед жизнью. Ибо уж если что и грешно, то не отчаиваться в этой жизни, а возлагать надежды на жизнь загробную и уклоняться от безжалостного величия здесь-него, земного бытия. Эти люди не плутовали. В двадцать лет жажда жизни делала их богами лета, и теперь, лишенные всех надежд, они остаются прежними. Я видел, как умирали двое из них. Они были полны ужаса, но молчали. Так лучше. Из ящика Пандоры, где скрывались все зло-счастья человечества, древние греки последней выпустили надежду как самую грозную из казней. Я не знаю символа более потрясающего. Ибо наперекор тому, что принято думать, надежда — это покорность. А жить — значит не покоряться.

Вот хотя бы один суровый урок, который дают летние дни в Алжире. Но погода меняется, лето уже на исходе. После такого буйства и пыла первые сентябрьские дожди — словно первые слезы освобожденной земли, как будто за несколько дней весь этот край растворился в нежности. И, однако, в эту же пору над всей страной разливается любовный аромат цветущих рожковых деревьев. По вечерам или после дождя чрево земли еще влажно от семени, что пахнет горьким миндалем, все долгое лето она отдавалась солнцу и теперь отдыхает. И снова этим ароматом освящен брачный союз человека и земли, и в нас пробуждается единственная в этом мире подлинно мужественная любовь — преходящая и щедрая.

ПУСТЫНЯ

ЖАНУ ГРЕНЬЕ

Разумеется, жить — это совсем не то, что рассуждать о жизни. Если верить великим тосканским мастерам, жить — это трижды свидетельствовать — в тишине, пламени и неподвижности.

Требуется немало времени, чтобы признать, что персонажей их картин ежедневно встречаешь на улицах Флоренции или Пизы. Но точно так же мы разучились видеть настоящие лица тех, кто нас окружает. Мы больше не смотрим на наших современников, мы ищем в них только то, что помогает нам лавировать меж людьми и соблюдать правила приличного поведения. Мы предпочитаем живому лицу его самую вульгарную поэзию. Но что касается Джотто или Пьеро делла Франческа, то они хорошо знают, что человеческая восприимчивость — ничто. В конце концов, сердце есть у каждого, и поэтому она присуща каждому. Но великие простые и вечные чувства, вокруг которых вращается жажда жизни, ненависть, любовь, слезы и радости, растут в глубине человека и формируют лицо его судьбы, — как в «Положении во гроб» Джоттино боль стиснутых зубов Марии. В огромных величавостях тосканских церквей я ясно вижу толпу ангелов с бесконечно повторяющимися лицами, но в каждом из этих молчаливых и страстных ликов я узнаю одиночество.

Речь идет, действительно, о живописности, о каком-нибудь запечатленном эпизоде, об оттенках или о волнении. Короче, речь идет о поэзии. Но в расчет принимается только правда. Правдой я называю все то, что имеет продолжение. Существует изощренная точка зрения, что в этом смысле только художники могут утолить наш голод, ибо у них есть привилегия становиться романистами тела.

© Перевод на русский язык, Д.Вальяно, А.Григорьян, 1998.

К тому же, они работают в этой великолепной и пустотелой субстанции, которая именуется настоящим. А настоящее всегда передается в жесте. Они изображают не улыбку или мимолетную стыдливость, не сожаление или ожидание, но лицо, его плоть и кровь, его кожу и кости черепа. Из этих лиц, застывших в вечных линиях, они навсегда изгнали метания духа — но ценой надежды. Впрочем, тело не знает надежды, оно знает только биение своей крови. Свойственная ему вечность соткана из безразличия. Как в «Бичевании Христа» Пьеро делла Франческа, где на только что вымытом дворе подвергаемый истязанию Христос и его приземистый палач обнаруживают в своих позах одно и то же равнодушие. И это потому, что пытка не имеет продолжения, и ее урок застывает на холсте. Какой смысл волноваться за того, кто не ждет завтрашнего дня? Безучастность и величие человека, лишенного надежды, вечное настоящее — именно это дальновидные теологи называли адом. А ад, как известно каждому, это еще и страдающая плоть. Именно на этой плоти, а вовсе не на ее судьбе, сконцентрировались тосканцы. Пророческой живописи не существует, и не в музеях нужно искать повода для надежды.

Бессмертие души действительно занимает многие великие умы. Но они отказываются еще до того, как исчерпана суть проблемы, от единственной реальности, которая им дана, то есть от тела. Дело в том, что оно не задает им вопросов или, по крайней мере, они знают единственный ответ, который оно предлагает: это истина, которая обречена сгнить и потому источает горечь и благородство, в лицо которым люди не смеют взглянуть. Великие умы предпочитают телу поэзию, ибо она есть творчество души. Пусть я немного играю словами, но, надеюсь, понятно, что истиной я хочу освятить только высокую поэзию: черное пламя, которое итальянские художники, начиная с Чимабуэ до Пьеро делла Франческа, взметнули среди тосканских пейзажей, как естественный протест человека, брошенного на землю, великолепие и свет которой непрестанно говорят ему о Боге, которого не существует.

С помощью безразличия и бесчувственности случается, что лицо человеческое достигает минерального величия пейзажа. Как некоторые испанские крестьяне начинают походить на выращиваемые ими оливковые деревья, так

и лица на картинах Джотто, лишённые смехотворных теней, в которых проявляется душа, в конце концов догоняют саму Тоскану в том единственном уроке, где она не скупится: польхание страсти в ущерб эмоциям, смесь аскезы и наслаждения, общий для земли и человека отзвук, когда и человек и земля находят себя где-то на полпути между несчастьем и любовью. Не так уж много истин, в которых сердце было бы убеждено. Очевидность этой истины я вполне постиг однажды вечером, когда сумерки начинали затоплять виноградники и оливы флорентийской долины безбрежной, молчаливой печалью. Но печаль в этой стране всегда лишь сопровождение к красоте. И в поезде, идущем сквозь вечер, я чувствовал, как во мне что-то проясняется. Могу ли я сегодня сомневаться, что, несмотря на обличье печали, это все-таки именовалось счастьем?

Да, Италия щедро подтверждает своими пейзажами урок, явленный ее людьми. Но счастье легко проворонить, ибо оно всегда незаслуженно. В том числе в Италии. И ее прелесть, даже если она внезапна, не во всякий миг очевидна. Италия больше, чем какая-либо другая страна, призывает к углублению опыта, хоть на первый взгляд он, кажется, представлен человеку весь сразу. Суть в том, что Италия прежде всего расточительна в поэзии, и это затуманивает постижение истины. Ее первые чары являются ритуалами забвения: розовые лавры Монако, Генуя, полная цветов и запахов рыбы, голубые вечера лигурийского побережья. Наконец, Пиза, а с ней и Италия, лишённая шаловливого очарования французской Ривьеры. Но она еще вполне доступна, и почему бы не поддаться на какое-то время ее чувственной грации? Меня ничто не насилует, когда я здесь (и я лишен усад загнанного туриста, так как билет по сниженной цене понуждает меня оставаться некоторое время в городе «моего выбора»), и моя терпеливая готовность любить и понимать кажется мне безграничной в тот вечер, когда я, усталый и голодный, вхожу в Пизу, встреченный на вокзальной площади десятком грохочущих громкоговорителей, опрокидывающих водопад романсов на толпу, в которой почти все молоды. Я заранее знаю, чего жду. После очередной прихоти жизни наступит особое мгновение: закрыты кафе, и внезапно вернулась тишина, а я пройду по коротким и темным улицам к центру города. Темная и золотистая река Арно, желтые и зеленые памятники, пустынный город — как описать такой неожиданный и проворный прием,

благодаря которому Пиза в десять часов вечера переодевается в этот странный наряд: тишина, вода и камни? «В подобную ночь, Джессика!» На этих уникальных подмостках вдруг появляются боги с голосами влюбленных Шекспира... Нужно уметь отдаваться мечте, когда мечта отдается нам. В глубине этой италийской ночи я уже слышу первые аккорды такого глубинного пения, которого здесь и не ожидаешь. Завтра, только завтра поля округлятся в свете утра. Но сегодня вечером я — бог среди богов, и перед Джессикой, убегающей «быстрыми шагами любви», я смешиваю свой голос с голосом Лоренцо. Но Джессика — лишь предлог, и любовный порыв ее обгоняет. Мне представляется, что Лоренцо не столько ее любит, сколько благодарен ей за разрешение ее любить. Но к чему сегодня вечером думать о Возлюбленных из Венеции и забывать Верону? Потому что здесь почти ничто не понуждает нежно любить несчастных возлюбленных. Нет ничего более бессмысленного, чем умереть за любовь. Надо жить. И живой Лоренцо лучше, чем погребенный Ромео, несмотря на его розовый куст. Как же тогда не танцевать на этих праздниках живой любви — дремать после полудня на невысокой траве Пьяцца дель Дуомо среди памятников, которые всегда успеешь осмотреть, пить из городских фонтанов, где вода немного теплая, но такая текучая, увидеть еще раз смеющееся лицо той женщины с удлиненным носом и горделивыми губами. Нужно только понять, что это приобщение готовит к более высоким озарениям. Это сверкающие шествия, ведущие дионисовы мистерии в Элевсин. Только в радости человек усваивает уроки, и плоть его, достигнув наивысшей степени опьянения, становится сознательной и ощущает свою сопричастность священной тайне, символом которой является захмелевшая кровь. Полное самозабвение, дарованное пылом начальной Италии, готовит к этому уроку, который освобождает нас от надежды и покидает у нашей истории. Двойная правда тела и мига при лицезрении красоты — как не ухватиться за нее, как за единственное в своем роде счастье, которое должно нас околдовать, но одновременно и погубить.

Самый отталкивающий материализм не тот, который в ходу, но тот, что выдает мертвые идеи за живую реальность и отвлекает на бесплодные мифы наше постоянное прозорливое внимание, обращенное на то, что должно навек

умереть в нас. Я вспоминаю, как во Флоренции в монастыре мертвых в Сантиссима-Аннунциата я был выведен из себя чем-то похожим на скорбь и что оказалось всего лишь гневом. Шел дождь. Я читал надписи на надгробных плитах и посвящениях. Этот был нежным отцом и верным мужем; тот — лучшим из супругов и одновременно удачливым коммерсантом. Некая молодая женщина, образец всех добродетелей, говорила по-французски *si como il nativo*¹. А вот девочка, которая была любимицей близких, но *ma la gioià e pellegrina sulla terra*². Однако ничто из этого меня не трогало. Почти все, судя по надписям, безропотно покорились смерти, поскольку покорялись и всем своим прочим обязанностям. Сегодня дети залезли в монастырь и играли в чехарду на плитах, призванных увековечить добродетели покойных. Наступала ночь, и я сел на землю, прислонившись к колонне. Священник, проходя мимо, улыбнулся мне. В церкви глухо звучал орган, и теплый цвет его мелодии иногда прорывался сквозь крики детей. Один у колонны, я походил на человека, которого схватили за горло и который провозглашает свою веру как последнее слово. Все во мне протестовало против подобного смирения. «Так нужно», — требовали надписи. Ну нет уж, и мой бунт был справедлив. За этой радостью, идущей равнодушно и самоуглубленно, как пилигрим по земле, мне нужно было следовать шаг за шагом. Но я говорил: нет. Говорил изо всех сил. Плиты сообщали мне, что все бесполезно и что жизнь проходит: *col sol levante, col sol cadente*³. Но я и сегодня не вижу, что эта бесполезность отнимает у моего бунта, зато хорошо чувствую, что она ему добавляет.

Впрочем, я не это хотел сказать. Я хотел бы немного яснее очертить истину, которую я открыл тогда в самом сердце своего бунта: она была лишь продолжением той истины, что тянулась от маленьких запоздалых роз монастыря Санта-Мария-Новелла к женщинам того воскресного утра во Флоренции, женщинам с влажными губами и нестесненной грудью под легкими платьями. В то воскресенье на углу каждой церкви стояли прилавки с мясистыми, блестящими от жемчужин воды цветами. Я тогда

¹ как на родном (итал.). — Прим. переводчика.

² радость — странница на земле (итал.) — Прим. переводчика.

³ с восходом солнца, с заходом солнца (итал.) — Прим. переводчика.

находил в этом нечто вроде «наивности», а также воздаяния. В этих цветах, как и в этих женщинах, было щедрое изобилие, и я ощущал, что хотеть одних — почти то же, что страстно желать других. Для этого достаточно чистого сердца. И все же в такие минуты он, по крайней мере, обязан назвать истиной то, что его так явственно очистило, даже если для других эта истина может показаться богохульством, как тот день, о котором идет речь: я провел то утро во францисканском монастыре во Фьезоле, пропахшем лаврами. Я много времени провел в маленьком дворике, наполненном красными цветами, солнцем и желто-черными пчелами. В углу стояла зеленая лейка. Перед тем, как прийти сюда, я осмотрел монашеские кельи и видел там столики, украшенные черепами. Теперь этот сад свидетельствовал об их существовании. Я вернулся во Флоренцию по холму, который спускался к городу со всеми его кипарисами. Это великолепие мира, эти женщины и цветы казались мне как бы оправданием тех монахов. Я не был уверен, что это не служило оправданием и для всех людей, которые знают, что крайняя степень бедности всегда сочетается с роскошью и богатством мира. В жизни тех францисканцев, запертых между колоннами и цветами, и в жизни молодых людей с алжирского пляжа Падовани, круглый год проводящих на солнце, я чувствовал нечто общее. Если они и снимают одежду, то для пушшего ощущения этой жизни, а не для иной жизни. По-моему, это единственное приемлемое употребление слова «лишение». Нагота всегда подразумевает физическую свободу, и это согласие руки и цветов, это любовное взаимопонимание земли и человека, освобожденного от человеческого, — ах! я бы обратился в эту веру, если бы это уже не стало моей религией. Нет, здесь не может быть богохульства даже в том случае, если я скажу, что внутренняя улыбка святых Францисков Джотто оправдывает тех, кто имеет склонность к счастью. Так как мифы для религии — то же, что и поэзия для истины, то есть смехотворные маски, надетые на страсть к жизни.

Пойду ли я дальше? Те же люди, которые во Фьезоле живут перед красными цветами, имеют в кельях череп, который питает их раздумья. Флоренция у их окон, и смерть на их столе. Некоторая непрерывность отчаяния может затеплить радость. И при определенной температуре жиз-

ни смешавшиеся душа и кровь умело живут на противоречиях, одинаково безразличные к долгу и к вере. И я уже не удивляюсь, что на одной из стен Пизы чья-то веселая рука так обобщила своеобразное понимание чести: «Alberto fa l'amore con la mia sorella»¹. Я уже не удивляюсь, что Италия — земля кровосмешений, и — что особенно примечательно — кровосмешений признанных. Ибо путь, ведущий от красоты к безнравственности, извилист, но непреложен. Погруженный в красоту, ум питается небытием. Перед этими пейзажами, от величия которых перехватывает горло, каждая из мыслей — пометка на человеке. И скоро, отвергнутый, обремененный, придавленный и омраченный столькими тягостными убеждениями, он станет ничем перед миром — бесформенное пятно, которое знает истину только пассивную, или ее цвет, или ее солнце. Такие безупречные пейзажи иссушающие для души, и их красота непереносима. В этих евангелиях от камня, неба и воды сказано, что ничто не воскресает. Отныне внутри этой великолепной пустыни в сердце для здешних людей зарождается искушение. Что же удивительного в том, что возвышенные умы перед этим зрелищем благородства в воздухе, напитанном красотой, не убеждены, что величие может объединяться с добром? Рассудок без Бога, которого тот уничтожает, ищет Бога в том, что рассудком отрицается. Борджиа, прибыв в Ватикан, восклицает: «Бог даровал нам папство, и нужно спешить им попользоваться». И слово у него не расходится с делом. Спешить — это хорошо сказано. В этом чувствуется отчаяние, столь свойственное благодетельствованным людям.

Быть может, я ошибаюсь. Ведь я был счастлив во Флоренции, как и многие другие до меня. Но что такое счастье, если не простое согласие между человеком и жизнью, которую он ведет? И какое более законное согласие может соединить человека с жизнью, если не двойное осознание своего желания быть всегда и своей участи умереть? По крайней мере, учишься ни на что не рассчитывать и рассматривать настоящее, как единственную истину, которая нам дана «сверх всего». Я уже слышу, как мне говорят: Италия, Средиземное море, древние земли, где

¹ Альберто занимается любовью с моей сестрой (итал.) — Прим. переводчика.

все соразмерно человеку. Но пусть мне покажут иной путь. Дайте мне открыть глаза, чтобы я мог отыскать свою меру и свою отраду! А впрочем, я вижу сам: Фьезоле, Джемилла и гавани, осиянные солнцем. Мера человека? Тишина и мертвые камни. Все остальное принадлежит истории.

Но не здесь следовало бы остановиться. Ведь нигде не сказано, что счастье неразрывно слито с оптимизмом. Оно связано с любовью, что не одно и то же. И я знаю часы и места, где счастье может показаться таким горьким, что ему предпочитаешь лишь намек на него. Но причина в том, что в эти часы и в этих местах у меня не было достаточно мужества любить, то есть не отказываться от любви. Здесь следует напрямую сказать о вхождении человека в празднества земли и красоты. Ибо именно в такие минуты человек, подобно неопиту, сбрасывает последние покровы, теряет свою личность и становится разменной монетой в руках Бога. Да, существует более высокое счастье, когда обыденное счастье кажется ничтожным. Во Флоренции я поднимался в саду Боболи до террасы, откуда открывались Монте-Оливето и городские холмы до самого горизонта. На каждом из этих холмов оливы были бледными, как маленькие туманности, и в дымке, которую они образовывали, выделялись более твердые кипарисы, самые близкие — зеленые и дальние — черные. Глубокою голубизну неба пятнали облака. На излете послеполуденного времени нисходил серебряный свет, и все становилось тишиной. Вершины холмов сначала тонули в облаках. Но вот поднялся бриз, дыхание которого я ощущал на лице. Бриз рассеивал облака, и холмы возникали словно из-за открывшегося занавеса. Одновременно казалось, что верхушки кипарисов мигом вращались во внезапно открывшуюся голубизну. Вместе с ними весь холм и пейзаж из олив и камней вновь медленно поднимались. Но тут приплыли другие облака, и занавес закрылся. А холм снова опустился вместе со своими кипарисами и домами. А затем опять — вдалеке, на отдаленных холмах, все более и более бледневших, — тот же бриз, который расправлял плотные складки облаков и образовывал их снова. В этом великом дыхании мира одно и то же дуновение завершалось с интервалом в несколько секунд и вновь, время от времени, подхватывало тему камня и воздуха в фуге вселенского звучания. Каждый раз тема укорачивалась на один тон: следя

за ней на все большем расстоянии, я все больше успокаивался. И достигнув предела этой чувствительной для сердца перспективы, я охватывал взглядом этот бег синхронно дышащих холмов и слышал как бы пение всей земли.

Я знал, что миллионы глаз созерцали этот пейзаж, но для меня он был как первая улыбка неба. Он открывал для меня новые горизонты в точном смысле этого выражения. Он убеждал меня, что без моей любви и этого прекрасного крика камня все было бы бесполезно. Мир прекрасен, и вне его нет никакого спасения. Вот великая истина, которую он мне терпеливо преподавал: разум — ничто, да и сердце тоже. Он учил меня, что камень, нагретый солнцем, или кипарисы, углубляющие небо, ограничивают единственную вселенную, где слова «быть правым» приобретают смысл: природу без людей. И этот мир меня истребляет. Он доводит меня до предела. Он безгневно отвергает меня. Тем вечером, спускаясь на флорентийскую долину, я держал путь к мудрости, где все уже было покорено, если бы слезы не навернулись мне на глаза и если бы великое рыдание поэзии, переполнявшее меня, не заставило меня забыть об истине мира.

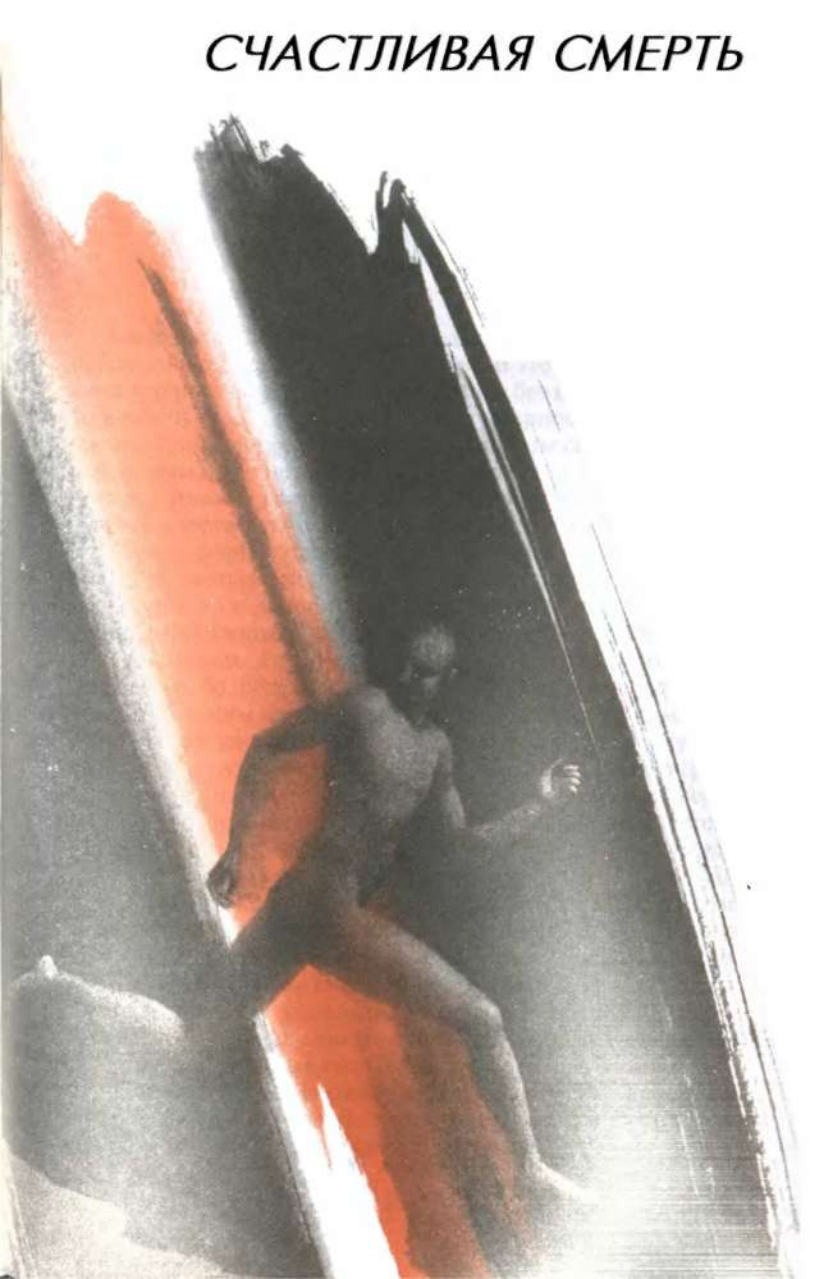
Именно на этом равновесии следовало бы остановиться: редкое мгновение, когда духовность отвергает мораль, когда счастье рождается из отсутствия надежды, когда дух находит свой смысл в теле. Если правда, что всякая истина несет в себе горечь, то так же истинно, что всякое отрицание содержит прорастающее «да». И эта песнь любви без надежды, порожденная созерцанием, может также представляться самым действенным правилом всемирного действия. Вышедший из гробницы воскресший Христос на полотне Пьеро делла Франческа лишен человеческого взгляда. На его лице не написано ничего счастливого, одно только ожесточенное и бездушное величие, которое я понимаю как твердую решимость жить. И в этом мудрец не отличается от слабоумного. Такой поворот меня пленяет.

Обязан ли я этим открытием Италии, или же я извлек его из собственного сердца? Вне всякого сомнения, оно далось мне именно там. Хотя в Италии, как и в других благословенных местах, прорва красоты, тем не менее, люди и там умирают. Тут тоже должна разлагаться истина,

а что может быть более возбуждающим? Если бы даже я ее и желал, что делать с неразлагаемой истиной? Она мне не соответствует. И любить ее было бы лукавством. Редко понимают, что вовсе не от безнадежности человек покидает то, что составляло его жизнь. Отчаянные проступки ведут к другим жизням и обозначают только трепетную привязанность к урокам земли. Хотя бывает и так, что на определенной ступени ясности ума человек чувствует, что сердце его исчерпано, и без особого протеста поворачивается спиной к тому, что до этих пор принимал за свою жизнь, иначе говоря, за свою суету. Если Рембо кончил тем, что в Абиссинии не написал ни единой строчки, то это отнюдь не из-за склонности к авантюрам или писательского отступничества. Он сделал это «просто так», а точнее оттого, что при особой обостренности сознания мы в конце концов признаём то, что заставляли себя не понимать, согласно своему призванию. Ясно, что речь идет об изучении географии некой пустыни. Но эта необычная пустыня ощутима только для тех, кто способен там жить, никогда не утоляя своей жажды. И тогда, только тогда, она наполнится живыми водами счастья.

В саду Боболи — только руку протяни — висели огромные золотистые плоды хурмы, лопнувшая оболочка которых источала густой сироп. От этого легкого холма с сочными плодами, от тайного братства, которое приводило меня в согласие с миром, от голода, который влек меня к оранжевой плоти подле моей руки, я постигал равновесие, которое приводит некоторых людей от схимы к наслаждению и от аскезы к буйному сладострастию. Я восхищался, я восхищаюсь и доселе этой связью, объединяющей человека с миром, этой двойственностью, в которой мое сердце может принимать участие и диктовать условия своего счастья до точного предела, где мир может его дать или прикончить. Флоренция! Одно из немногих мест в Европе, где я понял, что в глубине моего бунта дремало согласие. В небе Флоренции, смешанном со слезами и солнцем, я учился соглашаться с землей и пылать в мрачном пламени ее празднеств. Я испытывал... но что за слово? Какой вздор! Как освятить согласие любви и бунта? Земля! В этом великом, оставленном богами храме у всех моих идолов глиняные ноги.

СЧАСТЛИВАЯ СМЕРТЬ



LA MORT HEUREUSE

Часть первая

ЕСТЕСТВЕННАЯ СМЕРТЬ

I

Было десять часов утра, когда Патрис Мерсо размеренной походкой шагал к вилле Загрея. В это время привратница уходила на рынок, дом оставался без присмотра. Был апрель, чудное весеннее утро, лучезарное и холодное, чистейшая ледяная голубизна с огромным солнцем, ослепительным, но негреющим. Потоки света струились по стволам пиний, растущих на холмах вокруг виллы. Пустынная дорога шла слегка в гору. Мерсо нес чемоданчик, его ручка мерно поскрипывала в такт сухому шелесту шагов по застывшей дороге. Славное было утро.

Немного не доходя до виллы, дорога открывалась на небольшую площадь, уставленную скамейками и украшенную клумбами. Ранние герани атели среди серых алоэ, голубело небо, белели выкрашенные известкой заборы; все это было таким свежим, таким младенчески ярким, что Мерсо невольно замедлил шаги перед тем, как двинуться дальше по пути, ведущему под уклон к вилле Загрея. У ворот остановился, натянул перчатки. Отворил дверь, которую хозяин-калека никогда не запирает, и, разумеется, прикрыл ее за собой. Двинулся по коридору и, оказавшись перед третьей дверью слева, постучал и вошел. Загрей был там, где ему и следовало быть, в кресле у камина, на том самом месте, где два дня назад сидел Мерсо. Обрубки его ног были покрыты пледом. Он читал, уставившись в лежащую перед ним книгу. В его круглых глазах не отразилось никакого удивления, когда он заметил Мерсо, застывшего в дверях. Занавески на окнах были отдернуты, и всюду, на полу, на стенах, на углах мебели, искрились солнечные брызги. За окнами, над золоченой и холодной землей, ликовало утро. Великая, леденящая душу радость, пронзительные и неуверенные выкрики птиц, половодье

безжалостного света — все это придавало утру обличье невинности и подлинности. Мерсо замер, у него перехватило дыхание и заложило уши от духоты, царившей в комнате. Несмотря на перемену погоды, Загрей велел растопить камин. Мерсо чувствовал, что кровь стучит у него в висках и стук этот отдается в ушах. Хозяин, не проронив ни слова, следил за ним взглядом. Патрис подошел к сундуку, стоявшему по другую сторону камина, и, не глядя на калеку, положил свой чемоданчик на стол. Вот тут-то он и почувствовал чуть заметную дрожь в коленях. Остановился, сунул в рот сигарету, кое-как прикурил, в перчатках было неудобно. Позади него раздался легкий хлопок. Не вынимая сигарету, он обернулся. Загрей, только что захлопнувший книгу, все смотрел и смотрел на него. Нагнувшись к пышущему жаром камину, Мерсо прочел название книги, обращенной к нему вверх ногами: «Придворный» Бальтасара Грасиана¹. Не раздумывая больше, он склонился над сундуком и открыл его. Черный на белом, там лоснился всеми своими кривыми линиями револьвер, смахивающий на ухоженного кота; он, как всегда, стерег предсмертную записку Загрея. Мерсо взял ее в левую руку, а револьвер — в правую. Потом, поколебавшись, сунул револьвер под мышку и раскрыл конверт. В нем не было ничего, кроме большого листа бумаги, исписанного крупным угловатым почерком, всего несколько строк:

«Кончая самоубийством, я уничтожаю лишь половину самого себя. Пусть не посетуют на меня за это, содержимого моего сундучка с лихвой хватит, чтобы вознаградить тех, кто мне до сих пор служил. А излишки должны пойти на улучшение режима приговоренных к смерти. Впрочем, я понимаю, что прошу слишком много».

Мерсо с непроницаемым лицом сложил письмо; как раз в этот миг у него защипало глаза от сигаретного дыма, а столбик пепла упал на конверт. Он встряхнул бумагу, положил ее на стол, на видное место, и обернулся к Загрею. Тот смотрел теперь на конверт, сжимая книгу короткими мускулистыми руками. Мерсо нагнулся, повернул ключ в сундуке, принялся выбирать из него пачки,

¹ Бальтасар Грасиан (1601—1658) — испанский писатель-моралист, иезуит.

завернутые в газетную бумагу, — был виден только их обрез. Держа револьвер под мышкой и действуя только одной рукой, он мало-помалу наполнил свой чемоданчик. Там было приблизительно десятка два пачек с сотенными купюрами, и Мерсо понял, что его чемодан оказался, пожалуй, великоват. Одну пачку он оставил в сундуке. Закрыв чемодан, он швырнул полупогасшую сигарету в камин и, взяв револьвер в правую руку, подошел к калеке.

Теперь Загрей смотрел в окно. Было слышно, как мимо ворот медленно, с чавкающим звуком, проехала машина. Загрей сидел не шелохнувшись, словно замороженный бесчеловечной красотой этого апрельского утра. Он не отвел глаз даже тогда, когда почувствовал у правого виска револьверный ствол. Но смотревший на него Мерсо увидел, что его глаза наполнились слезами. И тогда сам зажмурился. Сделал шаг назад — и выстрелил. Целое мгновение простоял, прислонившись к стенке, не открывая глаз, слыша, как кровь звенит у него в висках. Потом собрался с духом и взглянул. Голова Загрея запрокинулась на левое плечо, а тело почти не сдвинулось с места. Так что видел он не Загрея, а только огромную рану, мешанину из мозгов, костей и крови. Вздрогнув, Мерсо обогнул кресло, нашарил правую руку мертвеца, зажал в ней револьвер, поднес его к виску и отпустил. Револьвер упал на подлокотник кресла, а оттуда — на колени Загрея. Мерсо перевел взгляд на лицо калекки. На нем застыло то же серьезное и печальное выражение, как минуту назад, когда он смотрел в окно. Неожиданно за воротами раздался пронзительный звук рожка. Затем этот ирреальный призыв повторился. Склонившийся над креслом Мерсо не пошевелился. Послышался шум мотора — машина мясника отъехала. Мерсо подхватил чемодан, отворил дверь — ее ручка так и сияла под лучами солнца — и вышел. Голова у него гудела, во рту пересохло. Миновал ворота, размашистой походкой зашагал прочь. Вокруг не было ни души, кроме стайки ребятишек в дальнем конце площади. Вилла осталась за спиной. Дойдя до площади, он внезапно почувствовал, что совсем продрог: на нем был только легкий пиджак. Пару раз чихнул — долина отозвалась насмешливым и звонким эхом, разнесшимся до самого хрустального небосвода. Чуть вздрогнув, он остановился и глубоко вздохнул. Небесная лазурь слала земле миллионы сия-

ющих улыбок. Они играли в листьях, еще полных дождевой влаги, на сыром туфе аллеи, летели к домам с черепичными кровлями цвета свежей крови и снова взмывали к воздушным и солнечным озерам, откуда только что прыгнули на землю. Слышалось мирное мурлыканье крохотного самолетика, плывшего где-то вверх. Воздух был так ясен, так щедры были небеса, что казалось — нет у людей иного призвания, чем жить и быть счастливыми. Но в душе Мерсо все молчало. Чихнув в третий раз, он снова вздрогнул, теперь уже сильнее, и понял, что его лихорадит. Тогда, не оглядываясь по сторонам, он пустился бежать — только поскрипывал чемодан и гудела земля под ногами. А добравшись до дома, зашвырнул чемодан в угол, бросился на кровать и проспал до середины следующего дня.

II

Лето переполняло порт гулом голосов и солнцем. Ближился полдень. День раскалывался пополам, обрушивая на набережные свою знойную сердцевину. Перед складами Алжирской торговой палаты грузились «скьяффино», суденьшки с черным корпусом и красной трубой. Аромат мельчайшей мучной пыли, исходивший от мешков с зерном, смещивался с тяжелым запахом вспучившегося под солнцем асфальта. Возле крохотной забегаловки, пропахшей древесным лаком и анисовой водкой, толпились выпивохи, арабские акробаты в красных трико кувыркались на пышущих жаром плитах, за которыми море так и искрилось солнечными бликами. Не глядя на них, грузчики с мешками за спиной ступали по мосткам из двух пружинящих досок, поднимаясь с причала на палубу. Дойдя доверху, внезапно прорисовавшись над гаванью, на фоне неба, среди лебедок и мачт, они на мгновение замирали, ослепленные близостью небес, — только поблескивали глаза на лицах, залепленных белесоватой коркой из пота и мучной пыли, — и вслепую ныряли в душный, словно пропитанный парной кровью трюм. В раскаленном воздухе без конца выла сирена.

И вдруг люди на сходнях вздрогнули и остановились. Один из грузчиков оступился и упал. Он не провалился, но защемил ногу в зазоре между досками. С вывернутой за спину рукой, придавленный тяжеленным мешком, он

вопил от боли. Как раз в этот момент Патрис Мерсо вышел из своей конторы. Едва он переступил порог, как у него перехватило дыхание от жары. Широко раскрыв рот, он наглотался асфальтовых испарений, ободравших ему глотку, и застыл на месте, глядя на грузчиков. Они уже вытащили раненого, уложили его на пыльные мостки. Губы у него побелели от боли, плетью висела сломанная выше локтя рука, из страшной кровоточащей раны торчал обломок кости. Стекая вдоль локтя, капли крови одна за другой шлепались на пышущие жаром плиты и с шипением испарялись. Мерсо, не отрываясь, смотрел на кровь, когда кто-то тронул его за рукав. Это был Эмманюэль, парнишка, служивший рассыльным. Он указал Патрису на приближавшийся к ним грузовик: «Давай?» Патрис кивнул. Грузовик уже промчался мимо. И они тут же рванулись вдогонку, утопая в грохочущем пыльном облаке, задыхаясь и жмурясь, почти ничего не соображая и чувствуя только бешеный порыв, который сломя голову нес их мимо лебедек к машине, мимо танцующих на горизонте мачт, мимо облупившихся, словно изъеденных проказой, корабельных корпусов. Мерсо первым ухватился за борт грузовика и, шеголяя силой и ловкостью, прыгнул в кузов. Помог забраться Эмманюэлю; они уселись на скамейке, болтая ногами, и, окутанный меловой пылью, озаренный душным солнечным маревом, струившимся с небес, окруженный огромными и фантастическими декорациями порта, ошетинившегося мачтами и черными стрелами подъемных кранов, грузовик полным ходом умчался, подбрасывая на ровной брусчатке Эмманюэля и Мерсо, которые хохотали, хохотали до изнеможения, а кровь так и бурлила у них в голове.

Добравшись до Белькура, они спрыгнули с грузовика. Эмманюэль пел, пел громко и фальшиво. «Понимаешь, — говорил он Мерсо, — песня так и рвется из груди, когда все у меня в порядке. Или когда я плаваю». Так оно и было. Эмманюэль любил петь во время плавания, и его голос, хрипловатый от одышки, исчезающей на море, вторил взмахам коротких мускулистых рук. Они свернули на Лионскую улицу. Мерсо шагал размашистой походкой, поводя широкими плечами, высоченный, спортивный. Ступал ли он на крайину тротуара, сторонился ли встречных, которые могли задеть его в толпе, — во всех его

движениях сквозили молодость и поразительное здоровье, сулившие их обладателю переизбыток плотских радостей. Отдыхая, он лежал на боку, чуть рисуясь своей гибкостью, словно спортсмен, научившийся ценить собственную телесную красоту. Надбровные дуги, из-под которых поблескивали глаза, были, пожалуй, малость тяжеловаты. Говоря с Эмманюэлем, он машинально тербил ворот, словно тот был тесноват, да то и дело кривил изогнутые подвижные губы. Они зашли в ресторан. Высмотрели себе местечко и молча принялись за еду. В тени было прохладно. Жужжали мухи, слышалось звяканье посуды, доносились обрывки разговоров. Хозяин заведения, высокий и уса́тый тип — его звали Селест — подошел к их столику, сунул руку под фартук, поскреб себе живот.

— Как дела? — спросил Эмманюэль.

— Как у всех стариков.

Они обменялись приветствиями, похлопали друг друга по плечу. Завязался разговор.

— Видишь ли, — сказал Селест, — старики — это сущие мудаки. У них считается, что только тот человек, кому стукнуло пятьдесят. И все потому, что сами на шестом десятке. А вот у меня был один приятель, так он чувствовал себя человеком только в обществе своего сына. Всюду вместе ходили. И за ворот заливали тоже вместе. Зайдут, бывало, в казино — мой приятель говорит: «С какой это стати я буду знаться со всяким старичьем? У них только и разговору, что про слабительное да про печеночные колики. То ли дело с сыном пройтись. А подцепит он случаем какую цыпочку, я притворюсь, будто ничего не видел, — и на трамвай. Спасибо и до свиданья. И все рады-счастливы».

Эмманюэль расхохотался.

— Он мне, конечно, не указ, — продолжал Селест. — Но уж очень я его уважал. — Он подмигнул Мерсо. — К тому же я это самое дело люблю побольше него. Кстати, когда ему повезло, он жутко задрал нос, кивнет, бывало, и все. Теперь-то, когда он все потерял, спеси в нем поубавилось.

— И поделом, — сказал Мерсо.

— А все оттого, что не нужно быть таким сволочным. Но, как ни крути, были у него золотые денечки. Девятьсот тыщ франков — не шуточное дело... Вот бы мне такие деньги!

— И что бы ты с ними сделал? — спросил Эмманюэль.

— Купил бы домишко, капнул себе клею на пупок да пристроил флажок. И поглядывал бы, откуда ветер дует.

Мерсо ел спокойно до тех пор, пока Эмманюэлю не вздумалось в который раз позабавить хозяина своей знаменитой историей о битве на Марне.

— Мы не кто-нибудь были, а зуавы, а из нас простых пехотинцев сделали...

— Брось, осточертело, — миролюбиво заметил Мерсо.

— Командир кричит: «В атаку!» — продолжал Эмманюэль. — И вот поперли мы через какой-то буерак. Нам велят атаковать, а впереди никого не видно. Ну, что делать, топаем да топаем. И вдруг как застрочат пулеметы! И мы давай валиться друг на друга. Столько народу покалечило да поубивало, столько кровищи вытекло, что хоть на лодке плавай. И тут один малый как заверещит: «Ой, мама! Я боюсь!»

Мерсо поднялся, завязал свою салфетку узлом. Хозяин двинулся к двери, ведущей на кухню, чтобы прикинуть на ней мелом, во что обошелся завтрак. Дверь служила ему чем-то вроде расчетной книжки. Когда посетители начинали пререкаться, он молча снимал свой гроссбух с петель, взваливал на спину и уносил. Рене, сын хозяина, примостившись в уголке, ел яйцо всмятку.

— Не повезло парню, — заметил Эмманюэль, — помирает от чахотки.

Что правда, то правда. Рене был обычно молчалив и серьезен. Не то чтобы слишком худой, но с болезненным блеском в глазах. Сейчас какой-то посетитель уверял его, что туберкулез вполне излечим, было бы время, «ну, и остерегаться надо». Тот с важным видом кивал и поддакивал, не переставая уплетать яйцо. Мерсо подсел к нему за стойку, чтобы выпить кофе. Утешитель продолжал:

— Ты знал Жана Переза? Ну, того, что служил в Газовой компании? Так вот, он помер. У него всего одно легкое было затронуто. А он решил раньше времени удрать из больницы и вернуться домой. А там жена. Не жена, а сущая кобыла. А при его болезни, сам понимаешь, так и тянет на это дело. И он с нее, можно сказать, не слезал. Она-то особенного желанья не проявляла. А он как с цепи сорвался. Два-три раза на дню — и так всю дорогу. Вот он и отдал концы.

Рене поперхнулся куском хлеба и уставился на собеседника.

— Да, — выдавил он наконец, — болезнь такая штука: входит пудами, а выходит золотниками.

Мерсо принялся выводить свое имя пальцем на запотевшем кофейнике. Глаза у него слипались. Вот так, день за днем, кольхалась туда-сюда его жизнь, пропитанная запахами кофе и асфальта, — то качнет к этому невозмутимому туберкулезнику, то к лопающемуся от песен Эмманюэлю, — кольхалась сама по себе, чуждая ему самому, его сердцу и скрытой в нем истине. Те вещи, которые при других обстоятельствах взволновали бы его, не находили в нем отклика, потому что он успевал изжить их за день, и только вечером, когда возвращался домой, ему приходилось напрягать все силы, чтобы хоть немного пригасить полыхавшее в нем пламя жизни.

— Скажи-ка мне, Мерсо, я правильно посчитал? — обратился к нему хозяин. — Ты ведь у нас парень образованный.

— Правильно, — сказал Мерсо, — можешь не проверять.

— То-то и оно, сегодня ты львиную порцию умял.

Мерсо улыбнулся, вышел из ресторана и, перейдя через дорогу, поднялся к себе в комнату. Она располагалась прямо над мясной лавкой, где торговали кониной. Свесившись с балкона, до которого доносился запах крови, можно было прочесть вывеску: «У благороднейшего из друзей человека». Мерсо растянулся на кровати, выкурил сигарету и заснул.

Он поселился в той комнате, которую прежде занимала его мать. Они долго прожили вдвоем в этой трехкомнатной квартирке. Оставшись один, Мерсо сдал две комнаты знакомому бочару и его сестре, а себе оставил ту, что была получше. Его мать умерла в пятьдесят шесть лет. Смолоду она была красавицей и поэтому считала, что имеет право на кокетство, беззаботную жизнь и блестящее будущее. Но годам к сорока в нее вцепилась страшная болезнь. Ей пришлось забыть о нарядах, косметике и вырядиться в домашний халат, лицо у нее распухло от ужасных нарывов, ноги до того отекли и ослабели, что каждый шаг давался с трудом, вдобавок она почти ослепла и кое-как, на ощупь ковыляла в вечном полумраке по неприбранной квартире.

Удар был неожиданным и резким. У матери обнаружили врожденный диабет, не только запущенный, но и усугубленный ее безалаберной жизнью. Патрису ничего не осталось, как бросить занятия и пойти на работу. Но он продолжал читать и раздумывать над прочитанным до самой кончины матери. А она промучилась еще лет десять. Этот крестный путь настолько затянулся, что все окружающие свыклись с ее болезнью и как-то упустили из виду, что жизнь страдальцы висит на волоске. Она умерла в одночасье. Все в округе жалели Мерсо. Вспоминали, как он был привязан к матери. Ждали от похорон чего-то необыкновенного. Упрашивали дальних родственников поменьше плакать, чтобы не растравлять душу Патриса. Умоляли их не оставлять сироту, заклинали принять участие в его судьбе. А он, принарядившись как только мог, держа шляпу в руке, следил за всеми приготовлениями. Шел за гробом, присутствовал при отпевании, бросил в могилу первую пригоршню земли, пожал, как требует обычай, руки всем присутствовавшим. И только раз выразил удивление и недовольство, когда оказалось, что для приглашенных было заказано слишком мало экипажей. На том все и кончилось. Уже на следующий день в одном из окон дома появилось объявление: «Сдается внаем». Теперь он занял комнату матери. Прежде, когда они жили вместе, в их бедности была своя прелесть. Когда они сходились по вечерам и ужинали при свете керосиновой лампы, эта простота и уединенность были овеяны потаенным счастьем. Окрестные кварталы были молчаливы. Мерсо поглядывал на усталый рот матери и улыбался. Она тоже улыбалась. Он снова принимался за еду. Лампа немного коптила. Мать привычным движением поправляла фитиль, для этого ей не надо было даже наклоняться, только руку протянуть. «Больше не хочется?» — спрашивала она чуть погодя. — «Нет». — Потом он курил или читал. «Опять!» — ворчала она, заметив сигарету. А если он брался за книгу, напоминала: «Сядь поближе к лампе, глаза испортишь». Теперь, когда он остался один, прежняя бедность обернулась для него лютой нищетой. Он мог бы устроиться и получше, но продолжал цепляться за эту квартирку с въевшимся в нее запахом нужды. Здесь он, по крайней мере, мог оставаться таким, каким был прежде. Добровольно ступавший перед жизнью, он терпеливо

проводил наедине с самим собой долгие часы, исполненные печали и сожаления. Он не решался снять с входной двери разлохмаченный по краям кусочек серого картона, на котором его мать синим карандашом вывела когда-то свое имя. Оставил старую медную кровать, покрытую сатином, и портрет деда: маленькая борода, светлые, неподвижные глаза. На камине пастухи и пастушки толпились вокруг старых остановившихся часов и керосиновой лампы, которую он теперь почти никогда не зажигал. Сомнительная мебелировка из соломенных, слегка продавленных стульев, одежного шкафа с помутневшим зеркалом и туалетного столика с отбитым уголком словно бы и не существовала для него, так он к ней присмотрелся. От жилья осталась одна видимость, да, может, оно и к лучшему, незачем лезть вон из кожи. В другой комнате ему пришлось бы осваиваться заново, а то и менять образ жизни. А он хотел сузить пространство, отпущенное ему в мире, и спать до тех пор, пока все на свете не кончится. Комната матери вполне годилась для этой цели. Одним окном она выходила на улицу, другим — на террасу, вечно завешанную бельем, за которой теснились между высокими стенами маленькие апельсиновые сады. Иногда летними ночами он, не зажигая в комнате света, отворял окно на террасу и темные сады. Из ночи в ночь доносился оттуда сильный апельсиновый запах, овеивал его невесомыми струями. Целую ночь его комната и он сам тонули в этом тонком, но густом аромате, и тогда ему казалось, будто он, проведя целую вечность за гранью смерти, наконец-то распахнул окно в жизнь.

Он проснулся с привкусом сна во рту, весь покрытый потом. Было уже поздно. Он причесался, вприпрыжку сбежал по лестнице, вскочил в трамвай. И в пять минут третьего очутился у себя в конторе. Он работал в большой комнате, все ее четыре стены были заняты нишами, в которых пылились документы. Комната не была ни грязной, ни мрачной, она просто-напросто смахивала на колумбарий, где истлевало мертвое время. Мерсо проверял накладные, переводил списки с названиями товаров, прибывших на английских судах, а с трех до четырех принимал клиентов, которым нужно было отправить посылки. Он сам напросился на эту работу, которая ему, в сущности, вовсе не подходила, но поначалу казалась хоть какой-то

отдушиной. Здесь мелькали живые лица, толпились завсегдатаи, веяло свежестью, от которой вздрагивало его усталое сердце. Здесь он мог укрыться от трех машинисток и мсье Ланглуа, начальника конторы. Одна из машинисток была довольно хорошенькой, недавно замужем. Вторая жила с матерью, а третья оказалась старой девой, положительной и энергичной; Мерсо нравился ее цветистый язык и мужественное отношение к «своим несчастьям», как выражался мсье Ланглуа, который часто вступал с ней в перепалку и неизменно оказывался побежденным. Старая мадам Эрбийон презирала его за пропотевшие насквозь, прилипшие к ляжкам брюки, за то, что он терял голову в присутствии директора и приходил в замешательство, услышав по телефону имя какого-нибудь адвоката или дворянчика. Бедняга тщетно пытался задобрить старую даму, найти путь к примирению. В этот день он распинался, стоя посредине кабинета: «Ну согласитесь же, мадам Эрбийон, что не такой уж плохой я человек». Мерсо прикидывал, что бы такое значило английское слово «vegetables»¹, смотря поверх его головы на лампочку в зеленом абажуре из тисненого картона. Напротив висел цветной настенный календарь с изображением какого-то религиозного праздника в Канаде. Промокашка, блокнот, чернильница и линейка выстроились в ряд на столе. Окна выходили на огромные штабеля дров, привезенных из Норвегии желтыми и синими судами. Мерсо прислушался. За стеной, над морем и портом, глухо и глубоко дышала жизнь. Такая далекая и такая близкая... Пробило шесть часов: наконец-то он свободен. Сегодня была суббота.

Вернувшись к себе, он прилег и проспал до самого ужина. Изжарил яичницу, поел прямо со сковороды (без хлеба — забыл купить), потом снова улегся и тут же уснул — теперь уже до утра. Проснувшись чуть раньше обычного, умылся и пошел перекусить. Вернулся, решил два кроссворда, аккуратно вырезал из газеты рекламу лекарственных солей и наклеил ее в тетрадку, заполненную снимками престарелых шутников, съезжающих по перилам. По замусоренной мостовой торопились куда-то редкие прохожие. Он внимательно провожал взглядом каждого, отпуская его только тогда, когда тот исчезал из

¹ овощи, зелень (англ.).

поля зрения, и тут же переключался на нового. Сперва ему попалась вышедшая на прогулку семья: двое ребят в накрахмаленных матросках и штанишках ниже колен и девочка с большим розовым бантом, в черных лакированных туфельках. За ними шагала мать в шелковом коричневом платье, этакое страшилище с горжеткой вокруг шеи, и представительный папаша с тростью в руке. Чуть позже появилась группа местных парней: напوماженные проборы, пестрые галстуки, чересчур приталенные пиджаки с вышитыми карманчиками, тупорылые ботинки. Смеясь во всю глотку, они спешили к трамвайной остановке — им нужно было в центр, в кино. После них улица мало-помалу опустела. Утренние сеансы уже начались. Теперь во всей округе не осталось никого, кроме лавочников да кошек. Над фикусами, посаженными вдоль тротуара, круглилось матовое небо. Владелец табачной лавочки вытащил на улицу стул и уселся на него верхом, ухватившись руками за спинку. Трамваи, в которые только что нельзя было втиснуться, шли почти пустые. В маленьком кафе «У Пьеро» гарсон посыпал опилками безлюдный зал. Мерсо повернул свой стул спинкой к улице, как тот торговец, и одну за другой выкурил пару сигарет. Вернулся в комнату, разломил плитку шоколада и сжевал ее, стоя у окна. Чуть погодя небо потемнело и тут же снова прояснилось. Но мимолетный наплыв облаков подарил улице что-то вроде надежды на дождь. В пять часов снова загрохотали трамваи, облепленные гроздьями болельщиков: те возвращались из предместья, со стадионов, стоя на подножках и цепляясь за поручни. Следующая вереница трамваев привезла игроков, которых можно было узнать по маленьким чемоданчикам. Они вопили что есть мочи и распевали песни во славу своих команд. Увидев Мерсо, помахали ему. А один крикнул: «Мы их раздолбали». «Ага», — отозвался он и кивнул. Машин становилось все больше. Кое-кто из водителей украсил капоты и бамперы цветами. Потом день продвинулся еще немного. Небо над крышами чуть раскраснелось. К вечеру улицы снова оживились. Появились гуляющие. Усталые дети плакали, их приходилось тащить силком. Из окрестных киношек выплеснулись на улицу толпы зрителей. По решительным и хвастливым жестам парней, выходявших оттуда, Мерсо угадывал содержание боевика, который они только что видели. Чуть

позже появились зрители, смотревшие кино в центре. Эти вели себя сдержанней. Перемигиваясь, обменивались грубыми прибаутками, но в их глазах и во всем обличье сквозила затаенная тоска по той шикарной жизни, которая приоткрылась им на экране. Они не сразу разошлись по домам, стали прогуливаться по улице. В конце концов на тротуаре, под окном Мерсо, образовалось два людских потока. В одну сторону шли, взявшись за руки, местные девицы с пышными прическами. А навстречу им валяли парни, отпуская шуточки, заставлявшие девиц хихикать и отворачиваться. Люди посерьезней заходили в кафе или сбивались в кучки на тротуаре; людской поток раздваивался, обтекая эти островки. Теперь улица была освещена, первые звезды, восходившие в ночи, казались бледными из-за электрических фонарей. Тротуар под окном Мерсо напоминал прилавок, полный людей и огней. Лоснилась грязная мостовая, трамвайные фары время от времени бросали отблеск на чью-то напомаженную шевелюру, влажный рот, улыбку или серебряный браслет. Чуть погодя, когда трамваи стали реже, а над деревьями и фонарями сгустилась ночная чернота, квартал незаметно опустел — и вот уже первая кошка медленно перешла безлюдную улицу. Мерсо вспомнил об ужине. У него слегка затекла шея: слишком уж долго он сидел, упершись подбородком в спинку стула. Он вышел купить хлеба и паштета, приготовил себе поесть, а потом вернулся к окну. Люди расходились по домам, в воздухе посвежело. Он вздрогнул, притворил раму, подошел к зеркалу, висевшему над каминном. Если не считать редких вечеров, когда к нему заглядывала Марта или он выходил вместе с ней, да встреч с подружками из Туниса, вся его жизнь умещалась в жалкой перспективе этого пожелтевшего зеркала, отражавшего комнату, где засаленная спиртовка соседствовала с хлебными корками.

«Вот и еще одно воскресенье прошло впустую», — сказал себе Мерсо.

III

Когда Мерсо вечерами прогуливался по улицам, с гордостью поглядывая, как свет и тени скользят по лицу Марты, все казалось ему фантастически доступным, радо-

вали собственная сила и смелость. Он был благодарен Марте за то, что она не стеснялась выставлять напоказ, идя рядом с ним, свою красоту, которая день за днем окатывала его волнами легкого хмеля. Он мучился, замечая обращенные на нее взгляды мужчин, но страдал бы еще сильнее, будь она дурнушкой. Вот и сегодня ему было так приятно войти вместе с ней в кино, незадолго до начала сеанса, когда зал был уже почти полон. Она шла впереди, окруженная восхищенными взглядами, шла во всей своей победной красе — и лицо ее было как сад, полный цветов и улыбок. А он шагал за ней со шляпой в руке, преисполненный сознания собственной элегантности, чувствуя себя довольным сверх всякой меры. Он принял вид рассеянный и серьезный. С преувеличенной вежливостью посторонился, чтобы дать пройти билетерше, нагнулся, опуская сиденье для Марты. И все это не столько из желания покрасоваться, сколько из признательности, расправившей его душу, наполнявшей ее любовью ко всему на свете. И чересчур щедрые чаевые он дал билетерше, потому что не знал, как отблагодарить судьбу за свою радость, а еще ему хотелось этим пустяковым жестом почтить свое божество, чья ослепительная улыбка масляным блеском отражалась во взгляде. В антракте он прогуливался по фойе, увешенному зеркалами, в которых множились облики его счастья, наполняя зал изящными и зыбкими фигурами: вот высокий и темный силуэт Мерсо, вот фигура улыбающейся Марты в светлом платье. Что и говорить, ему нравилось собственное лицо, увиденное в зеркале, сигарета во рту, чувственная горячка слегка запавших глаз. Но ведь красота мужчины — это лишь отражение его внутренних практических достоинств. На его лице написано то, что он способен совершить. Совершить ради сияющей бесполезности женского личика. Мерсо отлично понимал это и тешил тщеславие, улыбаясь своим тайным демонам.

Вернувшись в кинозал, он подумал, что в одиночку ни за что не вышел бы в фойе, а сидел бы здесь, покуривая и слушая пластинки с легкой музыкой, которые прокручивались в перерыве. Но в этот вечер игра шла своим чередом. И все средства были хороши, чтобы растянуть ее, придать ей новизну. Когда Марта устраивалась в кресле, ей поклонился какой-то мужчина, сидевший несколькими

рядами дальше, и она помахала ему в ответ. Мерсо сделал то же самое, и тут ему показалось, будто губы незнакомца скривились в легкой усмешке. Он уселся, не заметив, что Марта положила ему руку на плечо, как бы приглашая к разговору, а ведь минутой раньше он воспринял бы этот жест с радостью, как новое доказательство его власти над ней.

— Кто это? — спросил он, ожидая вполне естественного ответа: «Ты о ком? Ах, этот... Да ты же его прекрасно знаешь, его зовут...»

Но вместо этого Марта только вздохнула и промолчала.

— Ну говори же!

— Тебе так уж необходимо это знать?

— Да нет, — сказал Мерсо и тайком обернулся.

Незнакомец с непроницаемым лицом уставился в затылок Марты.

Довольно видный мужчина с ярко-красными губами, вот только глаза, чуть навывкате, какие-то невыразительные. Мерсо почувствовал, как кровь, волна за волной, ударяет ему в виски. Сияющие краски того идеального декора, в котором он прожил несколько часов, внезапно обернулись липкими струями пота, помрачившими его взгляд. А что, собственно, он ожидал от нее услышать? Он и без того был уверен, что она спала с этим типом. Его охватила какая-то паника при мысли о том, что мог думать сейчас этот человек. Наверное, то же, что и он сам: «Можешь хорохориться сколько угодно, дружок...» При мысли, что этот человек в эту самую минуту вспоминает о том, как Марта ведет себя в постели, как она прикрывает глаза ладонью в миг наслаждения, при мысли о том, что он тоже пытался отстранить руку Марты, чтобы разглядеть в ее глазах сумасшедшую пляску сумрачных богов, Мерсо почувствовал, что все в нем рушится, а под сомкнутыми веками набухают бешеные слезы. Раздался звонок к началу сеанса. Мерсо и думать забыл о Марте, которая была всего лишь внешним поводом его недавней радости, а теперь стала источником его гнева. Он долго сидел с закрытыми глазами и лишь спустя некоторое время решился взглянуть на экран. Перед ним лежал опрокинутый автомобиль, одно из его колес продолжало медленно и беззвучно крутиться, как бы вовлекая в свой порочный круг весь стыд и всю униженность, рожденные озлобленным сердцем Мерсо.

Но стремление к определенности оказалось сильнее гордости.

— Скажи, Марта, он был твоим любовником?

— Ну да, — ответила она, — только не мешай мне смотреть.

С этого дня Мерсо понял, что начинает привязываться к Марте. Он познакомился с ней несколько месяцев назад и был поражен ее красотой и элегантностью. У нее было чуть широковатое, но правильное лицо, золотистые глаза и столь искусно подкрашенные губы, что она казалась богиней, не чуряющейся косметики. Врожденная недалекость, сквозившая во взгляде, только подчеркивала ее неприступность и невозмутимость. До сих пор всякий раз, когда Мерсо делал первые шаги к женщине, не забывая о роковом законе, в силу которого любовь и простое желание внешне выражаются совершенно одинаково, он уже думал о разрыве, еще не успев заключить эту женщину в объятия. Но знакомство с Мартой пришлось на ту пору, когда он начал освобождаться от всего на свете, включая и самого себя. Мысли о свободе и независимости рождаются лишь у того, кто еще живет надеждой. А для Мерсо все это уже утратило всякий смысл. И в тот первый день, когда Марта обмякла в его объятиях, когда он увидел, как на ее придвинувшемся вплотную и оттого расплывающемся лице дрогнули и потянулись к нему губы, бывшие до сих пор неподвижными, словно нарисованные цветы, ему не удалось углядеть будущего в чертах этой женщины: в них сквозила только сила его собственного желания, которая сосредоточилась в ней и приняла ее облик. Потянувшиеся к нему губы были залогом бесстрастного, но разбухшего от страсти мира, в котором найдет успокоение его сердце. И все это показалось ему чудом. Его сердце дрогнуло от чувства, которое он чуть было не принял за любовь. Ощувив на губах вкус пышной и тугой плоти, он впился в нее так жаростно, будто впивался в дикую свободу. В тот же день она стала его любовницей. Чуть погодя их любовный союз совсем наладился. Но, узнав ее получше, он мало-помалу утратил ощущение той необычайности, которая сквозила в ней первоначально, и, клонясь к ее губам, иной раз пытался воскресить это чувство. Вот почему Марта, привыкшая к сдержанности и холодности Мерсо, так и не смогла уразуметь, почему однажды он вдруг потянулся

к ней с поцелуем в битком набитом трамвае. Ничего не понимая, она подставила ему губы. И он впился в них так, словно и впрямь был влюблен, — сначала прильнув к ним, потом медленно их покусывая. «Что это с тобой?» — спросила она. В ответ он улыбнулся мимолетной улыбкой, которая так ей нравилась, и сказал: «Люблю побезобразничать», а потом запнулся и замолчал. Не понимала она и некоторых выражений Патриса. После любви, в тот миг, когда в облегченном и расслабленном теле потихоньку задремывает сердце, исполненное той нежности, которую может испытывать хозяин к ласковой собачонке, Мерсо, улыбаясь, говорил ей: «Привет, мой милый призрак».

Марта была машинисткой. Она не любила Мерсо, но привязалась к нему оттого, что он интриговал ее и льстил ее самолюбию. Привязалась с того дня, когда представленный ей Эмманюэль сказал о своем друге так: «Вы знаете, Мерсо — хороший парень. Есть в нем что-то такое. Только он не любит раскрываться. Вот все в нем и ошибаются». Тогда она посмотрела на Мерсо с любопытством. Он сделал ее счастливой в любви, а большего она и не требовала, как нельзя лучше приспособившись к этому молчаливому любовнику, который никогда ничего у нее не просил, но с удовольствием принимал всякий раз, когда ей хотелось к нему прийти. Вот только чувствовала она себя немного скованной в обществе этого человека, в котором никак не могла нащупать ни одной слабой струнки.

И, однако, в этот раз, выходя из кино, она поняла, что и его тоже можно кое-чем уязвить. Оставшись ночевать у Мерсо, она целый вечер промолчала. Ночью он к ней не прикоснулся. Но, начиная с этого дня, она стала пользоваться своим преимуществом. Она и раньше говорила ему, что у нее были любовники. А теперь постаралась доказать это.

Зайдя к нему на следующий день, вопреки обыкновению, она не стала его будить, только присела рядом на кровать. Он был в рубашке, из-под закатанных рукавов белели подмышки загорелых мускулистых рук. Ровное дыхание вздымало грудь и живот одновременно. Две складки меж бровей придавали лицу знакомое выражение силы и упрямства, волнистые волосы разметались по со-

жженному дочерна лбу со вздувшейся на нем жилкой. Широкие плечи, сильные, мускулистые руки, одна нога чуть согнута: ни дать ни взять — одинокий и упрямый бог, попавший в чуждый для него мир и заснувший в нем. Глядя на его полные, припухшие от сна губы, она почувствовала, как в ней нарастает желание. В этот миг он чуть приоткрыл глаза и, снова закрывая их, беззлобно произнес:

— Не хорошо это — пялиться на спящего.

Она бросилась ему на шею, расцеловала. Он даже не пошевелинулся.

— Ну вот, мой милый: еще одна причуда.

— Не называй меня милым, слышишь. Я тебя уже просил.

Она вытянулась рядом с ним, посмотрела на его профиль.

— Никак не пойму, на кого ты сейчас похож.

Он подтянул брюки и повернулся к ней спиной. В театре или кино Марта нередко узнавала жесты и мимику Мерсо у какого-либо модного актера. Обычно это укрепляло его власть над ней, но сегодня эта тещащая самолюбие привычка сравнивать его с кем-нибудь только раздражала. Она прижалась к его спине, ощутив животом и грудью все его сонное тепло. Быстро вечерело, комната погружалась в сумерки. Из глубины дома доносился плач отшлепанных ребятишек, мяуканье, хлопанье дверей. Уличные фонари освещали балкон. Проходили редкие трамваи. С улицы в комнату поднимались тяжелые запахи анисовой водки и жаркого.

Марта почувствовала, как на нее наваливается сонливость.

— У тебя сердитый вид, — сказала она. — Ты и вчера был сердитым... Я потому сегодня и пришла. Ну что ты молчишь?

Она потрясла его. Мерсо не шевелился, поглядывая, как лоснятся в густой темноте под туалетным столиком его башмаки.

— Ты знаешь, — продолжала Марта, — я, в общем, перегнула палку вчера. Этот тип вовсе не был моим любовником.

— Не был? — спросил Мерсо.

— Ну, не совсем.

Мерсо промолчал. Будто он не видел, как они вчера переглядывались, улыбались. Он стиснул зубы. Потом поднялся, распахнул окно и снова сел на кровать. Она прильнула к нему, просунула руку за пазуху, погладила по груди.

— Сколько у тебя было любовников? — произнес он наконец.

— Это совсем неинтересно.

Мерсо промолчал.

— Целая дюжина, — сказала она.

После сна Мерсо обычно хотелось курить.

— А я их знаю? — спросил он, доставая пачку. Вместо лица Марты он видел только белесое пятно. «Как во время любви», — подумалось ему.

— Кое-кого. Местных. — Она терлась головой о его плечо и говорила девчоночьим тоном, который всегда умилял Мерсо.

— Послушай, малышка, — сказал он, закуривая. — Пойми меня. Обещай мне назвать их по именам. А что касается остальных, которых я не знаю, обещай показать, если мы их встретим.

Марта отпрянула от него:

— Ну уж нет!

Под окнами грубо засигналила машина, раз, второй, третий — без конца. В ночной глубине прозвенел трамвайный колокольчик. На мраморной крышке туалетного столика холодно тикал будильник. Мерсо через силу произнес:

— Я прошу тебя об этом потому, что знаю себя. Иначе такая история будет повторяться с каждым типом, которого я встречу. Начну тебя расспрашивать, навоображаю разных разностей. Тут уж ничего не поделаешь. Слишком я впечатлительный. Не знаю, впрочем, поймешь ли ты меня.

Она поняла как миленькая. Назвала ему имена. Только одно из них было ему незнакомо. Последним оказался один парень, которого Мерсо знал. О нем-то он и подумал в первую очередь: тот был смазливый, бабы на него так и вешались. Что поражало Мерсо в любви, по крайней мере спервоначалу, так это согласие женщины на ошеломляющую близость, то, как бездумно принимала она в свое лоно плоть незнакомого ей мужчины. В этой опрометчивости,

в этом головокружительном самозабвении он узнавал распалюющую и темную власть любви. Именно такого рода близость он и воображал себе, думая о Марте и ее любовнике. В этот миг она присела на край кровати и, кладя ногу на ногу, стащила с обеих ног туфли на высоких каблуках; они упали на пол — одна боком, другая — стоймя. Мерсо почувствовал, что к горлу у него подступил комок и что-то заныло внутри.

— Ты и с Рене так делала? — спросил он, улыбаясь.

Марта подняла глаза.

— Что это ты вбил себе в голову? Мы и близки-то с ним были всего один раз.

— А! — сказал Мерсо.

— Я даже туфли не успела снять.

Мерсо поднялся. Представил ее себе — лежащей навзничь, в одежде, — вот на такой же кровати. Готовой отдаться другому.

— Заткнись! — крикнул он и шагнул к окну.

— Ну что ты, милый! — всхлипнула Марта, усаживаясь на кровати; ее ноги в чулках чуть касались пола.

Мерсо понемногу остывал, глядя, как играют на рельсах огни фонарей. Никогда он не чувствовал такой нежности к Марте. Но при мысли о том, что и сам он приоткрылся перед ней больше, чем следует, его ожгла ярость. Он подошел к Марте и, растопырив большой и указательный пальцы, сжал ее теплую шею под самым подбородком. Потом спросил, улыбаясь:

— А этот Загрей, кто он? Он единственный, кого я не знаю.

— С ним я и до сих пор иногда встречаюсь, — призналась Марта, силясь рассмеяться.

Мерсо стиснул пальцы на ее шее.

— Он был у меня первым, понимаешь? Я была совсем молоденькая. А он — чуть старше. Теперь у него отняли обе ноги. Он живет один. Вот я его иной раз и навещаю. Хороший человек, и образованный. Все время читает. И веселый такой. Ну просто потрясающий тип. А говорит точь-в-точь, как ты: «Пойди сюда, мой милый призрак».

Мерсо задумался. Отпустил Марту, она опрокинулась на кровать, закрыв глаза. Чуть погодя он присел рядом с девушкой и, склонившись к ее полураскрытым губам,

попытался отыскать в ее обличье приметы животной божественности и того равнодушия к страданиям, которое казалось ему постыдным. Но весь его порыв ограничился поцелуем, дальше дело не пошло.

Когда он провожал Марту, она принялась рассказывать о Загрее:

— Я ему говорила о тебе. Сказала, что мой дружок очень красивый и сильный. И тогда он сказал мне, что не прочь бы познакомиться с тобой. Потому что, как он выразился, ему легче дышится, когда он видит перед собой красивое лицо.

— Еще один помешанный, — отозвался Мерсо.

Тут Марта решила, что сейчас самое время расквитаться с Мерсо, устроить ему маленькую, давно задуманную сцену ревности.

— Помешанный? Да уж не больше, чем твои подружки.

— Какие еще подружки? — спросил искренне удивленный Мерсо.

— Ну, твои старые клячи.

Старыми клячами она называла Розу и Клер, студенток из Туниса, знакомых Мерсо, с которыми — только с ними — он вел переписку. Он улыбнулся и потрепал Марту по затылку. Они шли долго. Марта жила возле военного плаца. Улица была длинной, поверху она светилась всеми своими окнами, а понизу, где все магазины уже закрылись, была темной и зловещей.

— Скажи, дорогой, ведь ты же их не любишь, этих старых кляч? — спросила Марта.

— Конечно, нет, — отозвался Мерсо.

Они шагали вперед, руку Мерсо, лежащую на плечах Марты, обдавало теплом ее волос.

— А меня ты любишь? — без всякого перехода спросила Марта.

Мерсо неожиданно расхохотался.

— Вот уж вопрос так вопрос.

— И все равно отвечай.

— Послушай, в наши годы смешно говорить о любви. Мы нравимся друг другу, вот и все. Любовь приходит позже, когда ты стареешь и теряешь силы. А в наши годы только воображаешь, будто любишь. Вот и все, и говорить тут не о чем.

Марта вроде бы приуныла, но он обнял ее, и она сказала: — Ну, до свиданья, милый.

Мерсо возвращался к себе по темным улицам. Шагал быстро и, чувствуя, как трется о бедра гладкая ткань брюк, думал о Загрее и об его отрезанных ногах. Ему захотелось познакомиться с калекой, и он решил попросить Марту, чтобы она свела его с ним.

После первой встречи с Загреем он был просто взбешен. А ведь тот старался как мог смягчить впечатление от встречи двух любовников одной и той же женщины в ее присутствии. Пытался расположить к себе Мерсо, называл Марту «хорошей девочкой», да еще хохотал при этом, но так ничем его и не пронял. Оставшись наедине с Мартой, Мерсо заявил ей безо всяких околечностей:

— Терпеть не могу этих ополовиненных. Они мне действуют на нервы. Мешают думать. А этот еще и хорохорится!

— Ну, ты даешь, — отозвалась Марта, которая ничего не поняла из его слов, — тебя послушать...

Но со временем беззаботный смех Загрея, так раздражавший Мерсо при первой встрече, увлек и покорило его. И еле скрываемая ревность, поначалу определявшая его поведение, исчезла. Марте, которая то и дело простодушно вспоминала пору своей близости с Загреем, он посоветовал:

— Не лезь ты вон из кожи. Не хватало еще ревновать тебя к безноготому. Когда я думаю о вас, он представляется мне огромным червяком, заползшим на тебя. Смех да и только. Так что не стоит усердствовать, ангел мой.

Как-то раз он заглянул к Загрею один. Тот говорил быстро и много, смеялся, потом вдруг умолкал. Мерсо было хорошо в его комнате, среди книг и марокканской бронзы, где отблески от камина играли на непроницаемом лице кхмерского будды, стоявшего на письменном столе. Его поражало в калеке-хозяине, что тот никогда не говорил, не подумав. Со временем сдержанная страсть и горение жизни, сквозившие в этом смешном обрубке, стали все больше и больше привлекать Мерсо, порождая в нем чувство, которое он, понемногу предавая забвению прошлое, пожалуй, мог бы принять за чувство дружбы.

В тот воскресный день, вволю наговорившись и насмеявшись, Ролан Загрей тихо сидел у огня в кресле на колесиках, укутанный белым одеялом. Мерсо, прислонившись к книжному шкафу, смотрел сквозь шелковые занавески на небо и окрестный пейзаж. Он пришел сюда под мелким морозящим дождем и, боясь, что явился слишком рано, битый час бродил по округе. Погода была ненастная, и, не слыша ветра, Мерсо видел, как ветви деревьев беззвучно гнутся под его порывами. Со стороны улицы донеслось скрежетанье железа и скрип досок — проехала повозка молочника. И тут же дождь что есть силы забарабанил по окнам. Густые маслянистые потеки на стеклах, гулкий отдаленный стук копыт, слышавшийся теперь отчетливей, чем грохот повозки, глухой шум затяжного ливня, обрубков человека у огня и молчание, царившее в комнате, — все это обретало обличье прошлого, чья глухая меланхолия прокрадывалась в сердце Мерсо точно так же, как часом раньше просачивалась вода в его сырые ботинки, а холодок — под легкую ткань штанин. Морозящая влажная пыль, омыв его лицо легкой рукой полудождя-полутумана, подчеркнула глубоко запавшие глаза. Теперь он смотрел в небо, на которое то и дело напозлали черные тучи, расплывались и появлялись снова. Складки на брюках разгладились, а вместе с ними исчезли та теплота и доверчивость, которые каждый нормальный человек испытывает к сотворенному ради него миру. Вот почему он подошел к огню и уселся напротив Загрея, укрывшись краешком тени от высокого камина и по-прежнему уставившись в небо. Загрей посмотрел на него, отвел взгляд и кинул в огонь бумажный комочек, который был у него в левой руке. От этого движения, как всегда неловкого, Мерсо стало не по себе: невыносимо было видеть это только наполовину живое тело. Загрей усмехнулся, но не обронил ни слова. Отсветы пламени играли только на левой его щеке, но и в голосе, и во взгляде чувствовалась теплота.

— У вас усталый вид, — сказал он.

— Да, я скучаю, — смущенно ответил Мерсо, а чуть погодя вскочил, подошел к окну и добавил, глядя на улицу:

— Мне хочется жениться, покончить с собой или подписаться на «Иллюстрасьон». Словом, выкинуть что-нибудь этакое.

Его собеседник улыбнулся:

— Это все оттого, Мерсо, что вы бедняк. Этим объясняется половина вашего отвращения к жизни. А вторая половина — дурацким терпением, с которым вы сносите свою бедность.

Мерсо продолжал стоять к нему спиной, глядя на деревья под ветром, Загрей сунул руку под одеяло, покрывавшее бедра.

— Вы знаете, о человеке всегда можно судить по тому, как он умеет соизмерить свои телесные нужды с духовными потребностями. Вот вы сейчас и судите о себе, Мерсо, причем очень скверно. Вы плохо живете. По-скотски. — Он повернул голову к Патрису. — Вы, наверно, любите водить машину?

— Да.

— И женщин любите?

— Красивых люблю.

— Именно это я и хотел сказать. — Загрей отвернулся к огню.

Чуть погодя он начал быстро: — Все это...

Мерсо обернулся и, прислонившись к раме, которая чуть подалась под его спиной, ждал конца фразы, но Загрей не стал продолжать. Ранняя муха колотилась о стекло. Мерсо повернулся, поймал ее и тут же отпустил. Загрей посмотрел на него и неуверенно произнес:

— Я не люблю вести серьезные разговоры. Потому что серьезно можно говорить только об одном: об оправдании собственной жизни. А вот я не знаю, как оправдать перед самим собой свои отнятые ноги.

— Я тоже, — бросил, не оборачиваясь Мерсо.

Загрей неожиданно и звонко рассмеялся.

— Ну, спасибо. Вы, стало быть, не оставляете мне никаких иллюзий. — Он сменил тон. — Ваша жестокость понятна. Однако мне хотелось бы вам кое-что сказать...

Он умолк, сохраняя серьезное выражение. Мерсо уселся напротив него.

— Послушайте, — продолжал Загрей, — и посмотрите на меня. Мне помогают отправлять мои естественные потребности. А потом еще подмывают и подтирают. Хуже

того, все это делается за деньги. Ну, так вот: я бы никогда не решился оборвать свою жизнь, ибо верю в нее. Я согласился бы и на худшую долю, быть слепым, немым, кем хотите, лишь бы ощущать в чреслах то сумрачное и жгучее пламя, которое и есть мое «я», мое живое «я». Я и тогда благодарил бы жизнь за то, что она еще позволяет мне пылать.

Загрей откинулся назад, чтобы перевести дыхание. Теперь его плохо было видно, только бледный отсвет одеяла играл на подбородке.

— А уж с вашим-то телом, Мерсо, — сказал он, — только жить да жить — и быть счастливым. Это ваш единственный долг.

— Не смешите меня, — отозвался Мерсо. — С моим телом! Да я по восемь часов в день торчу в конторе. Ах, если бы я был свободен!

За разговором он разгорячился и, как это с ним иногда бывало, ощутил прилив надежды, особенно сильный сегодня, когда чувствовал поддержку. Наконец-то он мог кому-то довериться и тем самым обрести веру в себя. Малость успокоившись, он принялся гасить сигарету, ломая ее в пепельнице, и продолжал не спеша:

— Несколько лет назад передо мной было открыто все, со мной говорили о моей жизни, о моем будущем. Я со всеми соглашался. И даже делал то, что от меня требовали. Но уже тогда все это было мне чуждо. Стушеваться, стать безличным — вот чего мне хотелось. Отказаться от такого счастья наперекор всему. Я туманно выражаюсь, но ведь вы меня понимаете, Загрей.

— Да, — отозвался тот.

— И даже теперь, будь у меня время... Только бы вырваться на свободу. А все остальное — это так, вроде дождичка, что поливает камни. Освежило, ну и прекрасно. Пройдет день — и они раскалятся от солнца. Мне всегда казалось, что счастье — оно такое и есть.

Загрей скрестил руки. В наступившей тишине казалось, что дождь припустил еще сильнее; разбухшие тучи слились в одну непроницаемую пелену. В комнате чуть потемнело, словно небеса сбросили в нее свой груз сумрака и тишины. И калека увлеченно заговорил:

— У каждого тела — тот идеал, которого оно заслуживает. Чтобы выдержать, так сказать, идеал булыжника, нужно обладать телом полубога.

— Это верно, — проронил слегка удивленный Мерсо, — только не стоит преувеличивать. Я много занимаюсь спортом, вот и все. Да к тому же неумерен в похоти.

Загрей задумался.

— Так-так, — сказал он наконец. — Что ж, тем лучше для вас. Осознавать пределы своих телесных возможностей — в этом и состоит подлинная психология. Впрочем, все это неважно. У нас нет времени, чтобы стать самим собой. Его хватает лишь на то, чтобы быть счастливым. А не хотите ли вы, кстати, пояснить мне вашу мысль о безличности?

— Нет, не хочу, — сказал Мерсо и умолк.

Загрей отпил глоток чая, отставил в сторону еще полную чашку. Он потреблял совсем мало жидкости, чтобы реже мочиться. Усилием воли он почти всегда ухитрялся ослабить гнет унижения, которое нес ему каждый новый день. «Малых достижений не существует, — сказал он как-то Мерсо, — это такой же рекорд, как все остальные». Несколько дождевых капель угодило в дымоход. Горящие поленья зашипели. Дождь еще сильнее захлестал по стеклам. Где-то хлопнула дверь. По дороге напротив дома проносились машины, похожие на лоснящихся крыс. Одна из них протяжно просигналила; гулкий и зловещий звук, разнесшись по долине, словно бы раздвинул сырые пространства мира, так что даже воспоминание о нем стало для Мерсо составной частью тишины и тоски этих ненастных небес.

— Вы уж простите меня, Загрей, — сказал он, — но о некоторых вещах я так давно не заводил разговора, что и не знаю, как начать. Посмотришь на собственную жизнь, на ее тайный смысл — и в тебе закипают слезы. Как в этом небе. Ведь оно — и дождь, и солнце, и полдень, и полночь. Ах, Загрей! Я думаю о тех губах, которые мне довелось целовать, о бедном ребенке, которым я был, о безумии жизни и о честолюбивых замыслах, которые порой мною овладевают. Все это, вместе взятое, и есть мое «я». Уверяю вас, в моей жизни бывают моменты, когда вы просто не узнали бы меня. Чрезмерность горя, неохватность счастья — вот мой удел, только выразить это я не умею.

— Иными словами, вы играете несколько партий сразу?

— Да, но отнюдь не по-любительски, — запальчиво бросил Мерсо. — Всякий раз, когда я думаю о таящемся во мне переплетении горя и радости, я с восторгом сознаю, что та партия, которую я сейчас играю, — самая серьезная, самая волнующая из всех.

Загрей улыбнулся.

— Стало быть, у вас есть какая-то цель?

— Устроить свою жизнь — вот моя цель, — резко бросил Мерсо. — Да только этому мешает работа, те восемь часов в день, которые так легко даются другим.

Он замолчал и прикурил сигарету, которую давно уже разминал между пальцами.

— И все же, — продолжал он, еще не успев погасить спичку, — у меня хватает и силы и терпения... — Он дунул на спичку и сломал ее обугленный кончик на тыльной стороне ладони. — Я хорошо знаю, до какой жизненной ступени смогу добраться. Я не собираюсь превращать свою жизнь в опыт. Я сам стану опытом своей жизни... Да, я отлично понимаю, что за страсть может по-настоящему распалить меня. Раньше я был чересчур молод. Во всем держался золотой середины. А теперь понял, что действовать, и любить, и страдать — это и значит жить по-настоящему, но лишь в той мере, в какой твоя душа, став совершенно прозрачной, принимает судьбу как слитный отсвет радужного спектра радостей и страстей, неизменного для всех нас.

— Согласен, — сказал Загрей, — но ведь вы не можете так жить, продолжая ходить на службу...

— Конечно, не могу, потому что постоянно бунтую, а это из рук вон плохо.

Загрей промолчал. Дождь утих, но вместо туч небо заволочла ночь, и комната почти совсем погрузилась в потемки. Только отблески огня играли на лицах калеки и Мерсо. После долгой паузы Загрей, взглянув на гостя, начал было: «Да, много же горя ждет тех, которые вас любят...», — и тут же запнулся, озадаченный внезапным порывом Мерсо, который гневно бросил, повернув лицо в темноту:

— Их любовь ни к чему меня не обязывает!

— Это верно, — согласился Загрей, — но я лишь сказал, что думаю. Настанет время — и вы окажетесь одиноким, только и всего, но присядьте-ка и выслушайте

меня. То, что вы сказали, меня поразило. Особенно одна вещь, потому что она подтверждает все, чему меня научил мой человеческий опыт. Я вас очень люблю, Мерсо. Отчасти потому, что у вас такое тело. Именно оно и подсказало вам все это. Теперь мне кажется, что я могу с вами говорить совершенно откровенно.

Мерсо присел, его лицо озарилось красноватыми отблесками уже потухающего огня. Внезапно в прямоугольнике окна, за шелковыми занавесками, в ночи, почувствовалось что-то вроде прогалины. Что-то росло и ширилось за стеклами. В комнату проник молочный отсвет, и Мерсо ощутил на ироничных и безмолвных губах бодисатвы, на узорной марокканской бронзе лунный и звездный взгляд ночи, чей привычный и в то же время неуловимый лик он так любил. Ночь сбросила облачный наряд и лучилась теперь во всем своем спокойном сиянии. Машины на дороге бежали не так быстро. В глубине долины внезапно раскричались готовящиеся ко сну птицы. Перед домом слышались шаги, и каждый звук в этой ночи, пролитой над миром словно молоко, разносился гулко и ясно. В комнате рдел камин, пульсировал будильник, жили непостижимой жизнью обычные вещи, и все это сливалось в зыбкую поэтическую атмосферу, как бы помогая Мерсо доверчиво и дружески воспринимать исповедь чужого сердца. Он откинулся на спинку кресла и, глядя в небо, выслушал странную историю Загрея.

— Я уверен, — начал тот, — что счастье без денег невозможно. Только и всего. Я не признаю ни легких путей, ни дешевой романтики. Я привык смотреть правде в глаза. Так вот, я заметил, что кое-кто из нашей элиты страдает своего рода духовным снобизмом: они думают, будто деньги совсем необязательное условие для счастья. А это глупая, неверная и в какой-то мере трусливая точка зрения.

Видите ли, Мерсо, человеку, родившемуся в приличных условиях, быть счастливым не так уж сложно. Стоит лишь принять свою судьбу, но стремясь при этом не к самоотречению, как делают иные из людей, несправедливо почитаемых великими, а к счастью. Но для того, чтобы стать счастливыми, нужно время. Много времени. Счастье само по себе есть род долготерпения. Мы чаще всего

тратим жизнь на то, чтобы заработать деньги, тогда как нам необходимы деньги, чтобы выиграть время. Вот в чем заключается единственная проблема, которая меня всю жизнь интересовала. Вполне определенная, ясная проблема.

Загрей помолчал, закрыв глаза. Мерсо упорно смотрел в небо. Когда шум дороги и звуки, доносившиеся из долины, стали отчетливей, Загрей не торопясь продолжил речь:

— О, я прекрасно понимаю, что большинство богачей лишены какого бы то ни было чувства счастья. Но ведь вопрос не в этом. Иметь деньги — значит иметь время. Я исхожу только из этого. Время покупается. Все покупается. Родиться или стать богатым — значит иметь время, чтобы быть счастливым, если только ты достоин им быть. — Он взглянул на Патриса. — В двадцать пять лет, Мерсо, я уже понял, что любой человек, наделенный чувством счастья, волей к счастью и потребностью счастья, имеет право быть богатым. Потребность счастья кажется мне самым благородным стремлением человеческого сердца. На мой взгляд, все им оправдано. Только было бы это сердце чистым.

Не отводя глаз от Мерсо, Загрей заговорил еще медленнее, холодным и жестким голосом, словно хотел развеять оцепенение, овладевшее Патрисом.

— Я начал сколачивать капитал в двадцать пять лет. Не останавливался перед жульничеством. Да и ни перед чем не остановился бы. И года через три-четыре обратил все свое состояние в наличные деньги. Около двух миллионов, Мерсо, вы только представьте себе. Весь мир открывался передо мной. И вместе с ним — та жизнь, о которой я страстно мечтал в одиночестве... — Помолчав немного, Загрей продолжал чуть тише: — Ах, Мерсо, что за жизнь была бы у меня, если бы не этот несчастный случай, в результате которого я остался без ног. Сразу же все обвалилось. Я ничего не успел завершить... А теперь и говорить об этом нечего. Вы же понимаете, что вовсе не к такой ущербной жизни я стремился. И вот уже двадцать лет мои деньги без толку лежат здесь, под рукой. Я жил очень скромно. Почти ничего не истратил. — Он коснулся руками век и произнес еще тише: — Нельзя марать жизнь поцелуями калеки.

Потом раскрыл небольшой сундучок, стоявший у камина, и показал массивную шкатулку вороненой стали с торчащим из нее ключом. Белый конверт и тяжелый черный револьвер лежали на крышке шкатулки. Перехватив любопытный взгляд Мерсо, Загрей ответил ему улыбкой. Как все это просто! В те дни, когда он с особенной силой ощущал трагедию, лишившую его настоящей жизни, он клал перед собой это недатированное письмо, в котором говорилось о его желании умереть, потом приставлял револьвер ко лбу, терся о его дуло висками, остужал стальным холодом лихорадочно пылавшие щеки. И подолгу сидел вот так, проводя пальцами по спусковому крючку и поигрывая курком до тех пор, пока все вокруг не затихало, а сам он, погружаясь в дремоту, всем своим существом не сливался с этой ледяной солоноватой железкой, из которой в любой миг могла грянуть смерть. При мысли о том, что стоит лишь поставить дату и выстрелить, испытав абсурдную легкость смерти, его воображение тотчас развертывало перед ним весь ужас отречения от жизни, и, задремывая, он уносил с собой в полусон свою тягу к одинокому и мужественному горению. А потом, внезапно проснувшись с горькой слюной во рту, он лизал ствол револьвера, совал в него язык и хрипел от невозможного счастья, счастья жизни.

— Что поделаешь, жизнь моя не удалась. Но тогда я рассуждал правильно: все ради счастья, вопреки миру со всей его глупостью, со всем его насилием. — Засмеявшись, Загрей добавил: — Видите ли, Мерсо, вся низость и жестокость нашей цивилизации выражена в пошлейшем афоризме: «У счастливых народов нет истории».

Было уже очень поздно. Но Мерсо потерял счет времени. Голова у него гудела от лихорадочного возбуждения. Во рту горело и саднило от выкуренных сигарет. Он все еще держался подальше от света. В первый раз за все это время посмотрев в сторону Загрея, он сказал:

— Кажется, я понял.

Утомленный своим долгим рассказом, калека тяжело дышал. И все-таки нашел в себе силы выговорить:

— Я хотел бы удостовериться во всем этом. Я вовсе не считаю, что в деньгах счастье. А только думаю, что для некоторых людей счастье возможно — при том условии,

что у них есть время, — и что иметь деньги значит освободиться от них.

Он съехался в кресле под одеялом. Ночь сомкнулась над ними, и теперь Мерсо почти не видел его. Наступила долгая пауза, и наконец Патрис, желая продолжить разговор, убедиться в том, что его собеседник все еще здесь, сказал, как бы наугад:

— Игра стоит свеч.

— Да, — глухо отозвался Загрей. — Только на карту лучше ставить эту жизнь, а не иную. Со мной, разумеется, все обстоит иначе.

«Он — конченный человек, — подумал Мерсо. — Совершенный нуль». Загрей продолжал:

— Вот уже двадцать лет как мне не было дано испытать счастья. Я так и не узнал как следует пожирающую меня жизнь, а в смерти меня ужасает то, что она лишь подтвердит: моя жизнь была прожита без меня. Я остался на ее задворках, понимаете?

И тут же из темноты раздался звонкий смех:

— Это значит, Мерсо, что, в сущности, даже в моем положении еще есть надежда.

Мерсо шагнул к столу:

— Подумайте обо всем этом, — сказал Загрей, — подумайте хорошенько.

Вместо ответа Мерсо спросил:

— Не включить ли свет?

— Если не трудно.

Свет лампочки отразился в выпуклых глазах Загрея, покрыл бледностью крылья его носа. Он тяжело дышал. Когда Мерсо протянул ему руку, он замотал головой и преувеличенно громко рассмеялся.

— Не принимайте меня слишком всерьез. Меня, знаете ли, всегда раздражала трагическая мина, с которой люди смотрят на мои обрубки.

«Он смеется надо мной», — подумал Мерсо.

— Воспринимайте трагически только счастье. Подумайте об этом хорошенько, Мерсо, ведь у вас чистое сердце. Подумайте об этом. — Загрей посмотрел в глаза собеседника и чуть погодя добавил: — К тому же, у вас еще и пара ног, а это делу не повредит.

Он улыбнулся и дернул за сонетку:

— Мне, знаете ли, пора справить малую нужду.

Вернувшись тем воскресным вечером и даже не успев войти в комнату, Мерсо — все его мысли еще вертелись вокруг Загрея — услышал, что в комнате бочара Кардоны кто-то всхлипывает. Он постучал. Ему не ответили. Скулеж продолжался. Тогда он, не раздумывая, вошел. Свернувшись на кровати, бочар плакал, громко икая, совсем как ребенок. В ногах у него лежала фотография какой-то старухи.

— Она умерла, — через силу объявил он Патрису.

Так оно и было, только уж больно давно все это случилось.

Бочар был человек жестокий и грубый, а к тому же глухой, да и языком еле ворочал. Одно время он жил с сестрой, но в конце концов, устав от его злобы и самодурства, она сбежала от него к своему сыну. И он остался один как перст, совершенно выбитый из колеи, — ведь ему впервые в жизни пришлось самому вести хозяйство и стряпать. Встретив как-то раз Мерсо на улице, сестра поведала ему об их ссорах. Бочару было в ту пору тридцать, ростом он не удался, но был довольно смазлив. С детства жил с матерью. Она была единственным человеком, внушавшим ему какое-то суеверное, ни на чем не основанное почтение: он любил ее всей своей дикарской душой, то есть восторженно и в то же время грубо: лучшим доказательством этого чувства была изобретательность, с которой он изводил бедную старушку, осыпая в ее присутствии мерзкой бранью священников и Церковь. Он так держался за материн подол еще и потому, что ни одна женщина до сих пор не обратила на него серьезного внимания. Тем не менее он считал себя мужчиной, поскольку у него бывали все-таки редкие любовные похождения, а кроме того он заглядывал в публичный дом.

И вот мать умерла. Мерсо сдал ему комнату, где тот поселился вместе с сестрой. Так они и мыкались одни-одинешеньки, карабкались кое-как по своей грязной и черной жизни. Говорить между собой им было почти невозможно, так что они целыми днями играли в молчанку. А потом сестра не выдержала и сбежала. Гордость не позволяла ему жаловаться, просить, чтобы она вернулась: он зажил совсем один. Завтракал в ресторанчике, а вече-

ром пробавлялся колбасой. Сам стирал себе белье и синие рабочие блузы. Но комнату запустил донельзя. В первое время, по выходным дням, пытался еще взять тряпку и навести хоть видимость порядка. Но какая-нибудь засаленная кастрюля, торчащая на каминной полке, которую раньше украшали цветы и безделушки, сводила на нет все его старания и лишь подчеркивала полную запущенность в доме. Навести порядок значило для него только хоть как-нибудь скрыть беспорядок, запихнуть вещи за диванные подушки и разложить на буфете коллекцию всевозможного хлама. Но даже это стало ему со временем не под силу, он перестал менять простыни и спал вместе со своей собакой на грязном и вонючем одеяле.

Его сестра говорила Мерсо:

— Сидя в кафе, он хорохорится. Но хозяйка сказала мне, что видела, как он обливался слезами, стирая белье.

Да, каким бы скотом ни был этот человек, но и его временами охватывала жуть, заставляя постигать всю пропасть своего одиночества. Сестра в свое время опекала его только из жалости, — так она и призналась Мерсо. А брат мешал ей встречаться с человеком, которого она любила. В их годы, разумеется, это не имело большого значения, да к тому же он был женат. Все его ухаживания сводились к тому, что он дарил ей букет полевых цветов, приносил пару апельсинов или бутылку ликера, выигранные на ярмарочных аттракционах. Он был некрасив, но с лица, как говорится, воду не пить, а вот человеком он был очень славным. И потому они изо всех сил держались друг за друга. А разве это не любовь? Она стирала ему белье, старалась держать его в чистоте. Он любил повязывать шею сложенным вдвое платком, она следила за тем, чтобы платки эти сияли белизной, и это была одна из ее радостей.

А брату совсем не хотелось, чтобы она принимала дружка у себя. И им приходилось встречаться тайком. Однажды брат застал их вдвоем и устроил страшный скандал. Сложенный треугольником платок остался после их ухода валяться в грязном углу. Сестра сбежала к сыну. Мерсо вспомнил об этом, глядя на запущенную комнату.

Поначалу одиночество бочара все-таки вызывало жалость. Он говорил Мерсо о том, что хотел бы жениться. Избранница была много старше его: прельстилась, наверное, надеждой на ласки молодого и дюжего парня... На-

дежды ее сбылись еще до свадьбы, а через некоторое время жених отказался от былых планов, заявив, что она чересчур стара для него. Он был совсем одинок в своем незавидном жилище. Мало-помалу грязь осадила его, пошла на приступ, забралась в постель, и, наконец, он просто потонул в ней. Его жилище стало омерзительным. А для бедняка, которому не в радость собственный угол, всегда готов другой дом — доступный, богатый, ярко освещенный, приветливый: это кафе. На окраине эти заведения выглядят особенно оживленными. В них царит та стадная теплота, которая кажется последним спасением от ужасов одиночества, от его темных порывов. Глухой бочар отыскал там себе пристанище. Мерсо видел его за столиком каждый вечер: он старался вернуться домой как можно позже. Только там он обретал свое место среди людей. Но в этот вечер ему, наверное, не хватило обычной порции. Вернувшись домой, он вытащил фотографию матери, стараясь с ее помощью разбудить отзвуки мертвого прошлого. Снова побыть с той, которую так любил, над которой так потешался. В этом гнусном углу, наедине с бессмысленной жизнью, он из последних сил старался воскресить прошлое, которое и было его счастьем. Должно быть, это ему удалось, потому что от столкновения прошлого с жалким настоящим брызнула искра божья — и бедняга залился слезами.

Мерсо растерялся, как это бывало с ним всякий раз при виде неприкрытого проявления человеческого горя, и в то же время почувствовал уважение к этой тупой боли. Он сел на грязное скомканное одеяло, положил руку на плечо Кардоны. Перед ним на покрытом клеенкой столе в беспорядке громоздились спиртовка, бутылка с вином, хлебные корки, кусок сыра, ящик с инструментами. Потолок был затянут паутиной. Мерсо, ни разу не заглянувший в эту запущенную комнату с тех пор, как похоронил мать, мог теперь судить о пути, пройденном за это время Кардоной. Окно, выходящее во двор, было захлопнуто. Другое — чуть приоткрыто. Керосиновая лампа с абажуром из миниатюрных игральные карт бросала спокойный круглый свет на стол, на ноги Мерсо и Кардоны, на стул, чуть отодвинутый от противоположной стены. Тем временем Кардона схватил карточку, впился в нее взглядом и принялся ее целовать, косноязычно приговаривая:

— Бедная мама.

Но было ясно, что ему жалко не ее, а себя самого. Она-то уже успокоилась на мерзком кладбище, в другом конце города. Мерсо знал это место.

Он собрался уходить. Но перед тем произнес, отчетливо выговаривая слова, чтобы глухой понял его:

— Так жить — нельзя.

— Я остался без работы, — с трудом произнес бочар и, протягивая Патрису карточку, добавил сдавленным голосом:

— Я ее любил.

«Она меня любила», — понял его Мерсо.

— Она умерла.

«Я остался один», — понял его Мерсо.

— Это я ей сделал к празднику, — продолжал Кардона, указывая на каминную полку, где стоял игрушечный деревянный бочонок с медными обручами и блестящим краником.

Мерсо отпустил его плечо, и бочар повалился на засаленные подушки. Из-под кровати донесся глубокий вздох, пахнуло жутким зловонием, затем оттуда медленно вылез длинноухий костлявый пес и положил на колени Мерсо морду с золотистыми глазами. Мерсо уставился на бочонок. Сидя в этой запущенной комнате, вслушиваясь в натужное дыхание бочара, чувствуя под пальцами теплоту собачьей шерсти, он пытался справиться с отчаяньем, которое впервые за много дней нарастало в нем словно морской прилив. «Нет», — говорило его сердце безнадежности и одиночеству. И, противясь великой тоске, заполнившей все его существо, Мерсо чувствовал, что единственной подлинной силой в нем был бунт, а все остальное — это лишь суета и самолюбование. Улица, кипевшая вчера жизнью под его окнами, все еще пузырилась звуками. От садов под террасой поднимался запах трав. Мерсо протянул Кардоне сигарету, они молча закурили. Прошли последние трамваи, полные еще живых воспоминаний о людях, о солнечном свете. Кардона прикорнул на кровати и скоро захрапел, пошмыгивая отсыревшим от слез носом. Пес, свернувшийся клубком у ног Мерсо, иногда подергивался и повизгивал во сне. При каждом его движении Патриса обдавало запахом псины. Он прислонился к стене, сиюсь подавить бунт, разгоравшийся в сердце.

Лампа чадила, коптила и наконец погасла, наполнив комнату удушливой гарью. Мерсо задремал, а проснувшись, тупо уставился на пустую винную бутылку. Через силу поднялся, подошел к окну и замер. Молчаливый зов несся к нему из сердцевины ночи. Где-то на дремотных окраинах мира протяжно прогудела корабельная сирена, призывая людей к отплытию и новым свершениям.

На следующий день Мерсо убил Загрея, вернулся к себе и проспал всю вторую половину дня. Проснулся он в лихорадке. И вечером, не вставая с постели, попросил позвать к себе врача, который обнаружил у него простуду. Потом к нему заглянул посыльный из конторы, справился о здоровье и отправился восвояси, прихватив заявление с просьбой об отпуске. Через несколько дней в газетах появились заметки о смерти Загрея, о ходе расследования. Его самоубийство казалось вполне оправданным. Марта, пришедшая проведать Мерсо, сказала со вздохом:

— Порой мне хотелось бы оказаться на его месте. Но иной раз нужно больше мужества для того, чтобы жить, чем для того, чтобы покончить с собой.

А еще через неделю Мерсо отплыл в Марсель, объявив всем знакомым, что хочет отдохнуть во Франции. Марта получила от него письмо из Лиона с сообщением о разрыве, но не испытала при этом известии ничего, кроме укола самолюбия. Одновременно он сообщил, что ему предложили необычайно выгодную должность где-то в центральной Европе. Марта ответила ему письмом до востребования, полным сожалений и боли. Но оно так и не дошло до Мерсо, который тут же по приезде в Лион почувствовал новый приступ болезни и поспешил сесть в поезд, идущий в Прагу. Между прочим, в том же письме говорилось, что тело Загрея, много дней пролежавшее в морге, было наконец-то предано земле и что потребовалось несколько подушек, чтобы заполнить пустоту в гробу.

Часть вторая

СОЗНАТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ

I

— Я хотел бы снять номер, — сказал приезжий по-немецки, глядя куда-то в сторону.

Портье стоял у доски, увешанной ключами, широкий стол отделял его от вестибюля гостиницы. Он внимательно посмотрел на приезжего в мешковатом сером плаще.

— Разумеется, сударь. На одну ночь?

— Нет. Не знаю.

— У нас есть номера по восемнадцать, двадцать пять и тридцать крон.

Мерсо смотрел сквозь застекленную дверь на узенькую пражскую улочку. Руки в карманах, волосы на непокрытой голове взлохмачены. Неподалеку, на бульваре короля Венцеслава, скрежетали трамваи.

— Какой же номер вам угодно, сударь?

— Все равно какой, — отозвался Мерсо, не отрывая глаз от двери. Портье снял с доски ключ и протянул его постояльцу.

— Номер двенадцать.

Мерсо словно очнулся от забытья.

— А сколько это стоит?

— Тридцать крон.

— Слишком дорого. Я бы хотел за восемнадцать.

Портье, не говоря ни слова, протянул ему другой ключ с медной звездочкой, на которой значилось: «Комната № 34».

Оказавшись в номере, Мерсо снял пиджак, слегка ослабил галстук и машинально завернул рукава рубашки. Подошел к висевшему над умывальником зеркалу. Оттуда на него взглянул человек с осунувшимся, чуть загорелым лицом, покрытым многодневной щетиной. Растрепавшиеся в поезде волосы падали на лоб, где глубокие морщины меж бровей придавали взгляду серьезное и трогательное

выражение, поразившее его самого. Только теперь он решил наконец осмотреться в этом жалком номере, его единственном пристанище, за пределами которого у него ничего не было. На омерзительных обоях с крупными желтыми цветами по серому полю расплылись грязные пятна: настоящая географическая карта страны, которая называется нищетой. Сор и паутина за огромной батареей центрального отопления. Разбитый выключатель с торчащими из него медными контактами. Засаленный, усеянный дохлыми мухами шнур над кроватью, с которого свисает липкая лампочка без абажура. Только постельное белье оказалось, как ни удивительно, чистым. Мерсо раскрыл чемодан и принялся расставлять на умывальнике туалетные принадлежности. Потом решил было вымыть руки, но, передумав, закрутил кран и, подойдя к окну без занавесок, распахнул его. Оно выходило на задний двор с водоразборной колонкой и на стену с подслеповатыми окошками. В одном из них сушилось белье. Мерсо лег и тотчас заснул. Проснувшись в поту, весь разбитый, он какое-то время бесцельно кружился по комнате. Потом закурил сигарету, сел и принялся тупо разглядывать складки на измятых брюках. Во рту скопилась горечь сна и табака. Почесывая себе подмышки, он снова оглядел комнату, и ему чуть не стало дурно от такого запустения и одиночества. Все осталось где-то там, позади, даже его болезнь, а здесь, в этом номере — только ясное ощущение абсурдности и ничтожности любой человеческой жизни, даже самой благополучной. Но вслед за этим ощущением — стыдливое и смутное чувство свободы, родившееся из сомнений и опасений. Само время, став мягким и влажным, хлюпало вокруг него словно болотная тина.

В дверь громко постучали, и, оторвавшись от своих мыслей, Мерсо вспомнил, что проснулся-то он, оказывается, от точно такого же стука. Он открыл дверь: на пороге стоял маленький старикашка с рыжей щетиной на щеках, сгибавшийся под тяжестью двух чемоданов, которые на его спине казались особенно огромными. Он задыхался от усталости и раздражения, сыпал ругательствами и проклятиями, брызгал слюной, обнажая редкие гнилые зубы. И тут Мерсо вспомнил, что у самого большого чемодана давно уже оторвалась ручка, так что тащить его было сущее наказание. Он хотел извиниться, он ведь не рассчитывал,

что носильщик окажется таким старым, но запаса слов у него не хватило. Старичок перебил его:

— С вас четырнадцать крон.

— За один день хранения? — удивился Мерсо.

Из дальнейших долгих переговоров выяснилось, что старикашке пришлось взять такси. У Мерсо не хватило духу сказать, что в таком случае он мог бы это сделать и сам; он только пожал плечами и расплатился. Когда дверь за стариком захлопнулась, Мерсо почувствовал, что в его груди закипают непонятно чем вызванные слезы. Где-то совсем близко пробило четыре часа. Стало быть, он спал совсем недолго. Теперь он понял, что только стоящий напротив дом отделял его от улицы, где текла, набухая и вспучиваясь, таинственная чужая жизнь. Не мешало бы взглянуть на нее. Мерсо принялся мыть руки, он делал это долго и основательно. Потом присел на край кровати и так же методично стал приводить в порядок ногти. Два или три автомобильных гудка, донесшихся со двора, прозвучали так неожиданно и резко, что Мерсо снова подошел к окну. И тут он заметил крытый переход, ведущий из дома на улицу. Ему показалось, что весь уличный гомон, вся неведомая жизнь по ту сторону окрестных домов, голоса людей, которые где-то живут, имеют семьи, с кем-то ссорятся или мирятся, играют по вечерам в преферанс, болеют или выздоравливают, гул человеческого муравейника, населенного существами, чьи сердца не хотят биться в лад с чудовишным сердцем толпы, — все эти звуки текли по переходу, разливались по двору и, взмывая ввысь, словно мыльные пузыри, лопались у него в комнате. Мерсо чувствовал себя таким открытым, таким чутким к малейшему движению извне, будто в нем самом раскрылась глубокая скважина, связывающая его с жизнью. Он закурил новую сигарету и принялся с лихорадочной поспешностью одеваться. Когда застегивал пиджак, глаза у него защипало от дыма. Он промыл их из умывальника, а заодно решил причесаться. Но расческа куда-то пропала. Волосы были всклокочены после сна, ему так и не удалось их пригладить. Он сошел вниз, смирившись и с прядями, свисающими на лицо, и с вихрами на затылке. Ему показалось, что и весь он как-то съежился, стал меньше ростом. Выйдя на улицу, он обошел вокруг гостиницы, чтобы найти тот переход, который заметил из окна. Он вел на

площадь старой ратуши, чьи готические шпили четко вырисовывались в небе по соседству с древней Тынской церковью. Вечер, опустившийся над Прагой, был немного душноват. По улочкам, обнесённым арками, сновали толпы людей. Мерсо ждал, что хоть одна из проходящих мимо женщин бросит на него взгляд, который доказал бы ему, что он еще способен участвовать в той сложной и тонкой игре, что называется жизнью. Но люди, находящиеся в добром здравии, ловко делают вид, будто не заметили устремленного на них лихорадочного взгляда. Плохо выбритый, непричесанный, в жеваных брюках, с глазами загнанного зверя, Мерсо утратил ту волшебную самоуверенность, которую придает человеку хороший костюм или шикарный автомобиль. Небо понемногу бронзовело, но солнечные лучи еще играли на золоте барочных куполов в глубине площади. Мерсо направился к одному из них, вошел в церковь и, задохнувшись от спертого воздуха, присел на скамью. Свод тонул в полном мраке, но с позолоченных капителей по желобкам каннелюр стекали волшебные светонесущие струйки, омывая лица толстощеких ангелов и ухмыляющихся святых. Да, здесь царил кротость, но она была столь горькой, что Мерсо бросился к выходу и, еще стоя на ступеньках, полной грудью вобрал в себя свежий воздух ночи, куда ему предстояло погрузиться. Мгновение спустя он увидел, как первая звезда, нагая и чистая, засияла между шпилями Тынской церкви.

Он пустился на поиски дешевенького ресторанчика, пошел наугад по темным и малолюдным теперь улочкам. Хотя дождя днем не было, мостовая оставалась сырой, и ему пришлось то и дело огибать черные лужицы среди неровного бульжника. А потом и впрямь заморосил мелкий дождик. Оживленные улицы находились теперь где-то недалеко, с них уже доносились сюда выкрики газетчиков, продающих «Народную политику». А Мерсо все крутился по кругу. Внезапно он остановился. Из недр ночи до него долетел странный запах. Острый, чуть кисловатый, он щекотал ноздри, щипал язык и глаза. Сначала он казался далеким, а потом, на углу, словно по волшебству, пахнул прямо в лицо. Мерсо двинулся на этот запах по грязной и скользкой мостовой, и с каждым шагом тот становился все ощутимей, заполнял всю округу, все сильнее щипал глаза, и без того уже полные слез. Наконец Мерсо увидел старуху, продававшую маринованные огурцы: они-то и были ис-

точником этого одуряющего запаха. Какой-то прохожий остановился и купил огурец, который старуха завернула ему в бумажку. Поравнявшись с Мерсо, он развернул ее и впился зубами в зеленую мякоть, из которой брызнул пахучий сок. Почувствовав тошноту, Мерсо прислонился к столбу и долго пытался отдышаться, впивая в себя всю странную атмосферу этого мира, где он чувствовал себя таким одиноким. Потом двинулся дальше и, не раздумывая, зашел в первый попавшийся кабачок, откуда доносились звуки аккордеона. Спустившись на несколько ступенек, он помедлил на середине лестницы, а потом шагнул дальше и очутился в темноватом погребок, освещенном красноватыми отблесками. Должно быть, у него был довольно странный вид, потому что звуки аккордеона стали глуше, разговоры смолкли и все посетители обернулись в его сторону. В углу ужинала девица, шевеля чересчур жирными губами. Кое-кто пил темное и сладковатое чешское пиво. Многие просто курили, ничего не заказывая. Мерсо подошел к довольно длинному столу, за которым сидел всего один человек. Высокий, худой, рыжеватый, он скорчился на стуле, сунув руки в карманы, и с омерзительным хлюпаньем сосал потрескавшимися губами заслоняленный обломок спички, иногда перебрасывая его из одного угла рта в другой. Когда Мерсо уселся рядом, он только плотнее прижался к спинке стула, нацелил спичку в соседа и чуть заметно прищурился. Присмотревшись, Мерсо увидел в его петлице красную звездочку.

Мерсо ел мало и торопливо, не ощущая голода. Аккордеон звучал теперь громче, а игравший на нем человек не сводил глаз с необычного посетителя. Мерсо дважды пытался вызывающе посмотреть в его сторону, выдержать его взгляд. Но слишком уж он ослаб от лихорадки. А музыкант все пялился на него. Внезапно одна из девиц громко расхохоталась, человек с красной звездочкой еще сильнее зашмыгал спичкой, на которой повисла капелька слюны, а музыкант, не отрывая глаз от Мерсо, оборвал танцевальный наигрыш и принялся выводить медленную, словно припорошенную пылью веков мелодию. В этот миг дверь распахнулась, пропуская нового посетителя. Мерсо не видел его, только почувствовал, как пахнуло острым запахом огуречного рассола. Этот запах разом наполнил весь мрачный погребок, смешался с таинственной мелодией

аккордеона, и тут же капелька слюны на спичке начала разбухать, разговоры стали значительней и оживленней: казалось, что сам дух старой Праги, вынырнув из сонных ночных глубин, полных боли и злобы, заглянул в этот подвальчик, чтобы подышать здесь человеческим теплом. Мерсо, уже принявшийся за приторный мармелад, почувствовал, что какая-то сила внезапно отбросила его за пределы собственного существа, что открывшаяся в нем скважина растет и ширится навстречу людской тоске и горю. Он вскочил, подозвал официанта, ничего не понял из его объяснений, расплатился с ним чересчур щедро и, продолжая чувствовать на себе пристальный и неотрывный взгляд музыканта, пошел к выходу. Миновав аккордеониста, Мерсо заметил, что тот по-прежнему глядит на столик, за которым только что сидел он сам. Тут ему стало ясно, что этот человек — слепой. Он поднялся по ступенькам, распахнул дверь и, вдохнув напоследок стойкий запах огуречного рассола, двинулся по узким улочкам в глубь ночи.

Над домами сияли звезды. Где-то неподалеку струилась река: до Мерсо доносилось глухое и могучее пение воды. Очутившись перед решетчатой калиткой в толстой стене с высеченными на ней непонятными письменами, он понял, что находится в еврейском квартале. Над рекой нависали ивовые ветви, источавшие сладковатый аромат. Сквозь прутья калитки виднелись грузные бурые камни, утонувшие в густой траве. То было старое еврейское кладбище. Мерсо чуть не бегом бросился прочь и через несколько шагов оказался на Ратушной площади. Добравшись до своей гостиницы, он прислонился к стене, и здесь его мучительно вырвало. Сохраняя ту полную ясность сознания, что вызывается крайней слабостью, он без труда отыскал свой номер, повалился на кровать и тотчас уснул.

На следующий день его разбудили выкрики продавцов газет. Погода была по-прежнему сумрачной, но за облаками угадывалось солнце. Мерсо был еще слаб, но ему уже полегчало. Лишь мысль о бесконечном дне, который его ожидает, была невыносима. Когда живешь в полном одиночестве, время растягивается беспредельно и каждый час становится равным вечности. Прежде всего следовало подумать о том, как избежать болезненных припадков, подобных вчерашнему. Если уж осматривать город, то методично, по заранее составленному плану. Не сменив

ночную пижаму на костюм, он уселся за стол и наметил себе распорядок прогулок на целую неделю. Монастыри и барочные церкви, музеи и старые кварталы — он постарался не упустить ничего. Потом умылся, заметил, что так и не купил себе расческу, и спустился вниз таким же растрепанным и заспанным, как накануне. При дневном свете в глаза портье бросилась его взъерошенная шевелюра, растерянный вид и пиджак с оторванной пуговицей. Выйдя из гостиницы, он услышал по-детски трогательный наигрыш аккордеона. Вчерашний слепец сидел на корточках на углу старой площади, терзая мехи инструмента с таким блаженно-пустым выражением, словно он отрекся от самого себя, целиком вписавшись в течение жизни, неизмеримо превосходящей все его существо. У перекрестка Мерсо обернулся — и тут его снова настиг запах огуречного рассола, а сердце защемило от привычной тоски.

Этот день прошел точно так же, как и все остальные. Мерсо вставал поздно, осматривал монастыри и церкви, спускался в пропахшие ладаном подземелья, и, выйдя наружу, вновь и вновь испытывал тайный страх, который сочился из торчавших на каждом углу бочек с огурцами. Запах рассола преследовал его в музеях, где он постигал таинственную мощь барочного гения, заполонившего Прагу золотым великолепием. Золотистый свет, тихо струящийся по сумрачным алтарям, казался ему отражением отливающих медью пражских небес, сотканных из солнца и тумана. Глядя на завитки волют и розеток, на все это затейливое узорчье, словно бы слепленное из золоченой фольги и трогательно схожее с игрушечными рождественскими яслями, Мерсо прозревал в этой барочной грандиозности, гротеске и соразмерности подобие некоего лихорадочного, детски-наивного и велеречивого романтизма, с чьей помощью человек обороняется от собственных демонов. Бог, которому здесь поклонялись, требовал к себе страха и почтения, это был совсем не тот бог, который смеется вместе с человеком, следя за пылкими играми моря и солнца. Выйдя из-под сумрачных сводов, где застоялся тонкий запах праха и небытия, Мерсо снова ощущал себя бесприютным, лишенным родины скитальцем. Каждый вечер он навещал обитель на восточной окраине Праги. Там, в садике за монастырскими стенами, часы летели легко, словно голуби, нежный перезвон коло-

колов тонул в густой траве, а может быть, все это только мерещилось Мерсо, которого все еще изводила лихорадка. И он не замечал, как идет время. Наступал час, когда церкви и музеи уже закрыты, а рестораны еще не открывались. И этот час таил в себе угрозу. Мерсо гулял по берегам Влтавы, где в парках при свете догорающего дня гремели оркестры. От плотины к плотине сновали по реке парходики. Мерсо шагал вслед за ними, то оставляя позади оглушительный шум и кипение шлюза и малопомалу погружаясь в безмятежную вечернюю тишину, то снова приближаясь к грохочущему перекаату. Добравшись до очередной плотины, он останавливался, чтобы полюбоваться разноцветными лодками, которые пытались, не опрокинувшись, миновать опасное место, и дожидался того момента, когда одна из них все-таки одолевала бушующую стремнину. Но все эти потоки воды, словно несущие вниз по течению людской гомон, мелодии оркестров и аромат парков, все это речное раздолье, полное бронзоватых отблесков вечеряющего неба вперемежку с тенями от статуй Карлова моста, — все это только обостряло в душе Мерсо болезненное и жгучее ощущение стылого одиночества, в котором нет места любви. Когда у него перехватывало дыхание от запаха влаги и листвы, он звал к себе слезы, но их не было. Сейчас ему было бы достаточно присутствия друга, его протянутой руки. И слезы застывали на границе того безжалостного мира, в который он был ввергнут. Иной раз по вечерам он переходил Карлов мост, чтобы погулять по Градчанам, пустынному и молчаливому кварталу высоко над рекой, всего в нескольких шагах от самых оживленных улиц. Он бродил среди огромных дворцов, по необъятным мощеным площадям, проходил вдоль кованых фигурных оград, огибал собор. Его шаги гулко отдавались в тишине меж высоких дворцовых стен. Только неясный шум доносился сюда из города. Здесь не торговали огурцами, но в самой этой тишине, в этом величии было что-то настолько гнетущее, что в конце концов Мерсо всякий раз спешил спуститься вниз, к запахам и мелодиям, с которыми уже успел сродниться. Ужинал он всегда в том самом кабачке, который открыл во время первой прогулки и с которым успел свыкнуться. У него даже появился собственный столик, который он делил с человеком, носившим в петлице

красную звездочку. Тот появлялся только к вечеру, заказывал кружку пива и принимался слюнявить спичку. Чуть позже начинал играть слепой музыкант, и тогда Мерсо спешил проглотить ужин, расплатиться, вернуться в гостиницу и забыться там лихорадочным сном больного ребенка: жар не отпускал его ни на одну ночь.

Каждый день Мерсо начинал думать об отъезде, но его воля, к счастью, ослабленная одиночеством и безнадежностью, день ото дня сдавала все больше и больше. Он провел в Праге уже четверо суток, но так до сих пор и не купил себе расческу, об отсутствии которой вспоминал каждое утро. Он смутно ощущал, что ему чего-то не хватает, но не мог понять, чего именно. Как-то вечером он шел в кабачок по той самой улочке, где впервые почувял огуречный запах. И вот, когда он уже был готов уловить его снова, в двух шагах от ресторанчика что-то привлекло его внимание на противоположной стороне улицы. Он остановился, потом подошел ближе. На тротуаре лежал человек, скрестив руки и касаясь асфальта левой щекой. Трое или четверо зевак стояли вокруг, прислонившись к стене, и, казалось, чего-то ждали, сохраняя полное спокойствие. Один из них курил, остальные тихонько переговаривались. Зато еще один, с пиджаком, перекинутым через руку, и в сбитой на затылок шляпе, отплясывал вокруг тела дикарский танец, гулко топоча ногами и отчаянно кривляясь. Сцену слабо озарял свет далекого уличного фонаря вперемежку с тусклыми отблесками из окон ресторанчика. Зловещий контраст между недвижимым телом и бесконечной буйной пляской, между загадочным спокойствием зрителей и тревожной игрой света и тени был так силен, что на какой-то миг Мерсо почудилось, будто весь мир вокруг готов обрушиться в приступе безумия. Он шагнул еще ближе. Лицо покойника было залито кровью, она текла из раны на левом виске, прижатом к асфальту. В этом глухом пражском закоулке, на залитой жидким светом осклизлой мостовой, куда доносился сырой шелест проезжавших неподалеку автобусов и отчетливый, резкий скрежет дальних трамваев, сама смерть казалась какой-то двусмысленной и слащавой, и не ее ли вкрадчивый зов, не ее ли влажное дыхание почувствовал Мерсо, когда он, не оборачиваясь, быстро зашагал прочь? И только тут в ноздри емушибанул забытый запах рассола.

Он вошел в погребок, уселся за стол. Сосед был уже там, но без спички в зубах. Мерсо показалось, что взгляд у него какой-то растерянный. Но он поспешил отогнать от себя неожиданное и глупое подозрение. Все кружилось в его голове. Он не стал ничего заказывать, вскочил, помчался в гостиницу и рухнул на кровать. Что-то острое колело и жгло висок. Кровь отхлынула от сердца, к горлу подступила тошнота, словно все его тело взбунтовалось против него. Перед глазами замелькали образы прошлого. Как ему не хватало сейчас нежных женских рук, жарких губ! Его лихорадило, из глубины мучительных пражских ночей, пропитанных запахом рассола, пронизанных незамысловатыми мелодиями, проступало тревожное лицо старого барочного мира. Еле переводя дыхание, глядя в пустоту ничего не видящими глазами, он сел на кровать; движения его были четкими, словно у автомата. Ящик ночного столика был выдвинут, там лежала какая-то английская газета. Он прочел от корки до корки целую статью и снова бросился на постель. Голова лежащего на мостовой мертвеца откинулась в другую сторону, открыв рану, в которую можно было сунуть пальцы. Он посмотрел на руки — и в нем зашевелились какие-то ребяческие желания. В груди закипал непонятный жар, набухали слезы, ему так хотелось снова очутиться в городах, полных солнца и женщин, вдохнуть прохладу зеленых вечеров, залечивающих все раны. Слезы хлынули рекой, словно где-то в глубине его существа прорвалась плотина одиночества и безмолвия, над которой реяла теперь печальная мелодия освобождения.

II

Сидя в поезде, увозящем его на север, Мерсо разглядывал свои руки. Поезд мчался под грозовым небом, увлекая за собой клубы низких и тяжелых облаков. Мерсо был один в душном вагоне. Он решился на отъезд внезапно, ночью, и вот теперь, оставшись наедине с наступающим пасмурным утром, впитывал в себя всю мягкую прелесть чешского пейзажа; от предчувствия дождя, готового пролиться над высокими шелковистыми тополями и дальними заводскими трубами, на глаза навертывались слезы. Мерсо взглянул на белую эмалевую табличку с надписью на трех языках: «Nicht hinauslehnen. E pericoloso

sporters¹. Не высовываться». Потом снова перевел взгляд на руки, похожие на двух кровожадных зверей. Левая была длинной и гибкой, правая — жилистой и мускулистой. Он сознавал, что это всего-навсего его руки, и в то же время они казались ему самостоятельными существами, способными действовать помимо его воли. Вот одна из них прижалась ко лбу, словно отгоняя клокодавщую в висках лихорадку. Другая скользнула вдоль пиджака, нашарила в кармане сигарету и тут же отбросила ее, как только он почувствовал приступ тошноты. Потом они бессильно, ладонями вверх, упали на колени, и Мерсо принялся вглядываться в эти вогнутые зеркала, где отразилась вся его жизнь, исполненная теперь безразличия и готовая отдаться всякому, кто захочет ее взять.

Он провел в поезде двое суток. Но на сей раз его гнал вперед отнюдь не слепой инстинкт бегства. Он был заво-рожен самым однообразием движения. Вагон, в котором он пересек добрую половину Европы, как бы удерживал его на грани двух миров. Вчера он сел в него, завтра его покинет. А пока этот вагон уносил его прочь из той жизни, о которой он не хотел сохранить даже воспоминаний, стремясь навстречу новому миру, чьей единственной владычицей будет страсть. Во время поездки Мерсо вовсе не скучал. Забившись в угол купе, где его почти никто не беспокоил, он смотрел то на руки, то на пейзаж за окном и размышлял. Он решил добраться до Бреслау и там найти в себе силы заглянуть на таможду и обменять билет. Ему хотелось еще хоть немного побыть лицом к лицу со свободой. Он так устал, что еле держался на ногах. И только нащупывал в себе крупинки сил и надежд, так и этак перебирал и ворошил их, стараясь переиначить самого себя, а заодно и свою дальнейшую судьбу. Ему понравились нескончаемые ночи, когда состав, распластавшись на скользких рельсах, вихрем проносился мимо полустанков, где светились только циферблаты часов, а потом резко тормозил на подъезде к россыпи огней большого вокзала, внезапно заливающего внутренность купе щедрым золотом, светом и теплом. Стучали по колесам молоточки обходчиков, паровоз фыркал, выпуская клубы пара, а затем механический жест диспетчера, опустившего крас-

¹ Надписи на немецком и итальянском языках.

ный диск, снова увлекал Мерсо в сумасшедший бег поезда, где вместе с ним бодрствовали только его бессонница и тревога. И снова купе превращалось в кроссворд света и тени, в скрещенье черноты и золота. Дрезден, Баутцен, Гёрлиц, Лигниц. И долгая ночь впереди, сколько уютно времени для того, чтобы наметить контуры будущей жизни, для терпеливой схватки с мыслью, которая внезапно вылетает из головы на повороте к очередному вокзалу, дразнит, мечется, летит перед составом по блестящим от дождя и света рельсам. Мерсо искал слово или целую фразу, в которых воплотилась бы надежда его измученного тревогой сердца. Он так был слаб, что искал опору в четких формулировках. Вся ночь и весь день прошли в упорной борьбе с этим словом, с этим образом, от которого должен теперь зависеть его взгляд на жизнь, радостным или зловещим видением, в котором представало перед ним будущее. Он закрыл глаза. Для того, чтобы жить, нужно время. Как всякое произведение искусства, жизнь требует обдумывания. И пока Мерсо размышлял о жизни, его помраченная совесть и воля к счастью металась по тесному купе, которое в этот миг казалось ему тюремной камерой, где человек познает свою суть, сиюсь возвыситься над самим собой.

Наутро второго дня поезд заметно сбавил скорость, хотя вокруг тянулись одни только голые поля. До Бреслау оставалось еще несколько часов езды; заря занималась над бескрайней силезской равниной, где не видно было ни кустика, ни деревца, только липкая грязь под пасмурным, разбухшим от дождя небом. Насколько хватало глаз, повсюду носились стаи крупных черных птиц с глянцевыми от влаги крыльями, они медленно и тяжело кружили над самой землей, словно небо, грузное, как гробовая плита, не давало им подняться выше. Порой одна из них отрывалась от стаи, чиркала крыльями по земле, почти сливалась с нею и потом медленно и словно бы нехотя удалялась, превращаясь в черную точку на бледном рассветном небе. Мерсо протер ладонью запотевшее вагонное окно и стал жадно всматриваться в длинные косые прогалыны, оставленные его пальцами. Меж скорбной землей и бесцветным небом высился образ скудного мира, где ему наконец-то было суждено обрести самого себя. Здесь, на этой равнине, погруженной в простодушное отчаяние, чувствуя себя странником, затерянным среди первобытно-

го мира, он мало-помалу воскрешал в себе былую привязанность к жизни и, стиснув кулаки, прижавшись лицом к стеклу, пытался наметить путь к самому себе, а заодно увериться в своих скрытых силах. Ему хотелось распластаться по этой земле, вывалиться в грязи, а потом встать во весь рост посреди бескрайней равнины, воздев заляпанную грязью руки к губчатому, томимому испариной небу, — встать живым символом безнадежности и великолепия жизни, утверждая свою связь с миром, как бы отвратителен и неблагоприятен тот ни был. Чудовищное напряжение последних дней наконец-то спало. Прикинув губами к холодному стеклу, Мерсо зарыдал. Окно снова затуманилось, равнина скрылась из глаз.

Несколькими часами позже он прибыл в Бреслау. Издалека город выглядел сплошным лесом фабричных труб и соборных шпилей, а вблизи оказался сложенным из кирпича и закопченных камней; по нему слонялись люди в каскетках с короткими козырьками. Он пошел вслед за ними, провел утро в рабочем кафе. Молодой парень играл там на гармонике; добродушные и тяжеловесно-глуповатые мелодии незаметно умиротворяли душу. Мерсо решил отправиться на юг, а перед этим купить себе расческу. На другой день он уже был в Вене. Завалился спать еще засветло и проспал всю ночь. Наутро он почувствовал, что его не лихорадит. Жадно проглотив на завтрак несколько яиц вкрутую и запив их свежими сливками, он, ощущая легкую тошноту, вышел на пронизанную утренним солнцем и омытую дождем улицу. Вена оказалась обманчивым городом, смотреть в ней было нечего. Собор Святого Стефана, чересчур огромный, наваял на Мерсо скуку. Он предпочел ему кафе напротив, а ближе к вечеру отправился в небольшой дансинг на берегу канала. Днем он прогуливался по Рыночной площади, среди роскошных витрин и элегантных женщин. И какое-то время чувствовал себя просто великолепно среди легкомысленной и шикарной обстановки, которая не дает человеку побыть наедине с самим собой в этом самом неестественном из всех городов мира. Но что и говорить, женщины там прекрасны, цветы в парках пышны и ярки, а вечером на Рыночной площади, в блестящей и безумной толпе, Мерсо вдоволь насмотрелся на спесивый разбег каменных коней, рвущихся с вершин монументов в багровое небо. Тогда-то он и вспомнил

о своих приятельницах Розе и Клер. И в первый раз со времени отъезда решил засесть за письмо, излить на бумагу все накопившееся в нем молчание:

Детки мои,

я пишу вам из Вены. О вас ничего не знаю. Я разъезжаю по Европе, попутно зарабатывая себе на жизнь. Успел повидать много красот, но с тяжелым сердцем. А здесь красота уступила место цивилизации. Это так удобно. Я не хожу по церквям, не осматриваю древности, а просто слоняюсь по Рыночной площади. И когда над театрами и пышными дворцами спускается вечер, слепой порыв каменных коней на фоне багрового заката вселяет в мое сердце странную смесь горечи и счастья. По утрам я завтракаю яйцами вкрутую, запивая их свежими сливками. Встаю поздно, в гостинице ко мне относятся крайне предупредительно, прислуга здесь отлично вышколена, кухня выше всех похвал (особенно свежие сливки). Тут есть на что посмотреть, особенно хороши женщины. Не хватает только настоящего солнца.

А вы что поделываете? Напишите о себе и о солнце бедному бесприютному страннику, вашему верному другу

Патрису Мерсо.

Закончив письмо, он отправился в дансинг, где тут же завязал знакомство с одной из профессиональных танцовщиц; ее звали Элен, она немного говорила по-французски и разбирала его дурной немецкий. В два часа ночи они покинули это заведение, он проводил Элен к ней домой, самым благопристойнейшим образом ублажил ее любовью, а утром обнаружил, что лежит гольшом в чужой постели, рядом с женщиной, чьи стройные ноги и пышные плечи не возбудили в нем ничего, кроме платонического и добродушного восхищения. Не желая тревожить сон красавицы, он собрался уходить, а перед тем сунул в ее туфельку крупную купюру. Элен окликнула его, когда он был уже в дверях:

— Да ведь ты ошибся, милый!

Мерсо подошел к постели. Он и в самом деле дал маху. Плохо разбираясь в австрийской валюте, он оставил ей билет в пятьсот шиллингов, тогда как вполне хватило бы и сотни.

— Нет, нет, — сказал он, улыбаясь, — все правильно. Ты вела себя просто потрясающе.

Веснушчатое личико Элен, полускрытое спутанными русыми прядями, озарилось улыбкой. Она вскочила и расцеловала его в обе щеки. Этот поцелуй, единственный, которым она наградила его от чистого сердца, вызвал в душе Мерсо бурю эмоций. Он уложил девушку в постель, прикрыл одеялом и, помедлив у дверей, еще раз улыбнулся:

— Ну, а теперь прощай.

Она стрельнула в него глазками из-под натянутой до самого носика простыни, но не нашла что ответить.

Через несколько дней Мерсо получил ответ из Алжира:

«Дорогой Патрис,

ваши детки обретаются сейчас в городе Алжире. И были бы счастливы вас повидать. Бесприютному страннику всегда найдется местечко в нашем Доме. Нам тут хорошо. Капельку стыдно, что и говорить, но ведь это чистые условности. Или, вернее, предрассудки. Если вы хотите попытаться счастья, отчего же не попробовать найти его у нас? Все лучше, чем быть отставным унтер-офицером. Подставляем головки под ваши отеческие поцелуи.

Роза, Клер, Катрин.

P.S. Катрин протестует против слова «отеческие». Она живет с нами. И станет, если захотите, вашей третьей деткой».

Он решил вернуться в Алжир через Геную. Обычно людям необходимо забиться куда-нибудь подальше от всех перед тем, как принять важное решение и круто переломить свою жизнь; а вот Мерсо, отравленный одиночеством и неприкаянностью, больше всего нуждался в дружбе, доверии и сердечной теплоте, чтобы разыграть новую ставку в своей жизненной игре.

Сидя в поезде, уносящем его в Геную, он вслушивался в тысячи тайных голосов, которые распевали ему о грядущем счастье. При виде первого стройного кипариса на чистой полуденной земле он не выдержал и расплакался. Дали себя знать недавняя слабость и лихорадка. Но что-то в нем смягчилось и расправилось. И по мере того как солнце набирало высоту, море становилось все ближе, а с бездонных, сияющих, охваченных дрожью небес все неис-

товей струились на трепещущие оливы потоки золотого света, восторг, переполнявший этот мир, все теснее сливался с ликованием в сердце Мерсо. Перестук колес, дурацкая болтовня в переполненном купе, смех и песни вокруг — все это сливалось в радостную внутреннюю мелодию, баюкавшую его, пока он мчался вперед, даже не на юг, а куда глаза глядят, чтобы в конце концов очнуться среди оглушительной генуэзской разноголосицы, в пышущем здоровьем городе на берегу залива, где целыми днями шло нескончаемое сражение похоти и лени. Мерсо мучила жажда, ему хотелось любви, наслаждений, объятий. Одержимый палящими божествами, он прежде всего нырнул в море и, вдохнув полной грудью смешанный аромат смолы и соли, до потери сил плавал в маленькой бухточке неподалеку от порта. Потом пустился наугад по узким улочкам старого квартала, наслаждаясь пестротой красок, нежась под увесистым южным солнцем, отдыхая рядом с кошками среди помоек. Поднявшись на гору, возвышающуюся над Генуей, он увидел прямо перед собой необъятный простор залива, пронизанный свежестью и светом. Смежив веки, он крепко обнял горячий камень, на котором только что сидел, и снова распахнул глаза на этот крикливый город, кипевший избытком взбалмошной, грубоватой жизни. Со временем ему полюбили сидеть в полуденный час на ступеньках лестницы, ведущей в порт, провожать взглядом девушек, расходившихся по конторам. С бьющимся сердцем он смотрел на их обутые в сандалии ноги, на груди, свободно подрагивающие под легкими цветастыми платьями, и во рту у него пересыхало от страсти, утолив которую он обрел бы заодно со свободой и самооправдание. Вечером он встречал тех же девушек на улицах и шел следом, любуясь их бедрами, меж которых, свернувшись клубком, незримо устроился сгорающий от желания нежный и яростный зверь. Целых два дня его снедало это нечеловеческое возбуждение. На третий день он не выдержал и отплыл в Алжир.

Во время плавания он с утра до вечера оставался наверху, любуясь игрой волн и света, приучая сердце биться в лад с медленной пульсацией неба и так, мало-помалу, приходя в себя. Но он сознавал, что это выздоровление обманчиво. Растянувшись на палубе, он думал о том, что сейчас самое главное — не поддаваться сонной одуре, а бодрствовать, быть начеку, не доверять обманчивому

покою, к которому тянутся его душа и тело. Он должен создать свое счастье и найти ему оправдание. Теперь эта задача, разумеется, не казалась такой уж тяжелой. Странное спокойствие, овладевавшее Патрисом к вечеру, когда морской воздух внезапно свежел и первая звезда потихоньку проклевывалась в небесах, где зеленоватые отсветы, догорая, начинали отливаться желтизной — это спокойствие после великого смятения и бури говорило о том, что все темное и злое, таившееся в его душе, постепенно оседает на дно, и она становится прозрачной и ясной, исполненной только добра и решимости. Он ясно видел многое. Он долго надеялся на женскую любовь, но оказалось, что это — не его удел. Его жизнь, со службой в конторе, сонным прозябанием в запущенной комнате, с кабачками и любовницами, была посвящена лишь одному — поискам счастья, которое он, подобно всем остальным, считал, в сущности, недостижимым. Делал вид, будто ему хочется счастья, но никогда не стремился к нему осознанно и целенаправленно. Никогда, вплоть до того самого дня...

А начиная с того рокового мига, когда он хладнокровно рассчитанным поступком перевернул всю свою жизнь, счастье стало казаться возможным. Можно сказать, что он сам в муках породил свое новое «я». И не ценой ли осознания той унижительной комедии, которую играл до сих пор? Теперь он понимал, например, что привязывало его к Марте: не любовь, а только честолюбие. Даже чудо протянутых к нему губ было всего лишь удивлением перед осознавшей себя и пробудившейся к действию силой. Вся история его любви сводилась, в общем, к тому, что это первоначальное изумление сменилось уверенностью, а неприязнательность — тщеславием. Он, в сущности, любил вовсе не Марту, а те вечера, когда они шли в кино, где на нее тотчас устремлялись взоры публики: то был миг, когда он как бы хвастался ею перед всем миром. То была не любовь, а самолюбование, упоение своей силой, удовлетворение тщеславия. Даже его страсть, властное влечение к ее плоти коренились, может быть, в том же первоначальном чувстве изумления: подумать только, он обладает таким неповторимо прекрасным женским телом, может вытворять с ним что угодно! А теперь он сознавал, что создан не для такой любви, а для невинной и жуткой страсти черного божества, которому отныне служит.

Как это нередко случается, все то лучшее, что было в его жизни, кристаллизовалось вокруг самых худших ее проявлений. Клер со своими подружками, Загрей со своей волей к счастью, и рядом с ними — Марта. А теперь настал его черед напрячь волю и сделать шаг к собственному счастью. Но для этого нужно было время, а кому не известно, что обладание временем — это столь же заманчивая, сколь и опасная власть. Праздность вредит только заурядным личностям. Большинство людей не могли бы доказать, что не являются таковыми. Он же завоевал себе такое право. Дело за доказательствами. Изменилось в нем лишь одно. Он чувствовал себя свободным и от собственного прошлого и от того, что было им утрачено. И он принимал это самоутешение, это сжатие душевного пространства, это пылкое, но трезвое и терпеливое отношение к миру.

Ему хотелось, чтобы жизнь уподобилась куску теплого хлеба, который можно как угодно комкать и мять. Это и случилось в те долгие ночи на поезде, когда он, после бесконечных прений с самим собой, настроился жить заново. Обсасывать свою жизнь как леденец, придавать ей новую форму, оттачивать ее и, наконец, любить. К этому и сводилась вся его страсть. Свою принадлежность лишь самому себе он должен был отстаивать перед всем миром, отстаивать даже ценой одиночества, которое теперь давалось ему так нелегко. Но он не собирался отступать. Его опорой была решимость, а наградой — неистовый порыв к жизни — ждущая где-то любовь.

Море лениво терлось о борта корабля. Небо было перегружено звездами. И Мерсо, молча поглядывавший то на море, то на небо, чувствовал, что у него хватит сил любить эту жизнь, чей лик то окрашен слезами, то озарен солнцем, прозревать ее и в соленой волне и в горячем камне, восхищаться ею, ласкать ее изо всех сил своей любви и своего отчаянья. В этом была суть его нищеты и его неповторимого богатства. Он выглядел игроком, проигравшимся в пух и прах и начинающим новую партию с полным сознанием своих сил и с отчаянной, но трезвой готовностью заглянуть в лицо судьбе.

А потом был Алжир, медленное наступление утра, ослепительные потеки зари на стенах Старого города, окрестные холмы и небо над ними, широко раскинутые руки залива, дома среди деревьев и запах уже близкого порта.

И тут Мерсо подумалось, что после отъезда из Вены он ни разу не вспомнил о Загрее как о человеке, которого убил собственными руками. Стало быть, он наделен тем даром забвения, которым может похвастаться лишь ребенок, гений да блаженный. И вот тогда-то, ошалев от радости, этот блаженный понял, что он сотворен для счастья.

III

Патрис и Катрин завтракали на залитой солнцем террасе. Катрин была в купальном костюме, а «мальчик», как его называли подружки, — в трусах и с повязанной на шее салфеткой. Они ели помидоры с солью, картофельный салат, мед и особенно налегали на фрукты. Беря персики из миски со льдом, прежде всего слизывали сладкие капельки, проступившие на их бархатистых боках. Отдавали должное и виноградному соку, пили его, обратив лица к солнцу, чтобы поскорее загореть (по крайней мере именно так поступал Патрис, знавший, что загар ему идет).

— Чувствуешь солнце? — спросил он, протянув руку к девушке. — Оно прямо-таки лижет кожу.

— Конечно, — отозвалась Катрин. — И мне тоже лижет.

Мерсо потянулся, почесывая себе бока. А Катрин улеглась на живот и спустила купальник до самых бедер.

— Это тебя не смущает?

— Да нет, — отозвался он, даже не посмотрев в ее сторону.

Солнце раскалилось и застыло на его лице. Всеми порами своей влажноватой кожи он впитывал этот уже переполнивший его усыпительный жар. Глотнув очередную порцию солнца, Катрин простионала:

— Как хорошо!

— Угу, — подтвердил Мерсо.

Дом цеплялся за вершину холма, откуда был виден залив. В округе его прозвали «Домом трех студенток». Добраться до него можно было по каменистой дороге, начинавшейся и кончавшейся среди двух оливковых рощ. А посередине она расширялась, образуя нечто вроде площадки, вдоль которой тянулась стена, покрытая непристойными рисунками и политическими лозунгами; усталый путник мог перевести здесь дух, разглядывая эти художества. Затем опять шли оливы, меж их ветвей скво-

зило небо, напоминавшее по цвету подсиненное белье, а с опаленных лугов, где сушились лиловые, желтые и красные полотна, доносился запах мастиковых деревьев. Когда взмокший и еле переводящий дыхание путник добирался до ограды и, стараясь увернуться от когтей бутенвилей, толкал голубую калитку, ему еще оставалось подняться по страшно крутой, но залитой сизой тенью лестнице, где уже не так мучила жара. Роза, Клер, Катрин и Мерсо называли свое жилище «Домом перед лицом Мира». Открытый на все четыре стороны света, он смахивал на кораблик, подвешенный в ослепительном небе над многоцветной пляской мира. Зародившись в самом низу, на мягко изогнутом побережье, какой-то неведомый порыв трепал залитые солнцем травы и гнал наверх, к самому подножию дома, толпы кипарисов и пиний, пыльных олив и эвкалиптов. В самой сердцевине того жертвенника, к которому они стремились, цвели, сменяя друг друга, то белый шиповник, то мимоза, не говоря о жимолости, чей аромат в летние вечера так и обдавал стены Дома. Залив широко раскрывал объятия его красной черепице и белым простыням на ветру, всему этому бурному торжищу красок и света, что раскинулось под небом, натянутым без единой морщинки от края до края горизонта. А вдали, не давая вконец разгуляться хмельному великолепию округи, залив замыкали крайние отроги высоких сиреневых гор. Кто, увидев все это, стал бы жаловаться на крутую дорогу и усталость? Дом был радостью, которую хотелось завоевывать вновь и вновь, изо дня в день.

Живя вот так, наедине с миром, чувствуя его весомость и значительность, следя, как его лицо то озаряется рассветом, то гаснет, чтобы наутро вновь вспыхнуть во всей своей юной красе, четверо обитателей Дома постоянно ощущали его живое присутствие, которое было для них одновременно и наказанием и оправданием. Мир представлял здесь подобием человеческой личности, чье бесстрашие отнюдь не исключает любви, личности, к которой так и тянет обратиться за помощью и советом. И они нередко призывали его в свидетели.

— Мы вместе с миром никак не можем вас одобрить, — говорил, бывало, Патрис по поводу какого-нибудь пустяка.

Катрин, считавшая загорание нагишом вызовом пред-
рассудкам, пользовалась отсутствием Мерсо, чтобы, раз-

девшись догола, понежиться на террасе. А потом, сидя за столом и следя за изменчивыми тонами неба, с чувственной гордостью изрекала:

— Я была нагой перед лицом мира.

— Ничего удивительного, — бросал свысока Патрис, — ведь женщины в силу своей природы предпочитают идеи чувствам.

Катрин тут же вскидывалась: она вовсе не хотела прослыть интеллектуалкой. А Роза и Клер хором восклицали:

— Замолчи, Катрин, ты не права.

Она была всеобщей любимицей, и поэтому все считали своим долгом постоянно ее одергивать. У нее было красиво очерченное литое тело цвета хорошо пропеченного хлеба и прямо-таки животный нюх на все самые важные в мире вещи. Никто лучше нее не разбирался в глубинном языке деревьев, моря и ветра.

— Наша малышка, — говорила Клер, не переставая жевать, — это живое воплощение одной из природных сил.

После обеда все отправлялись на солнышко, чтобы позагорать и помолчать. Человек ослабляет силу человека. Мир укрепляет ее. Роза, Клер, Катрин и Патрис, связанные между собой дружбой и нежностью, жили смеясь и играючи, любовались пляской неба и моря, находя в них тайный отсвет своей судьбы и постигая собственную глубинную суть. Иногда к хозяевам присоединялись кошки. Особенно хороша была Гуля: этакий вечно настороженный вопросительный знак с зелеными глазами и черной шерстью. Худенькая и деликатная, она временами словно сходила с ума и начинала сражение с собственной тенью.

— Девочку мучают гормоны, — говорила Роза.

Потом она заливалась смехом, откинув кудрявую голову, весело прищулив глаза, скрытые круглыми стеклами очков, и смеялась до тех пор, пока Гуля в знак особой милости не бросалась ей на колени. Нежно поглаживая шелковистую шерстку, Роза понемногу успокаивалась, расслаблялась, сама становилась похожей на огромную ласковую кошку, а вместе с ней затихала и Гуля. Кошки были слабостью Розы, ее дверью в мир, ее «пунктиком», таким же, как нагота Катрин. Любимцем Клер был кот грязно-белой масти по кличке Кали. Уступчивый, простоватый, он терпеливо сносил любые издевательства. Вволю наигравшись с ним, Клер проявляла наконец великодушие

и отпускала бедное животное на волю. Лицо Клер походило на старинную флорентийскую медаль. Молчаливая и замкнутая, она могла иногда резко вспылить. Аппетит у нее был завидный. Глядя, как она полнеет, Патрис ворчал:

— Глаза б мои на это не смотрели. Красивая женщина просто не имеет права дурнеть.

— Оставь в покое ребенка, — встревала в разговор Роза. — А ты, Клер, ешь и не слушай его.

А ласковое солнце день за днем обходило всю округу от восхода до заката, сияя то над холмами, то над морем. Обитатели Дома веселились, шутили, строили планы на будущее. Посмеивались над правилами приличия, но делали вид, что подчиняются им. Патрис переводил взгляд с лица Мира на лица своих подруг, то улыбочивых, то серьезных. И временами поражался тому, как же возникла вокруг него вся эта вселенная. Доверие и дружба, солнце и белые дома, намеки, понятные с полуслова, — вот что было источником того чистого счастья, чей отзвук переполнял его душу. «Дом перед лицом Мира, — говорили они между собой, — это не пристанище для забав, а обитель счастья». Особенно хорошо Патрис чувствовал себя по вечерам, когда вместе с последним ветерком их оведало по-человечески понятное, но опасное искушение не быть похожими ни на кого.

Сегодня, приняв солнечную ванну, Катрин отправилась в контору. А невесть откуда взявшаяся Роза сказала Патрису:

— Дорогой мой, у меня есть для вас хорошая новость.

Патрис валялся на диване с детективным романом в руках.

— Я слушаю, милая Роза.

— Сегодня ваша очередь дежурить на кухне.

— Хорошо, — отозвался Патрис, не трогаясь с места.

Роза ушла, прихватив с собой студенческий ранец, в котором оставшиеся от завтрака перцы соседствовали с третьим томом скучнейшей «Истории» Лависса. Патрис, которому надо было приготовить чечевичу, до одиннадцати часов слонялся по самой большой комнате со стенами, выкрашенными охрой, заставленной диванами и этажерками, увешанной зелеными, желтыми и красными масками и шелковыми тканями с причудливым узором, потом спешно поставил вариться чечевичу, плеснул на сковородку масла, покрошил луковицу и помидор, словом, приготовил приправу, с непривычки устал и накричал на Гулю

и Кали, которые громко требовали еды, несмотря на то, что Роза еще вчера пыталась им втолковать:

— Знайте, звери, что летом слишком жарко, а жара отбивает аппетит.

Без четверти двенадцать вернулась Катрин, на ней было легкое платье и открытые сандалии. Ей нужно было принять душ, обсохнуть на солнце и только после всего этого она собиралась сесть за стол.

— Ты просто невыносима, Катрин, — строго сказала Роза.

Из ванны доносился плеск воды, когда появилась запыхавшаяся Клер.

— Вы готовите чечевицу? У меня есть отличный рецепт...

— Я знаю. Нужно взять свежие сливки. Ну, и так далее. Разве не так, милая моя Клер?

Так оно и было, потому что все кулинарные рецепты Клер неизменно начинались со свежих сливок.

— Он, как всегда, прав, — заявила вошедшая в комнату Роза.

— Разумеется, — подтвердил Патрис. — А теперь — все за стол.

Они обедали на кухне, одновременно служившей складом всякой всячины. Там был даже блокнот для записи изречений Розы. Заявив, что нужно держаться попроще, Клер стала есть колбасу руками. Потом с изрядным опозданием притащилась Катрин, у нее была недовольная и жалобная мина, а глаза совсем сонные. Ей не хотелось вспоминать, что она по восемь часов в день просиживает в конторе за пишущей машинкой, отрывая эти часы от жизни. Подружки понимали ее и думали о том, во что превратилась бы их собственная жизнь, если бы им тоже пришлось работать. Патрис помалкивал.

— Да, — сказала Роза, не признававшая никаких сантиментов, — а все-таки работа тебя заела. Ты только и говоришь целыми днями о своей конторе. Мы лишим тебя права голоса.

— Но, позвольте... — вздохнула Катрин.

— В таком случае давайте проголосуем. Один, два, три — большинство против тебя.

— Ничего не попишешь, — подвела итог Клер.

Чечевица оказалась пересохшей, ели ее молча. Когда на кухне дежурила Клер, то, пробуя блюдо за столом, она всегда с довольным видом восклицала: «Просто великолепно», а вот Патрис, желая сохранить достоинство, по-

малкивал до тех пор, пока все остальные не расхохотались. Тогда Катрин, которая была явно не в духе, заявила, что будет добиваться сорокачасовой рабочей недели и попросила, чтобы ее проводили в местное отделение Всемирной конфедерации труда.

— Нет уж, — возразила Роза, — ты трудишься, ты туда и обращайся.

Вконец расстроенная «природная сила» пошла поваляться на солнышке. Скоро за ней последовали и все остальные. Рассеянно перебирая локоны Катрин, Клер думала о том, что «этому ребенку» не хватает, в сущности, только одного — мужчины. В «Доме перед лицом Мира» было принято решать за Катрин ее судьбу, думать, в чем она нуждается, а в чем нет. Сама она иной раз заявляла, что она уже большая и т. д., но ее никто и слушать не хотел. «Бедняжке нужен любовник», — говорила Роза.

Потом все улеглись загорать. Катрин, не умевшая долго хранить обиду, стала пересказывать конторские сплетни относительно некоей мадемуазель Перез, высокой блондинки, которая, собираясь замуж, наводила справки в связи с этим событием и наслушалась таких скабрёзных историй от проезжих шутников, что, вернувшись из свадебного отпуска, заявила: «Все это было не так уж страшно». «А ведь ей уже тридцать лет», — с жалостью добавила Катрин.

С неодобрительным видом выслушав все эти рискованные истории, Роза сказала:

— Послушай, Катрин, но мы-то все еще не замужем...

В это время над городом, поблескивая металлом, пролетел почтовый самолет. Войдя в зыбкое воздушное пространство над морем, он описал дугу, такую же крутую, как и сам залив, и потом резко клюнул носом и словно нырнул глубоко в воду, подняв целый фонтан голубовато-белой пены. Гуля и Кали растянулись на солнцепеке, разинув свои змеиные пасти так, что видно было розовое небо. Их бока вздрагивали от напора сладких и соблазнительных грез. Небосвод готов был обрушиться на землю под грузом пылающего солнца. Лежа с закрытыми глазами, Катрин мысленно переживала это бесконечное падение, и ей казалось, будто она сама летит куда-то вниз, где в глубине ее существа тихонько шевелится и дышит зверь, похожий на бога.

На следующее воскресенье у них ожидалась гости. Клер должна была заняться стряпней. Роза почистила

овощи, приготовила посуду и стол; Клер присматривала за плитой, почитывая книгу. Поскольку прислуга, мавританка Мина, в это утро не явилась — у нее в третий раз за год пропал отец, — Роза взяла на себя уборку дома. И вот, наконец, начали сходиться гости. Первой явилась Элиана, студентка, которую Мерсо звал идеалисткой. «Почему?» — удивлялась она. «Потому что, услышав неприятную для вас, но правдивую историю, вы говорите: это хоть и правда, но нехорошо». Простодушная Элиана считала, что она похожа на «Человека в перчатке», хотя все остальные это сходство отрицали. Так или иначе, но ее комната была сплошь увешана репродукциями с этой картины. Появившись в первый раз в «Доме перед лицом Мира», она заявила, что восхищена «отсутствием предрассудков» у его обитателей. Но со временем это «отсутствие» перестало казаться ей столь уж привлекательным. Ведь оно, в сущности, сводилось лишь к тому, что обитатели Дома считали ее рассказы пустыми и скучными бреднями, да то и дело любезнейшим тоном повторяли: «Элиана, вы настоящая ослица». Заглянув на кухню вместе с еще одним гостем, Ноэлем, скульптором по профессии, Элиана наткнулась на Катрин, которая любила заниматься стряпней в самой необычной позе. Вот и сейчас она, лежа на спине, одной рукой обрывала виноград с грозди, а другой помешивала еще не успевший остыть майонез. А Роза, облаченная в широкий синий фартук, восхищенно поглядывала на Гулю, вспрыгнувшую на крышку кастрюли и показывавшую тем самым, как она проголодалась.

— Просто не верится, до чего же умное животное, — повторяла сияющая от восторга Роза.

— Да, — подтвердила Катрин, — сегодня она превзошла самое себя. — И добавила: — До того поумнела, что разбила за одно утро маленькую зеленую лампу и вазу для цветов.

Тем временем Элиана и Ноэль, слишком уставшие, чтобы выразить свое негодование, решили присесть, так и не дождавшись, когда хозяева сами предложат им это. На кухне появилась любезная и томная Клер, пожала гостям руки и, попробовав кипевший на плите буйабес¹, нашла, что пора подавать на стол. Патрис запаздывал, но вот наконец появился и он и принялся скороговоркой

¹ Рыбная похлебка с приправами.

объяснять Элиане, отчего у него такое хорошее настроение. Оттого, оказывается, что улицы сегодня полны хорошеньких женщин. Жаркий сезон еще только начинается, а уже появились легкие платья, еле скрывающие тугие трепетные тела. И когда он, Патрис, смотрит на все эти прелести, у него пересыхает во рту, кровь стучит в висках и жаркой волной приливает к чреслам. Стыдливая Элиана не нашлась, что ответить на эти откровения, и промолчала. Неловкое молчание продолжалось и в начале обеда, пока Клер несколько жеманно и очень отчетливо не выговорила:

— Мне кажется, что буйабес отдает горелым луком.

— Ничего подобного, — с неизменным добродушием возразил Ноэль.

И тут Роза, словно пытаясь определить меру его доброты, стала выпрашивать у него разные полезные для дома вещи, такие как колонка для ванны, персидский ковер и холодильник. Ноэль посоветовал ей купить лотерейный билет и как следует помолиться, чтобы он выиграл.

— Так мы и сделаем, — философски заключила Роза.

Было жарко, и эта благодатная густая жара только подчеркивала вкус ледяного вина и поданных на десерт фруктов. Во время кофе Элиана отважилась завести речь о любви. Если она полюбит, то непременно выйдет замуж. На это Катрин заявила ей, что влюбленным прежде всего нужно заниматься любовью, чем заставила ее передернуться от возмущения. Более практичная Роза сказала, что согласилась бы с Элианой, если бы опыт не подсказывал, что брачные узы губят любовь.

Но Элиана и Катрин уже не слушали ее, втянувшись в словесную перепалку и осыпая друг дружку несправедливыми обвинениями, что вполне соответствовало их темпераменту. Ноэль, мысливший, как и подобает скульптору, образно и четко, заявил, что верит в женщину, в детей и в патриархальные истины устойчивой семейной жизни. Тогда Роза, выведенная из себя криками Элианы и Катрин, сделала вид, будто до нее только что дошла истинная причина чересчур частого появления Ноэля у них в Доме.

— Благодарю вас за откровенность, — прошипела она, — но мне трудно даже сказать, до какой степени это открытие меня потрясло. Я завтра же поговорю с моим отцом о «нашем» плане, а вы через несколько дней сможете высказать ему свою просьбу.

— Но позвольте, — пролепетал Ноэль, не понимавший, к чему клонит Роза. А та продолжала, все больше и больше взвинчивая себя:

— Я отлично все знаю, так что вы можете и не говорить. Вы из тех, что помалкивают и ждут, когда другие догадаются, что у вас на душе. И все-таки приятно, что вы наконец-то открылись, а то ведь вы так зачастили к нам, что эти визиты начали бросать тень на мою репутацию.

Заинтригованный и слегка обеспокоенный Ноэль заявил, что очень рад тому, что его старания увенчались успехом.

— Не говоря уже о том, — вмешался в разговор Патрис, закуривая сигарету, — что вам пора пошевелиться. Состояние Розы таково, что медлить уже нельзя.

— Что-что? — переспросил Ноэль.

— О господи, — вздохнула Клер, — да мы же только на втором месяце.

— И не забывайте, — вкрадчиво проворковала Роза, — что вы уже в том возрасте, когда можно быть счастливым, узнавая себя в чужом ребенке.

Ноэль слегка поморщился, а Клер — вот добрая душа! — поспешила успокоить его:

— Все это просто шутка. Так ее и нужно воспринимать. Пойдемте-ка лучше в гостиную.

А там спор о высоких материях сразу угас. Правда, Роза, делавшая добрые дела потихоньку, успела о чем-то переговорить с Элианой. Патрис подошел к окну, Клер встала у стола, а Катрин улеглась на циновку. Остальные уселись на диван. Над городом и портом сгустился туман. Но буксирные суда продолжали свою работу, и их протяжные гудки долетали сюда вместе с запахами асфальта и свежей рыбы, напоминая о бодрствующем где-то внизу мире красных и черных корабельных корпусов, проржавевших кнехтов и облепленных водорослями якорных цепей. Как всегда, мужественный и суровый звук гудков казался голосом самой жизни, в котором чувствовалось и искушение, и прямой призыв. Элиана печально сказала Розе:

— Да ведь вы, в сущности, ничем от меня не отличаетесь.

— Нет, — возразила Роза, — я хочу только одного: быть счастливой, как можно более счастливой.

— А любовь — не единственное условие для этого, — вставил Патрис, не оборачиваясь от окна.

Он питал к Элиане самые теплые чувства и корил себя за то, что так огорчил ее. Но в то же время понимал желание Розы быть счастливой.

— Это довольно жалкий идеал, — заметила Элиана.

— Жалкий или нет — не мне судить, — но во всяком случае вполне здравый. А это, видите ли... — Патрис запнулся на полуслове.

Чуть прищурившись, Роза принялась гладить по головке вскочившую к ней на колени Гулю. Казалось, что они обе — неподвижно сидящая женщина и кошка — смотрят на мир одинаковыми глазами. Их грезы прерывались только протяжными гудками буксирных судов. Гуля свернулась клубком и замурлыкала. Веки Розы мало-помалу наливались дремотным теплом, она погружалась в тишину, нарушаемую лишь ударами собственного сердца. Кошки спят целыми днями, зато всю ночь, от первой звезды до рассвета, отдают любовным похождениям. Они знают, что тело наделено своей собственной, особой душой, не имеющей отношения к тому, что обычно именуют этим словом.

— Да, — повторила Роза, открывая глаза, — нужно быть счастливой, как можно более счастливой.

А Мерсо думал о Люсьене Рейналь. Недавно обмолвившись о встреченных им на улице красотках, он имел в виду именно ее. Он познакомился с ней у друзей. Неделю спустя, погожим жарким утром, они вместе вышли в город и, не зная как убить время, долго слонялись по бульварам вдоль набережных. За все время прогулки она не обронила ни слова, так что Мерсо был даже несколько удивлен, когда она на прощанье улыбнулась и крепко пожала ему руку. Довольно высокая, простоволосая, она носила открытые сандалии и белое парусиновое платье. Когда они шагали по бульварам, в лицо им дул легкий ветер. При этом платье плотно прилегало к ее телу, подчеркивая плоский живот. Зачесанные назад белокурые волосы, короткий прямой нос, великолепная грудь, уверенные движения, — все в ней дышало какой-то таинственной связью с землей, с окружающим миром. Когда она, помахивая сумочкой в правой руке, украшенной серебряным браслетом, который позвякивал о застежку, поднимала левую ладонь к глазам, заслоняясь от солнца, и легко отрывала от земли правую ступню, Мерсо казалось, что все ее жесты неотделимы от гармонии мира.

Он на удивление легко приноровился к походке Люсьены, отчасти, быть может, потому, что на ней были сандалии без каблуков. Но кроме этого он чувствовал, что в их поступи, размашистой и легкой, есть что-то схожее. В то же время замкнутое лицо и упорное молчание Люсьены не ускользнули от его внимания. Он подумал, что она, должно быть, не очень умна, и только порадовался этому. В бездуховной красоте есть нечто божественное, и Мерсо, как никто другой, мог оценить этот парадокс. Именно поэтому он и задержал в тот раз ее пальцы в своих ладонях, а потом они стали встречаться все чаще и так же молча гулять, подставляя загорелые лица солнцу или звездам, купаясь в их свете и ничего, кроме этих прогулок, не требуя друг от друга. Так оно и продолжалось до вчерашнего вечера, когда Мерсо внезапно обрел утраченное было ощущение чуда, прикоснувшись к губам Люсьены. До сих пор Мерсо волновала ее манера цепляться за его одежду, идти рядом, взяв его под руку, ее непринужденность и доверчивость — все это возбуждало его мужское самолюбие. А в ее молчании, благодаря которому выглядело особенно выразительным каждое ее движение, казался серьезным любой ее поступок, мерещилось что-то кошачье. Вчера, ближе к ночи, он прогуливался с ней по набережной. В какой-то миг, когда они остановились у ограды бульвара, Люсьена прильнула к нему. Во тьме он почувствовал под своими ладонями ее прохладные крутые скулы и нежные, дышащие теплом губы. И тогда глубины его существа потряс безмолвный вопль, отрешенный и страстный. Перед лицом ночи, до отказа набитой звездами, перед лицом города, полного рукотворных огней, под горячим и глубоким дыханием порта, обдававшим его лицо, им овладело неистовое желание сорвать с этих живых губ весь смысл мира, бесчеловечного и сонного, как немота, сковавшая ее уста. Он склонился над ней — и ему показалось, что он коснулся губами птицы. Люсьена застонала. Он впился в ее губы и, миг за мигом, не отрываясь, впивал их теплоту, пьянившую его так, словно он сжимал в объятиях целый мир. А она цеплялась за него как утопающая, то выныривая из бездны и отталкивая его губы, то снова приныкая к ним, и погружалась в ледяные черные воды, палившие ее, словно целый сонм богов...

Тем временем Элиана собралась уходить. Долгая после-полуденная пора, исполненная тишины и размышлений, ждала Мерсо в его спальне. За ужином все играли в молчанку. Но потом, словно сговорясь, дружно вышли на террасу. Черета дней непрерывна. Только что над заливом клубился утренний, пронизанный солнцем туман, — и вот уже над тем же заливом спускается тихий вечер. День занимается над морем и меркнет за горами, потому что небо — это всего лишь дорога, пролегающая между морем и горной цепью. Мир извечно твердит только одну фразу, которая поначалу кажется заманчивой, а потом — надоедливой. Но наступает время, когда он покоряет нас этим бесконечным повторением и получает награду за свое упорство. Именно поэтому каждый день, проведенный в «Доме перед лицом Мира», день, затканый роскошным узором улыбок и простых жестов, заканчивался на террасе перед лицом ночи, разбухшей от звезд. Все устраивались в шезлонгах, а Катрин забиралась на низкую каменную ограду.

В серебристом таинственном небе сиял темный лик ночи. Далеко в порту мелькали огоньки, откуда-то доносилось приглушенное скрежетание трамваев. Звезды то разгорались, то угасали, то меркли, то вспыхивали вновь, складываясь в зыбкие узоры, которые тут же распадались, уступая место другим. Объятая тишиной ночь обретала тяжесть и невесомость живой плоти. Пронизанная скольжением звезд, она завораживала взгляд игрой огней, от которых на глаза наворачивались слезы. И каждый, устремляя взор в глубину небес, в ту точку, где сходятся все крайности и противоречия, мучился тайной и сладкой мыслью о своем одиночестве в этой жизни.

Катрин, чуть не задохнувшаяся от внезапного прилива любви, негромко всхлипнула. Чувствуя, что в его голосе звучит фальшь, Патрис осведомился:

— Вам не холодно?

— Нет, — ответила за нее Роза. — И потом, здесь так хорошо.

Клер встала, оперлась руками о стену и обратила лицо к небу. Вглядываясь в первозданное благородство мира, она уже не осознавала, где пролегла грань между ее жизнью и жадной жизни, где ее надежда вплеталась в хоровод звезд. Резко обернувшись, она сказала Патрису:

— Кто полностью доверяет жизни, тому она волей-неволей отвечает тем же.

— Разумеется, — отозвался, не глядя на нее, Патрис.

Промелькнула падающая звезда. Вслед за тем в непроглядной ночи ярче засиял отблеск далекого маяка. По дороге молча поднималось несколько человек, было слышно только их дыхание и звук шагов. Чуть погодя долетел аромат цветов.

Мир вечно твердит одну и ту же фразу. И на этом терпеливом повторении, на этой истине, ведущей от звезды к звезде, зиждется свобода, избавляющая нас от самих себя. Но вторая ее опора — это столь же упорная истина, ведущая от смерти к смерти. Думая об этом, Патрис, Катрин, Роза и Клер проникались сознанием счастья, порожденного их слиянием с миром. Эта ночь казалась им символом их судьбы, и они хотели, чтобы судьба эта была и целомудренной, и страстной, чтобы на лице ее блеснули слезы и солнце и чтобы их полные скорби и радости сердца усвоили этот двойной урок, ведущий к счастливой смерти.

Было уже поздно, время перевалило за полночь. Чело ночи, таящей в себе покой и мысль мира, слегка потускнело, смутный шепот созвездий уже возвещал близкий рассвет. С переполненными светилами высоты струился трепетный отблеск. Патрис оглядел своих подруг: Катрин сжалась в комочек на ограде, откинув голову назад; Роза забилась в шезлонг, поглаживая Гулю; Клер стояла как вкопанная у стены дома, на ее выпуклом лбу светилось серебристое пятно. Юные, созданные для счастья, они делились друг с другом молодостью, но не душевными тайнами. Патрис подошел к Катрин и поверг ее плеча, слепленного из плоти и солнца, взгляделся в округлость небес. Роза тоже приблизилась к ограде, теперь все четверо оказались перед лицом Мира. Им чудилось, будто свежая ночная роса смыла с лиц приметы одиночества и, освободив этим трепетным и мимолетным омовением от самих себя, вернула миру. В этот час, когда ночь до краев полна созвездий, их жесты запечатлелись на огромном и немом лике небес. Патрис воздел руки в вышину, всколыхнув целые гроздья звезд. Влага небес струилась по его плечам, под ногами спал Алжир, а вокруг искрился темный плащ небосвода, усыпанный драгоценными камнями и цветными раковинами.

Ранним утром Мерсо вел машину вдоль побережья, высвечивая дорогу подфарниками. На выезде из города навстречу ему попала подвода молочника, и, вдохнув острый запах конского пота, он с особенным наслаждением ощутил всю свежесть наступающего утра. Было темно. Последняя звезда медленно таяла в небе, слышалось только довольное урчание мотора, да порой доносился издали конский топот и дребезжание бидонов на встречной повозке, а чуть погодя предутренние потемки озарялись искрами, летящими из-под копыт. Потом все снова тонуло в свисте ветра и шуме мотора. Чем быстрее он ехал, тем скорей наступал день.

Из глубин ночи, притаившейся меж холмов вокруг Алжира, машина вырвалась на пустынную дорогу, идущую над морем, где уже круглился рассвет. Мерсо гнал автомобиль на предельной скорости. Шины слегка причмокивали на влажном от росы асфальте, а на каждом повороте пронзительно скрежетали, и тогда ровное пофыркивание мотора на какой-то миг заглушало тихий голос прибора, плескавшегося где-то внизу. Только в самолете человек чувствует себя еще более одиноким, чем в машине. Целиком предоставленный самому себе, внимательно следящий только за точностью своих движений, Мерсо мог в то же время погрузиться в размышления. Тем временем над дорогой все ярче и ярче разгорался рассвет. Выходило солнце, а вместе с ним просыпались пустынные и молчаливые поля, наполняясь щебетом птиц и стрекотанием насекомых. Иногда навстречу бешено мчащейся машине попадался какой-нибудь крестьянин, тяжело ступавший по вязкой и жирной земле, оставаясь в памяти Мерсо силуэтом с мешком на спине. Автомобиль то и дело взлетал на склон очередного холма, откуда было видно море. Холмы росли на глазах: их очертания, поначалу намеченные вдалеке легкой тенью, стремительно приближались, обрастая деталями, среди которых Мерсо различал оливковые рощи, пинии, выбеленные известковые домишки. А за следующим поворотом машина оказывалась прямо над вздувшимся от прилива морем; оно поднималось навстречу Мерсо, неся ему свои дары: сонную соленую влагу и солнечный румянец. Просвистев по дороге, машина уносилась дальше, к новым холмам над вечно неизменным морем.

Месяцем раньше Мерсо объявил, что решил покинуть «Дом перед лицом Мира». Он хотел сначала попутешествовать, а потом обосноваться где-нибудь в окрестностях Алжира. Но уже через пару недель он вернулся, убедившись, что путешествия теперь не для него: слишком уж беспокойное это удовольствие. А кроме того, он чувствовал, что в нем копится какая-то темная усталость. Он поспешил воплотить в жизнь давнишнюю мечту: купить себе небольшой домик между побережьем и горами, в Шенуа, в нескольких километрах от развалин Типасы. Вернувшись в Алжир, он прежде всего позаботился о своем статусе в глазах людей. Приобрел себе солидный пакет акций одной немецкой фармацевтической фирмы, нанял служащего, поручив ему финансовые дела, и оправдал тем самым свои частые отлучки из Алжира и свой независимый образ жизни. Впрочем, дела фирмы, с которой он связался, шли не бог весть как, и ему приходилось мириться с дополнительными расходами, воспринимая их как неизбежную плату за свою неограниченную свободу. Ведь главное было достигнуто: он предстал перед людьми в том обличье, которое было им понятно. Лень и малодушие сделали все остальное, ибо порой независимость обретается ценой мнимой откровенности. Затем он занялся судьбой Люсьены.

Родителей у нее не было, она жила одна, служила секретаршей в какой-то конторе при угольной шахте, питалась исключительно фруктами и занималась физкультурой. Мерсо попробовал давать ей книги. Она возвращала их, ни слова не говоря, а на все вопросы отвечала: «Да, мне понравилось» или «Немножко мрачновато». Накануне отъезда он предложил ей сожителство, но уточнил, что она должна, бросив работу, оставаться в Алжире и навещать его только тогда, когда ему этого захочется. Высказано все это было таким тоном, чтобы Люсьена не сочла себя униженной, да, собственно, ничего унижительного в его словах и не содержалось. Люсьена, схватывавшая некоторые вещи не умом, а каким-то животным чутьем, согласилась на его предложение.

— Я могу вам обещать и законный брак, — добавил Мерсо, — если это так уж важно. Но мне лично он кажется бессмысленным.

— Все будет так, как вы хотите, — ответила Люсьена.

Через неделю они поженились, и он тут же собрался уезжать. А Люсьена тем временем купила себе оранжевое каноэ для морских прогулок.

...Мерсо рванул руль в сторону, чтобы не раздавить заезжавшую среди дороги курицу. Он думал о недавнем разговоре с Катрин. То был его последний день в «Доме перед лицом Мира» — следующую ночь он провел уже в гостинице.

Тогда, после полудня, он выглянул в окно. Утром прошел дождь, залив был похож на чисто вымытую, сияющую витрину, а небо напоминало свежевывстиранное белье. Продолговатый мыс, замыкавший кривизну залива, вырисовывался с поразительной четкостью, золотясь под солнечными лучами, он уходил в море словно исполинский змей. Патрис кончил укладывать чемоданы и, распахнув оконные створки, жадно вглядывался в новое рождение мира.

— Не понимаю, зачем тебе ехать, если ты так счастлив здесь, — сказала ему Катрин.

— Боюсь, малышка, что здесь меня могут полюбить, а это помешало бы моему счастью.

Катрин свернулась на диване и, чуть склонив голову, поглядывала на Патриса прекрасными бездонными глазами.

— Сколько людей усложняют себе жизнь, измышляют собственные судьбы, — не оборачиваясь, продолжал Мерсо. — Со мной все куда проще. Ты только посмотри...

Он говорил, стоя лицом к миру, и поэтому Катрин чувствовала себя одинокой. И все-таки не переставала любоваться длинными пальцами Патриса, вливавшимися в оконные створки, его стройной осанкой, а больше всего — но уже только мысленно — его взглядом, устремленным на море и небо.

— Мне бы так хотелось... — начала было Катрин, но запнулась на полуслове, не отрывая глаз от Патриса.

Пользуясь затишьем, в море начали появляться парусные суденышки. Проходя по фарватеру, они наполняли его плеском своих полотняных крыльев, а потом устремлялись в открытое море, оставляя за собой пенистые борозды. С того места, откуда на них смотрела Катрин, они казались ей стайей белокрылых птиц, вьющихся вокруг Патриса. Он, наконец, почувствовал на себе ее безмолвный взгляд. Обернулся, взял за руки, привлек к себе.

— Никогда и ни от чего не отрекайся, Катрин. В тебе тьма разных достоинств, и самое драгоценное из них —

это чувство счастья. Только не жди, что счастье придет вместе с мужчиной. Сколько женщин совершают такую ошибку! Счастье — в тебе самой, нужно лишь дожидаться его.

— Да я и не жалею, Патрис, — тихо сказала Катрин, обнимая его. — Сейчас мне важно лишь одно. Чтобы ты поберег себя.

Только тут он по-настоящему почувствовал, на каком волоске висит вся его самоуверенность. Сердце сжалось от тоскливых предчувствий.

— Не стоило бы говорить об этом сейчас.

Он схватил чемодан и, сойдя по крутой лестнице, зашагал вниз по дороге, вьющейся между двумя оливковыми рощами. Впереди его ждал Шенуа, развалины Типасы, проросшие полянку, а еще — любовь, не отмеченная ни надеждой, ни отчаяньем, да воспоминания о прежней жизни, отдающие уксусом и цветочным ароматом. Он обернулся. Катрин, молча и не шелохнувшись, смотрела на него с высоты холма.

Часа через два Мерсо добрался до Шенуа. В этот миг последние лиловые тени ночи еще скользили по его уходящим прямо в море откосам, а на вершинах уже загорались красные и желтые отблески зари. В этом месте приземистые Сахельские холмы, тянущиеся до самого горизонта, вспучивались подобно хребту огромного зверя, чтобы затем низвергнуться с высоты в морскую пучину. Купленный Патрисом дом стоял на последних отрогах, в сотне метров от золотистой, пышущей жаром воды. Дом был двухэтажный, наверху располагалась всего одна, но зато просторная комната, выходящая с одной стороны на сад перед домом, а с другой — на продолговатую террасу с видом на залив. Мерсо прошел прямо туда. Море уже начало дымиться, его синева становилась все глубже, а ярко-красные плиты, устилающие террасу, с каждым мигом все сильнее рдели и блистали. Выбеленную известкой балюстраду обвивали побеги великолепных роз, украшенные первыми цветами. Розы были белыми, и те из них, чьи распустившиеся бутоны отчетливо выделялись на фоне моря, таили в себе какую-то особенную, почти плотскую упругость и пышность. Одна из нижних комнат выходила на первые отроги Шенуа, поросшие фруктовыми деревьями, а две других — на сад и море. В саду росли две пинии, вздымавшие в небо стволы непомерной высоты, увенчанные желтовато-зелеными кронами. Из дома про-

смаатривалось только пространство между деревьями да излучина залива. Мерсо долго следил, как появившийся на горизонте крохотный пароходик понемногу преодолевает расстояние от одного ствола до другого.

Здесь-то ему и предстояло жить. Спору нет, красота окрестных мест трогала его сердце. Из-за нее он, собственно, и приобрел этот дом. Но передышка, которую он надеялся здесь приобрести, теперь пугала его. Одиночество, к которому он так упорно стремился, оказалось источником тревоги, обострившейся с тех пор, как он успел здесь оглядеться. Деревушка располагалась неподалеку, всего в нескольких сотнях метров. Он вышел из дому. От дороги отходила тропинка, ведущая прямо к морю. Ступив на нее, он впервые заметил, что на другом конце залива виднеется остроконечная вершина Типасы. На ней вырисовывались позлащенные солнцем колонны храма, а вокруг них — древние развалины, заросшие полынью, похожей издавела на облысевшее и поседевшее овечье руно. Мерсо подумал, что июньскими вечерами ветер доносит сюда запах согретой солнцем полыни.

Ему нужно было освоиться, обжиться на новом месте. Первые дни промелькнули незаметно. Он белил стены известью, покупал в Алжире занавески, начал проводить электричество. И за этими трудами, прерываемыми лишь для того, чтобы перекусить в деревенской гостинице да искупаться, он почти забыл, зачем сюда приехал. Его отвлекали усталость, ломота в костях и зуд в ногах, опасения насчет того, хватит ли ему известки, заботы о починке выключателя в коридоре. Ночевал он в гостинице и там мало-помалу перезнакомился со всей деревушкой: с парнями, которые заходили туда по воскресеньям поиграть в русский бильярд или пинг-понг (коротая за этим занятием целые часы, они ровным счетом ничего не заказывали и тем приводили хозяина в бешенство); с девушками, гулявшими по вечерам вдоль берега (они держались за руки и переговаривались, чуть-чуть жеманно растягивая окончания слов); с одноруким рыбаком Перезом, поставившим в гостиницу свой улов. Здесь же он повстречал и деревенского врача, Бернара. Когда в доме был, наконец, наведен полный порядок, Мерсо перенес туда свои пожитки и вот тут-то он почти очнулся от забытья. Был уже вечер. Мерсо расположился в комнате на втором этаже, за

окнами которой два мира вели спор из-за пространства между двумя пиниями. В одном из них, почти прозрачном, множились звезды. В другом, более плотном и темном, слышался таинственный плеск моря.

До сих пор он был постоянно чем-то занят: то встречал рабочих, которые помогали ему устроиться, то болтал с хозяином кафе. А теперь осознал, что ему некого больше встречать — и завтра и вообще никогда, и что он остался лицом к лицу с тем самым одиночеством, к которому так стремился. В этот миг ему показалось, что завтрашний день невероятно далек. Но он убедил себя, что именно этого ему и хотелось: остаться наедине с самим собой на бесконечно долгий срок, вплоть до самой смерти. Он решил еще посидеть, покуривая и размышляя, но часам к двум ночи начал клевать носом и улегся спать. На следующий день проснулся поздно, часов в десять, приготовил себе завтрак и перекусил, даже не успев побриться и причесаться: сказывалась легкая усталость. А после завтрака, вместо того чтобы отправиться в ванную, он стал слоняться из комнаты в комнату, листать журналы и в конце концов страшно обрадовался, увидев отошедший от стены выключатель, и принялся его чинить. В это время в дверь постучали. На пороге стоял мальчишка-рассыльный из гостиницы, он принес завтрак, заказанный Патрисом накануне. Делать было нечего: Мерсо снова уселся за стол, нехотя поел, чтобы блюда не успели остыть, а потом развалился на диване в одной из нижних комнат, закурил и сам не заметил, как его сморил сон. Проснулся он, злой сам на себя, когда было уже четыре часа. Умылся, тщательно побрился, наконец-то оделся и сел писать письма: одно — Люсьене, другое — трем студенткам. Когда он покончил с этим, было уже поздно, наступала ночь. Тем не менее он отправился в дереvuшку, бросил письма в почтовый ящик и вернулся обратно, не встретив по дороге ни души. Поднялся к себе в спальню и вышел на террасу. Море беседовало с ночью на побережье и среди развалин. Он задумался. Воспоминания об этом потерянном дне отравляли ему душу. Но впереди оставался целый вечер: можно было поработать, хоть чем-нибудь заняться, ну, например, почитать или совершить ночную прогулку. Скрипнула садовая калитка, тот же мальчишка принес ему ужин. Мерсо проголодался и поэтому поел с аппетитом,

а потом почувствовал, что у него нет сил выйти. Решил лечь и подольше почитать. Но с первых же страниц глаза начали слипаться, он заснул и наутро опять встал очень поздно.

Мерсо попытался бороться с этим наваждением. По мере того как тянулись дни, целиком заполненные скрипом калитки и дымом бесчисленных сигарет, он все больше убеждался в несоответствии между решением, приведшим его к такой жизни, и самой этой жизнью. Как-то вечером он собрался с духом и написал Люсьене, прося ее приехать, нарушив тем самым одиночество, к которому так стремился. Отправив письмо, он почувствовал жгучий стыд. Но когда Люсьена приехала, этот стыд растаял в горниле глупой и безоглядной радости, охватившей его при виде близкого существа, при мысли о том облегчении, которое даровало ему само присутствие Люсьены. Он всячески улаживал ее, был внимателен и предупредителен, а она смотрела на все это с некоторым удивлением, занимаясь главным образом своими полотняными платьями.

Теперь они вместе выходили на прогулки. Обнимая Люсьену за плечи, Мерсо вновь обретал сопричастность миру, избавлялся от терзавших его тайных страхов. Но не прошло и двух дней, как Люсьена ему наскучила. И надо же было случиться, что именно тогда, во время ужина, она и предложила ему жить вместе. Не поднимая глаз от тарелки, Мерсо наотрез отказался.

Помолчав, Люсьена безразличным тоном добавила:

— Выходит, ты меня не любишь.

Мерсо поднял голову. Ее глаза были полны слез. Он смягчился:

— Ну что ты, малышка, я никогда этого не говорил.

— Верно, — сказала Люсьена, — но это лишь подтверждает мои слова.

Мерсо встал и подошел к окну. Между двумя пиниями кишели в ночи звезды. Быть может, никогда до сих пор его не мучила такая тоска и такое отвращение к бесцельно проведенным здесь дням.

— Ты чертовски хороша, Люсьена, — сказал он. — А большего мне и не нужно. И я не прошу у тебя большего. Твоей красоты нам вполне достаточно.

— Я знаю, — подтвердила она. Повернулась спиной к Патрису и принялась водить кончиком ножа по скатерти. Он подошел к ней, положил руки на плечи.

— Не существует, поверь мне, великой скорби, великого раскаянья, неистребимых воспоминаний. Все забывается, даже великая любовь. Это очень грустно и в то же время приносит утешение. Есть только определенный взгляд на вещи, время от времени даруемый нам обстоятельствами. Вот почему все-таки лучше испытать хоть раз в жизни великую страсть, несчастную любовь. В этом — единственное оправдание того беспричинного отчаянья, которое гнетет всех нас.

Помолчав, Мерсо добавил:

— Не знаю, поймешь ли ты меня.

— Думаю, что пойму, — ответила Люсьена, резко повернувшись к нему. — Мне кажется, что ты несчастлив.

— Я буду счастливым, — почти выкрикнул Мерсо. — Должен им быть. И залогом тому — эта ночь, это море и моя рука у тебя на плече.

Обернувшись к окну, он еще крепче обнял Люсьену.

— Неужели у тебя нет для меня даже капельки дружеских чувств? — не глядя в его сторону, спросила Люсьена.

Патрис опустил на колени, прильнув губами к ее плечу.

— Дружеские чувства? Ну, конечно. Такие же, как я питаю к ночи. Ты — отрада моих глаз, и тебе ли не знать, что для этой отрады у меня в сердце всегда найдется местечко.

На следующее утро она уехала. А еще через день, не в силах сладить с самим собой, Мерсо сел за руль и отправился в Алжир. Первым делом побывал в «Доме перед лицом Мира». Студентки обещали навестить его в конце месяца. Потом решил взглянуть на родные места. В доме, где он когда-то жил, теперь был открыт кабачок. Он поинтересовался судьбой бочара, но никто не смог ему сказать ничего толкового: вроде бы тот уехал в Париж искать работу. Мерсо прошелся по кварталам. В ресторане Селеста не было, в общем, никаких перемен, разве что сам хозяин изрядно постарел. В углу, все с таким же важным видом, восседал чахоточный Рене. Они обрадовались появлению Мерсо, да и сам он был растроган этой встречей.

— Кого я вижу! — воскликнул Селест. — Да ты совсем не изменился! Ну ни капельки!

— Угу, — подтвердил Мерсо.

Его восхитила поразительная слепота людей, отлично сознающих перемены в самих себе, но считающих, что все остальные должны вечно оставаться такими, какими они

их себе когда-то представляли. Неудивительно, что и о нем они судили по прежним меркам, как о собаке, у которой не меняется характер. Значит, люди смотрят друг на друга не иначе как на собак. Чем лучше Селест, Рене и все остальные знали Мерсо в прошлом, тем непонятней стал он для них теперь: не человек, а какая-то загадочная, необитаемая планета. Тем не менее расстались они по-дружески. Выйдя из ресторана, он столкнулся с Мартой. Увидев ее, он подумал, что почти забыл о ней и в то же время не оставлял надежды на эту встречу. Она по-прежнему была размалеванной богиней. Он почувствовал к ней глухое, но не особенно сильное вожделение. Они пошли вместе.

— О Патрис, — пролепетала она, — как я рада тебя видеть. Что поделываешь?

— Ничего, как видишь. Поселился за городом.

— Это же просто шикарно. Я всегда мечтала о такой жизни. — Помолчав, добавила: — Знаешь, а ведь я на тебя нисколько не сержусь.

— Ну, еще бы, — рассмеялся Мерсо, — ты ведь, наверно, мигом утешилась.

Но тут Марта заговорила с ним таким тоном, которого он от нее раньше никогда не слышал:

— Послушай, не будь таким злокой. Я прекрасно понимала, что этим все у нас и кончится. Ты был каким-то странным типом. А я — всего лишь маленькой девочкой, как ты говорил. Ну так вот, когда все это случилось, я прямо сама не своя была от обиды. Но потом сообразила, что ты попросту несчастный человек. И вот еще что, даже не знаю, как лучше сказать. Ну, в общем, я тогда впервые почувствовала, что наш роман обернулся для меня и печалью, и радостью.

Мерсо уставился на нее, не веря своим ушам. И внезапно до него дошло, что Марта всегда очень хорошо к нему относилась. Приняла его таким, каким он был, избавила в какой-то степени от одиночества. А он был несправедлив к ней. Переоценивал ее в силу своего воображения и тщеславия — и в то же время гордыня не позволяла ему по-настоящему воздать ей должное. Только теперь он уразумел жестокий парадокс, заставляющий нас дважды обманываться в тех, кого мы любим: сначала — возвышая их, потом — развенчивая. Он понял, что Марта вела себя с ним совершенно естественно, была такой, какая она есть, и за одно это он должен быть ей благодарен.

Моросил мелкий дождик, в его пелене расплывались и дрожали уличные огни. Глядя сквозь эту искрящуюся сеть на внезапно посерьезневшее лицо Марты, Мерсо почувствовал, что его распирает от какой-то слезливой благодарности, которую он не мог толком выразить, но в иное время принял бы за что-то, похожее на любовь. А сейчас ему удавалось выдавить из себя лишь несколько жалких слов:

— Ты знаешь, я все-таки люблю тебя. И даже теперь, будь это в моих силах...

— Не стоит, — улыбнулась она. — Ведь я еще молода. И, в сущности, ничего не лишилась, ведь правда же?

Ему оставалось только кивнуть. Что за пропасть пролегла между ними, несмотря на всю их тайную близость!

Проводив ее до дому, он стал прощаться. Держа над головой зонтик, она сказала:

— Надеюсь, мы еще увидимся.

— Угу, — отозвался Мерсо. Она печально улыбнулась.

— А ты нисколько не изменилась, — сказал он. — Ни дать ни взять — та же маленькая девочка.

Ступив под дверной навес, она закрыла зонтик. Патрис протянул ей руки и в свой черед улыбнулся:

— До свиданья, милый призрак!

Она порывисто обняла его, расцеловала в обе щеки и бегом пустилась вверх по лестнице. А Мерсо остался под дождем, все еще чувствуя на своих щеках холодный нос и жаркие губы Марты. Этот неожиданный и бескорыстный поцелуй был так же чист, как тот, что он получил когда-то от веснушчатой венской шлюхи.

Все это не помешало ему отправиться к Люсьене, переночевать у нее, а наутро предложить ей вместе прогуляться по бульварам. Было около полудня, когда они вышли. Оранжевые лодки обсыхали на солнце словно четвертушки апельсинов. Голуби и их тени то слетали к самой воде, то ленивой дугой взмывали ввысь. Слегка припекало яркое солнце. Черно-красный почтовый самолет прогудел над их головами и, набирая скорость, понесся прямо к той ослепительной полоске, что пенилась на стыке неба и моря. Они с легкой завистью посмотрели ему вслед.

— Везет же кому-то, — вздохнула Люсьена.

— Да, — согласился Патрис, а про себя подумал, что нисколько не завидует этому везению.

Не то чтобы он был равнодушен к перемене мест, путешествиям, новым начинаниям: просто знал, что все это вызывает представление о счастье только в ленивых и безвольных душах. На самом же деле — это выбор, совершаемый упорной и трезвой волей. «Волей к счастью, а не волей к отречению», — вспоминал Мерсо слова Загрея. Он обнял Люсьену, его ладонь коснулась ее жаркой и нежной груди.

Тем же вечером, возвращаясь на машине в Шенуа, Мерсо глядел на вздувшиеся от дождя ручьи, на гряды холмов впереди — и чувствовал, как его душой овладевает немая пустота. Он столько раз пытался начать все сначала, осмыслить прежнюю жизнь, что в конце концов осознал, чем он хотел и чем не хотел бы быть. Потерянные, постыдные дни, проведенные словно в спячке, казались ему теперь столь же опасным, сколь и необходимым испытанием. Он мог втянуться в эту спячку и разом потерять единственную возможность самооправдания. Но что поделаешь, нужно было пройти через это.

Переключая коробку скоростей, вертя баранку, Мерсо мало-помалу проникался той унижительной и в то же время бесценной истиной, что диковинное счастье, к которому он так стремился, сводится, в сущности, к раннему подъему, регулярным водным процедурам, сознательным гигиеническим навыкам. Он гнал машину все быстрее, торопясь воспользоваться этим озарением, чтобы именно так и устроиться в новой жизни, которая впредь не потребует от него никаких усилий. Чтобы подчинить свое дыхание глубинному ритму времени и жизни.

На следующее утро он встал пораньше и тут же спустился к морю. Рассвет уже разгорелся вовсю, утро звенело от птичьего щебета и шелеста крыльев. Но солнце едва-едва проглянуло на горизонте, и когда Мерсо вошел в тусклую воду, ему показалось, что он плывет в каких-то неясных сумерках. Но вот, наконец, взошло солнце, и он погрузил руки в струю ледяного и алого золота. Домой он вернулся бодрым, готовым к любым испытаниям. И начиная со следующего утра спускался к морю еще до восхода солнца, набираясь энергии на весь день. Вначале эти купания не только взбадривали, но и утомляли его, вливая вместе с зарядом энергии какую-то блаженную слабость, так что потом он целый день пребывал в состоянии счастливого томления. И все-таки дни тянулись чересчур

медленно. Он еще не научился высвобождать время из-под спуда привычек, служивших ему точкой отсчета. Ему ровным счетом нечего было делать — и потому время никуда не торопилось. Каждая минута сама по себе была чудом, но ему пока еще не было дано это осознать. Во время путешествия дни казались бесконечными, в конторе целые недели пролетали мгновенно, а теперь, лишившись привычных мерок, он тщетно пытался отыскать их в этой новой жизни, с которой он не знал что делать. Иногда он брал часы, смотрел, как большая стрелка ползет от одной цифры к другой, и только диву давался, насколько бесконечными кажутся какие-нибудь пять минут. Именно эта забава и открыла ему тернистый и мучительный путь к великому искусству ничегонеделанья. Он приучал себя к прогулкам. Иной раз, шагая вдоль побережья, добирался до развалин на противоположной оконечности залива. Ложился там прямо на землю среди кустиков полыни и, чувствуя под рукой тепло древних камней, открывал глаза и сердце невыносимому величию пышущих жаром небес. Принаравливая биение крови к яростной пульсации послеполуденного солнца, к сонному стрекотанию цикад, он наблюдал, как выцветшее от зноя небо постепенно наливаются чистой голубизной, а потом, проветрившись, расцветает зеленью и струит ласковую негу на еще не остывшие развалины. Домой он возвращался рано и тут же заваливался спать. Подчиняясь чередованию рассветов и закатов, его дни принаравливались к их ритму, чья неспешность и необычность стали ему так же необходимы, как раньше была необходима служба в конторе, сон, ресторан. Но теперь, как и тогда, Мерсо вживался в этот ритм почти бессознательно. С той лишь разницей, что сейчас он порой постигал: время целиком принадлежит ему, и за тот краткий миг, когда море из алого становится зеленым, некий отсвет вечности сквозил ему в каждой прожитой секунде. Ни сверхчеловеческое счастье, ни вечность не открывались ему вне круговращения дней. Счастье было вполне человеческим, а вечность — будничной. Главное состояло в том, чтобы смириться, подчинить сердце ритму дней, а не подгонять этот ритм под метания человеческого духа.

Подобно тому, как ваятель должен уметь вовремя остановиться, уловить миг, когда лишний удар резца может

испортить готовую статую, причем неразумная воля способна в этом отношении сослужить ему лучшую службу, чем самые изощренные выкладки ума, так малая толика неразумности необходима тем, кто стремится увенчать свою жизнь счастьем, тем, кто не смог это счастье завоевать.

По воскресеньям Мерсо играл в билиард с рыбаком Перезом, у которого одна рука была отнята выше локтя. Перез орудовал кием на свой манер, прижав его к груди и поддерживая кулечей. Мерсо не переставал восхищаться ловкостью старого рыбака и по утрам, когда тот выходил в море. Зажав левое весло под мышкой, сильно скособочившись, он толкал его грудью, а правым греб как обычно, причем взмахи обоих весел были на удивление согласованы. Перез отлично готовил каракатиц в собственном соку, под острым соусом. Мерсо охотно разделял с ним трапезу, подбирая куском хлеба с засаленной сковородки черную и жгучую жижу. Кроме того, Перез был великим молчуном, и Мерсо особенно ценил в нем это качество. Иногда на заре, после купанья, увидев, как тот спускает в море лодку, он подходил поближе:

— А можно мне с вами, Перез?

— Валяйте.

Они вставляли весла в уключины и дружно гребли, стараясь не поранить босые ноги о крючки перемета. Потом забрасывали перемет в море, и Мерсо следил за лесками, блестящими на поверхности, зыбкими и черными в глубине. Солнце дробилось в воде на тысячи мельчайших осколков, Мерсо вдыхал тяжкий и удушливый запах, отрыжку пучины. Время от времени Перез снимал с крючка мелкую рыбешку и кидал ее обратно, приговаривая:

— Ступай-ка, мальщ, к своей маме.

К одиннадцати часам они возвращались, и Мерсо, с руками, облепленными серебристой чешуей, с распухшим от солнца лицом, спешил домой, где было прохладно, как в погребке, а Перез начинал стряпать очередное рыбное блюдо, которое они вместе уплетали за ужином. Так, день за днем, Мерсо отдавался течению времени — это было ничуть не труднее, чем скользить по морским волнам. Пловец продвигается вперед лишь благодаря дружеской поддержке воды, а для Мерсо такой поддержкой служили сущие пустяки: достаточно приложить ладонь к стволу пинии или пробежаться по пляжу, чтобы почувствовать,

что ты еще цел и невредим. Так он сливался с жизнью в ее чистом виде, обретал рай, уготованный либо самым неразумным, либо непомерно мудрым живым существам. И дойдя до той точки, где разум отрицает самое себя, постигал, наконец, собственную истину, а вместе с ней — всю беспредельность своего величия и любви.

Благодаря знакомству с доктором Бернаром Мерсо приобщился ко всему деревенскому обществу. В первый раз он вызвал его по поводу легкого недомогания, а потом они начали видаться просто так и подчас ко взаимному удовольствию. Бернар тоже был неразговорчив, но в его глазах, скрытых очками в толстой оправе, мерцал отблеск глубокого и горького ума. Он долго практиковал в Индокитае, а в сорок лет переселился сюда, в алжирскую глушь, и вот уже несколько лет мирно жил здесь с женой, вьетнамкой, носившей высокий шиньон и современный европейский костюм, но не знавшей почти ни слова по-французски. Бернар был человеком неприветливым, мог ужиться где угодно. Он любил своих пациентов, а те платили ему взаимностью, так что ему было легко ввести Мерсо в местное общество. Патрис был уже на короткой ноге с хозяином гостиницы, бывшим тенором, который любил распевать за стойкой арии из «Тоски», а в паузе между двумя фиоритурами успевал пригрозить трепкой жене. Патрису и Бернару было предложено войти в комитет по организации праздников. И теперь по торжественным дням, будь то 14 июля или другая славная дата, они расхаживали по деревушке с трехцветными повязками на рукавах или, рассевшись вместе с другими членами комитета за грязным жестяным столом, уставленным сладкими аперитивами, обсуждали вопрос о том, как должна быть украшена эстрада для музыкантов. Патриса попытались даже втянуть в предвыборные распри. Но он, к счастью, уже успел составить мнение о здешнем мэре. Тот, по его собственным словам, вот уже десять лет «руководил судьбами общины» и в силу столь длительного пребывания на своем посту склонен был мнить себя чем-то вроде Наполеона Бонапарта. Этот разбогатевший винодел отгрохал себе дом в греческом стиле и при первом же удобном случае пригласил Мерсо полюбоваться своим жилищем. Оно состояло всего из двух этажей, но, не отступая ни перед какими затратами, мэр установил в нем лифт. Мерсо

и Бернару было предложено опробовать его. «Тише едешь — дальше будешь», — невозмутимо отметил Бернар. С этого дня Мерсо проникся к мэру глубочайшим восхищением и вместе с Бернаром использовал все свое влияние, чтобы сохранить за ним его безусловно заслуженный пост.

Весной деревушка, чьи красные крыши теснились между горой и морем, утопала в цветах — чайных розах, гиацинтах и бугенвилеях — и дрожала от жужжания насекомых. В послеполуденный час Мерсо выходил на террасу и смотрел, как она зыблется в сонном мареве под щедро льющимися с высоты лучами. Достоправная история деревушки сводилась к соперничеству между Моралесом и Бингесом, двумя выходцами из Испании, которые посредством финансовых махинаций выбились в миллионеры. Незамедлительно вслед за этим ими овладела мания величия. Если кто-то из них покупал себе машину, то выбирал самую шикарную. Другой приобретал такую же, но тотчас присобачивал к ней серебряные ручки. В этом смысле Моралес был настоящий гений. Недаром в деревушке его прозвали «Испанским королем». Он по всем статьям опережал Бингеса, не страдавшего избытком воображения. Во время войны Бингес подписался на государственный заем, купив облигаций на многие сотни тысяч франков. Моралес заявил, что обскочет соперника, и послал на фронт сына, хотя тот еще не достиг призывного возраста. В 1925 году Бингес возвратился из столицы, сидя за рулем великолепной «бугатти» гоночного класса. Не прошло и двух недель, как Моралес велел построить себе ангар и разорился на самолет марки «Кодрон». Это воздухоплавательное сооружение до сих пор пылилось в ангаре, куда по воскресеньям пускали посетителей; Бингес обзывал Моралеса «босяком», а тот величал его «ходячим крематорием».

Однажды Бернар привел Мерсо к Моралесу. Тот принял их на огромной ферме, пропахшей изюмом и населенной преимущественно осами, — принял со всеми знаками почтения, но в шлепанцах на босу ногу и в рубашке, потому что терпеть не мог ни пиджаков, ни ботинок. Им показали самолет, машины, медаль, полученную сыном на войне и теперь хранящуюся в гостиной, в специальной витрине, потом Моралес принялся втолковывать Патрису, что всех иностранцев надо гнать вон из Алжира («сам-то я давно натурализовался, а вот этот Бингес...»), и, наконец,

поташил их смотреть новую диковину. Углубившись в громадный виноградник, они обнаружили посреди него округлую каменную площадку, на которой красовался салонный гарнитур в стиле Людовика XV из ценных пород дерева с умопомрачительной обивкой: именно здесь, в центре своих владений, Моралес и принимал посетителей. Мерсо учтиво осведомился, что же делается с этой мебелью после дождливого сезона. «Я ее полностью заменяю», — не моргнув глазом ответил Моралес и пыхнул сигаретой.

На обратном пути Бернар и Мерсо принялись выяснять, чем нувориш отличается от поэта, каковым, по мнению доктора, и является Моралес. А Мерсо подумал, что из него вышел бы неплохой римский император времени упадка.

Вскоре после этого в Шенуа нагрянула Люсьена и, погостив несколько дней, отбыла восвояси. А в следующее воскресенье, утром, появились Клер, Роза и Катрин: они не забыли про свое обещание. Патрис пребывал далеко уже не в том настроении, которое в первые дни затворничества заставило его отправиться в Алжир, однако вместе с Бернаром пошел встречать их на остановку. Они вылезли из огромного автобуса канареечного цвета. День был великолепным, по деревушке так и сновали роскошные красные машины окрестных мясников, среди пышных цветов прогуливался по-воскресному разодетый люд. По просьбе Катрин вся компания на минутку заглянула в кафе. Катрин восхищалась и всем этим блеском, и незнакомой для нее обстановкой, и плеском моря, раздававшимся прямо за ее спиной. Когда они уже собрались уходить, с соседней улочки громыхнула диковинная музыка. Играли вроде бы «Марш тореадора» из оперы «Кармен», но до того шумно и нестройно, что мелодию едва можно было разобрать.

— Это оркестр гимнастического общества, — пояснил Бернар.

Вскоре из-за поворота высыпала толпа музыкантов с самыми разнообразными духовыми инструментами; все они без передышки дудели, свистели и гудели. Толпа приближалась к кафе, а позади нее, в сбитом на затылок котелке, обмахиваясь рекламным проспектом, шагал Моралес. Он нанял этих музыкантов в городе, потому что, как он сам потом объяснил, «жизнь во время экономического кризиса стала слишком печальной». Моралес уселся посреди кафе, вокруг него расположились музыканты и с блеском завер-

шили номер. В кафе повалил народ. Тогда Моралес поднялся и, обведя публику взглядом, важно объявил:

— По моей просьбе оркестр повторит «Марш тореадора».

Выходя из кафе, студентки задыхались от смеха. Но, добравшись до дома Мерсо, где тенистая прохлада комнат только сильнее подчеркивала ослепительную белизну наружных стен, окруженных садом и залитых солнцем, они притихли и успокоились, и Катрин тут же изъявила желание позагорать на террасе. Мерсо пошел проводить Бернара. Сегодня тот во второй раз стал свидетелем кое-каких подробностей из личной жизни Мерсо. Они никогда между собой не откровенничали, Мерсо считал Бернара не особенно счастливым, а тому была непонятна жизнь Мерсо. Они расстались, не сказав другу другу ни слова. Вернувшись к себе, Мерсо договорился с подружками, что завтра поутру они все вместе отправятся на прогулку в горы. Пик Шенуа очень крут, забираться на него нелегко, зато у них впереди чудесный денек, а усталость — сносная плата за такое удовольствие.

Ранним утром они уже карабкались по первым крутым отрогам. Роза и Клер молча шагали впереди, Патрис и Катрин — за ними. Мало-помалу они поднимались все выше и выше над морем, еще белесым от утреннего тумана. Патрис тоже молчал, жадно вглядываясь в горный склон, поросший редким взъерошенным безвременником, в ледяные источники, в чередование света и тени и вслушиваясь в собственное тело, которое поначалу во всем соглашалось с ним, но вскоре принялось артачиться. Они втянулись в сосредоточенный ритм нелегкой ходьбы и, хотя свежий воздух раскаленным железом обжигал их легкие, шли все вперед и вперед, преодолевая склон, а заодно и самих себя. Наконец Роза и Клер, запыхавшись, сбавили шаг. Катрин и Патрис обогнали их и вскоре потеряли из виду.

— Ну, как? — спросил у нее Патрис.

— Нет слов.

Солнце поднималось все выше, и чем сильнее оно припекало, тем громче становилось стрекотание насекомых, оживавших от его тепла. Скоро Патрису пришлось снять рубашку, и он пошел дальше голый до пояса. Пот катил по его плечам, шелушившимся от солнца. Они ступили на тропинку, вьющуюся вдоль склона горы. Трава под ногами становилась все более сочной. Вскоре они

услышали журчание воды, а затем увидели бьющий из тенистой расщелины источник. Они окатили друг друга водой, попили немного, и Катрин улеглась на траве, а Патрис, с влажными от воды, прилипшими ко лбу волосами, прищурился, глядя на окрестный пейзаж, пестрящий развалинами, дорогами и блестками солнца. Потом он подсел к Катрин.

— Мы тут совсем одни, — сказала она. — Так скажи мне, счастлив ли ты?

— Взгляни лучше вокруг, — отозвался Мерсо.

Тропинка дрожала в солнечном мареве, над ней плясал целый рой радужных пылинок. Патрис улыбнулся и потер руки.

— Все это прекрасно, но я хотела бы задать тебе еще один вопрос. Если не хочешь, не отвечай. — Она помедлила. — Ты любишь свою жену?

— Это неважно, — улыбнулся Мерсо, обнял Катрин за плечи и, тряхнув мокрой головой, обдал брызгами ее лицо. — Ты напрасно думаешь, малышка, что мы можем выбирать или делать то, что хотим, требовать каких-то условий для счастья. Главное, видишь ли, это воля к счастью, постоянное и напряженное его осмысление. А все остальное — женщины, искусство, успех в обществе — это только предлог. Канва, по которой мы вышиваем.

— Верно, — сказала Катрин, и солнце заискрилось в ее глазах.

— Важно еще и качество счастья. Я могу наслаждаться им только в условиях упорного и яростного противоборства с его противоположностью. Счастлив ли я? А ты не помнишь, Катрин, знаменитую формулу: «Ах, если бы я мог начать жизнь сначала?» Так вот, я ее и начинаю. Но ты, наверное, не понимаешь, что это все значит.

— Нет, — призналась Катрин.

— Как бы это тебе объяснить, малышка? Если я и счастлив, то лишь благодаря своей нечистой совести. Мне нужно было бросить все и уехать вкушать того одиночества, которое помогло бы разобраться в себе самом, понять, где солнце, а где слезы... Да, по-человечески говоря, я счастлив.

Тут их беседу прервало появление Розы и Клер. Они подобрали рюкзаки и двинулись в путь. Дорога по-прежнему вилась вокруг горы среди берберийских смоковниц, оливковых деревьев и зарослей ююбы. Навстречу попада-

лись арабы верхом на осликах. Потом дорога круто пошла в гору. Солнце с удвоенной силой палило придорожные камни. В полдень, выбившись из сил от зноя, опьянев от одуряющих запахов, путники решили сделать передышку и сбросили на землю рюкзаки. Их окружали скалистые склоны, сложенные из кремня. Приземистый корявый дуб приютил их в округлой тени. Они достали съестные припасы и перекусили. Вся гора от подножия до вершины дрожала от напора света и пения цикад. Зной допекал их даже в тени дуба. Патрис ничком повалился на землю, вдыхая ее жгучий аромат. Глухие толчки горы отдавались во всем его теле. Их однообразный ритм постепенно сморил его, и он задремал под оглушительный хор насекомых среди раскаленных камней.

Проснулся он разбитый, весь в поту. Было около трех часов. «Детки» куда-то запропастились, но вскоре смех и крики возвестили об их возвращении. Жара спала. Можно было продолжать подъем. И тут, как раз на полпути к вершине, с Мерсо случился обморок. Очнувшись, он увидел склонившиеся к нему тревожные лица девушек, а между ними — голубизну моря. Они стали потихоньку спускаться. Дойдя до первых отрогов, Мерсо попросил сделать передышку. Море и небо постепенно зеленели, с горизонта веяло свежестью. На холмах вокруг залива наливались чернотой кипарисы. Все помалкивали, только у Клер вырвалось:

— На тебе совсем нет лица.

— Что поделаешь, малышка.

— Мое дело сторона, но мне кажется, что этот край не для тебя. Слишком близко к морю, слишком влажно. Почему бы тебе не поехать во Францию, в горы?

— Пусть этот край не для меня, Клер, но я здесь счастлив. Я сжился с ним.

— И тебе хочется продлить свое счастье?

— Счастье нельзя ни продлить, ни укоротить. Ты счастлив — и все тут. Даже смерть не помеха счастью, это всего лишь случайность, входящая в правила игры.

— Все это не особенно убедительно, — сказала Роза, подумав. Остальные промолчали.

Уже вечерело, когда они дотащились до дому. Катрин вызвалась сходить за Бернардом. Мерсо сидел наверху, у себя в спальне, глядя на белесое пятно балюстрады, на темную волнистую каемку моря и более светлую полосу

над ней — беззвездное ночное небо. Он чувствовал себя неважно, но слабость странным образом бодрила и просветляла его. Когда Бернар постучал, Мерсо подумал, что сейчас самое время выложить ему все. Нельзя сказать, чтобы он тяготился своей тайной, да и тайны-то, в сущности, никакой не было. До сих пор он молчал лишь потому, что боялся натолкнуться на предрассудки и непонимание. А теперь, побуждаемый телесной слабостью и глубокой потребностью в исповеди, он был похож на художника, который долго отделывал и шлифовал свое произведение и вот, наконец, понял, что пришла пора выставить его напоказ, открыться людям. Он ждал Бернара с нетерпением, хотя и не был уверен, что в последний миг не отступится от принятого решения.

Из нижних комнат донеслись раскаты задорного смеха — и в этот миг к Мерсо вошел Бернар.

— Что случилось? — спросил он.

— Сам не знаю, — отозвался Мерсо.

Врач выслушал его, но ничего путного сказать не смог. Хорошо бы сделать рентгеновский снимок, а пока судить трудно.

— Успеется, — сказал Мерсо.

Врач присел на край подоконника.

— Я лично болеть не люблю, — сказал он. — Отлично знаю, что за штука болезнь. Нет ничего безотрадней и унижительней болезни.

Пропустив слова Бернара мимо ушей, Мерсо поднялся с кресла, предложил ему сигарету, чиркнул спичкой и, смеясь, сказал:

— А нельзя ли задать вам не относящийся к делу вопрос?

— Валяйте.

— Вы никогда не купаетесь в море, так с какой же стати решили похоронить себя в этой дыре?

— Да я и сам не знаю. Больно уж давно это было, — ответил врач и, помолчав, добавил: — Я всегда поступал наперекор всему. Теперь-то страсти малость поулеглись. А раньше я хотел быть счастливым, делать то, что мне благорассудится, ну, например, обосноваться в краю, который мог бы мне понравиться. Но загад не бывает богат. Стало быть, нужно жить как можно легче, не надрываясь. Правило довольно циничное, но его придерживается и моя

жена, лучшая из женщин на свете. В Индокитае я брал любого быка за рога. А здесь сам жую жвачку. Только и всего.

— Что ж, — сказал Мерсо, затягиваясь сигаретой и пуская дым в потолок. — Но я не уверен, что любой загад не бывает богат. Просто наши попытки заглянуть в будущее бывают иногда неразумны. Во всяком случае меня интересует лишь такой опыт, чьи результаты полностью сходятся с тем, на что мы рассчитываем.

— Да, судьба — это прежде всего мера, — улыбнулся Бернар.

— Судьба человека, — подхватил Мерсо, — может быть захватывающей, если она сочетается со страстью. А для некоторых и захватывающая судьба кроится по мерке.

— Согласен, — сказал Бернар. Он с трудом поднялся и, стоя спиной к Мерсо, бросил взгляд за окно, в ночь. — Вы и я единственные одиночки в этом краю. Я не говорю о вашей жене и ваших подружках: это ведь фигуры случайные. И, однако, мне кажется, что вы любите жизнь сильнее, чем я. — Он обернулся к Патрису. — Потому что для меня любовь к жизни не исчерпывается морскими купаниями. Любить жизнь — значит жить без оглядки, напропалую. Менять женщин, страны, стремиться к приключениям. Словом, действовать, что-то преодолевать. Ощущать терпкий и жгучий вкус жизни. И, наконец, поймите меня правильно, — доктор запнулся, как бы удивившись своей горячности, — я слишком люблю жизнь, чтобы довольствоваться прелестями природы.

Он подобрал свой стетоскоп, спрятал его в чемоданчик.

— В сущности, вы идеалист, — сказал ему Мерсо. У него было такое чувство, будто вся его жизнь, от рождения до смерти, сжалась, обратилась в единый миг, миг осуждения и освящения.

— Допустим, — с какой-то грустью согласился Бернар, — но, видите ли, противоположностью идеалистов слишком часто бывают люди, не способные любить.

— Не верьте этому, — сказал Мерсо, протягивая ему руку. Бернар крепко пожал ее.

— Думать так могут только люди, живущие либо великим отчаянием, либо великой надеждой.

— И тем и другим, наверное.

— Ну, это выше моего разума!

— Возможно, — серьезно ответил Мерсо.

Когда Бернар был уже в дверях, Мерсо неожиданно окликнул его.

— Да, — доктор обернулся.

— Вы способны испытывать к кому-нибудь чувство презрения?

— Пожалуй, да.

— А при каких обстоятельствах?

Врач задумался.

— Это довольно просто, как мне кажется. В тех случаях, когда человеком движет корысть или страсть к деньгам.

— Это и в самом деле просто, — согласился Мерсо. — Спокойной ночи, доктор.

— Спокойной ночи.

Оставшись один, Мерсо погрузился в раздумья. В том состоянии духа, которое он обрел, ему было безразлично, презирает его кто-нибудь или нет. Другое дело — доктор Бернар; в нем он угадывал родственную душу. И ему казалось невыносимым, чтобы одна часть его «я» судила другую. Двигала ли им в свое время корысть? Ведь он проникся столь же кардинальной, сколь и порочной истиной, которая гласит, что деньги — это одно из самых верных и быстрых средств достижения независимости. Сумел подавить в себе горечь, которая охватывает всякую благородную душу при мысли о том, сколько низости и подлости приходится совершать человеку, стремящемуся наилучшим образом устроить свою судьбу. Избавился от гнусного проклятья, обрекающего бедняков рождаться и умирать в нищете, сумел натравить деньги на деньги и ненависть — на ненависть. Но даже во время этой чудовищной схватки случалось, что его оведали лучезарные крылья счастливого ангела, порожденного теплым дыханием моря. Жаль только, что он не нашел в себе сил открыться Бернару и тайна навеки останется похороненной в его душе.

На следующий день, часов около пяти, подружки собрались уезжать. Перед тем как сесть в автобус, Катрин обернулась в сторону пляжа:

— До свидания, море!

Мгновение спустя три веселые мордашки уже устали на Мерсо из окон автобуса, похожего на огромного золотистого жука. Еще миг — и он исчез из виду в ослепительных потоках света. В самой ясности небосвода было что-то гнетущее. Стоя на дороге, Мерсо переживал стран-

ное чувство — смесь облегчения и грусти. Лишь сегодня его одиночество стало вполне реальным, ибо он, наконец, понял, что ему никуда от него не уйти. И это смирение перед одиночеством, сознание того, что теперь он стал полным хозяином грядущих дней, наполняли его душу меланхолией, не отделимой от подлинного величия. Мерсо свернул с дороги и пошел к дому тропинкой, вьющейся у подножия горы среди церагоний и олив. Несколько раз поскользнувшись, он заметил, что вся тропинка усеяна черными пятнами раздавленных оливок. В конце осени над всем Алжиром плывет запах любви, источаемый церагониями, а вечером или после дождя кажется, будто вся земля отдыхает, пресытившись ласками солнца, и лоно ее еще увлажнено семенами, благоухающими, как миндаль. Целыми днями струится с огромных деревьев в этот тяжелый, удушливый запах. А здесь, на тропинке, полной вечерней прохлады и облегченных вздохов земли, этот запах казался легким, едва уловимым — так веет духами от женщины, с которой ты провел вместе целый день в духоте, и вот, наконец, вышел на улицу, и она не сводит с тебя глаз, прижимается к тебе плечом среди огней и толпы.

Вдыхая этот аромат любви и ее раздавленных пахучих плодов, Мерсо понял, что лето клонится к концу. Впереди — долгая зима. Но он тоже созрел для того, чтобы достойно встретить ее. С тропинки не было видно моря, зато хорошо виднелась легкая розоватая дымка, обволакивающая по вечерам вершину горы. Тени от листвы перемежались на земле с пятнами света. И подобно приливу, душу Мерсо освежала вечерняя прохлада, спускающаяся по тропинке между оливами и мастиковыми деревьями, по виноградникам и красной земле прямо к тихо плещущему морю. Такие вечера всегда казались ему залогом счастья, путем, ведущим от надежды к свершению. С сердечной невинностью принимал он это зеленое небо и увлажненную любовью землю, принимал с той же дрожью страсти и желания, которая сотрясала его в миг убийства Загрея.

V

В январе зацвели миндальные деревья. В марте покрылись цветами груши, персики и яблони. Еще через месяц вздулись и тут же опали ручьи. В первых числах мая

начался сенокос, в конце — с полей уже убрали урожай овса и ячменя. К июню поспели ранние сорта груш. Источники уже засыхали, зной становился сильнее. Но кровь земли, иссякающая в одном месте, бурлила в другом, заставляя цвести хлопчатник, наливая сладким соком виноградные гроздья. Налетел суховей, опаливая землю, чуть ли не повсюду вызывая пожары. А потом год разом надломился. Быстро закончился сбор винограда. С сентября по ноябрь хлестали яростные ливни, омывая землю. А едва распогодилось, едва подошли к концу летние труды, как подоспело время сеять озимые. Тогда же стала прибывать вода в ручьях, превращая их в бурные потоки. К концу года на иных полях озимые уже пошли в рост, другие участки только успели вспахать. Чуть позже под холодной голубишной небес снова покрылся белым цветом миндаль. Новый год шел своим чередом меж землей и небом. Посеяли табак, окопали и обработали серой виноградники, привили плодовые деревья. В том же месяце стала поспевать мушмула. И снова сенокос, жатва и прочие летние заботы. К середине года столы уже ломались от сочных и клейких на ощупь плодов: смоквы, персиков, груш. А когда стали снимать виноград, небо нахмурилось. Потянулись с севера черные молчаливые стаи скворцов и дроздов. Как раз к тому времени поспели маслины, но убрали их уже после того, как птицы пролетели дальше. И снова из вязкой земли проклюнулось зерно. Тяжкие облака, тоже прилетевшие с севера, пронесли над морем и над землей, смахнули пену с воды, и она стала такой же чистой и холодной, как хрустальное небо. По вечерам на горизонте то и дело вспыхивали далекие зарницы. А потом грянули первые холода.

Вот тогда-то Мерсо и слег в первый раз. Приступы плеврита продержали его взаперти целый месяц. А когда он поднялся на ноги, склоны Шенуа уже покрылись кипенью первых цветов, спускавшихся к самому морю. Никогда весна так не трогала его за живое. В первую же ночь выздоровления он отважился на дальнюю прогулку к тем холмам, где дремала среди развалин Типаса. В тишине, нарушаемой лишь шелковистым шелестом небес, млечным потоком струилась на землю ночь. Мерсо шагал по береговым утесам, завороченный ее задумчивым величием. Внизу тихонько плескалось море, бархатистое, облитое

лунным светом, похожее на огромного лоснящегося зверя. И в этот час, когда безучастный к себе самому и ко всему на свете Мерсо остался наедине с ночью, ему показалось, что он наконец-то достиг своего, сподобился безмятежности, порожденной упорным самоотречением, обрел ее при поддержке того самого мира, который бесстрастно отрицал его право на существование. Он шагал легко, и звук его шагов казался ему не то чтобы совсем чужим, но не более привычным, чем звериные шорохи в зарослях мастиковых деревьев, шум прибоя или пульсация ночи в небесных глубинах. И свое собственное тело он тоже ощущал как бы со стороны, подобно теплomu дыханию этой весенней ночи и запаху соли и гнили, доносившемуся с моря. Его метания по свету, поиски счастья, ужасная рана на виске Загрея, эта мешанина из мозгов и костей, тихие благодатные часы в «Доме перед лицом Мира», его жена, его надежды и боги — все это предстало перед ним подобием неизвестно почему полюбившейся истории, чужой и вместе с тем близкой, показалось чем-то вроде книги, затронувшей самые сокровенные струны его сердца, но написанной кем-то другим. Впервые в жизни он чувствовал себя причастным к одной-единственной реальности: то была тяга к риску, жажда силы, инстинктивное осознание своего родства с миром. Поборов в себе гнев и ненависть, он больше не знал и сожаления... Прижавшись к скале, чувствуя под пальцами ее корявую щеку, он смотрел, как безмолвно вспучивается озаренное луной море, и вспоминал о щеках Люсьены, о теплоте ее губ. По морской глади струились маслянистые блики, следы от поцелуев луны. Вода, должно быть, была теплой, как женские губы, такой же податливой, готовой расступиться под напором мужчины. Не отрываясь от скалы, переживая немой восторг, сотканный из надежды и отчаяния, Мерсо чувствовал, как недалеко от его счастья до слез. Ко всему внимательный и всему чуждый, пожираемый страстью и совершенно невозмутимый, он сознавал, что здесь завершаются сама его жизнь и судьба, и что теперь ему остается одно: свыкнуться с этим счастьем, встретить лицом к лицу его ужасную истину.

И вдруг ему захотелось сломя голову окунуться в парное море, поплавать в лунном свете, чтобы заглушить в себе голоса прошлого глубокой мелодией нынешнего счас-

тя. Он разделся, спустился по скалам вниз и вошел в море, жаркое, как человеческая плоть. Вода струилась вдоль плеч, цеплялась за ноги неуловимой, но прочной хваткой. Мерсо плыл размеренно, чувствуя, как сокращаются спинные мускулы, толкая его вперед. При каждом взмахе руки он поднимал над морем целый рой серебристых летучих брызг — они казались лучезарными зернами из закров его счастья. Потом рука снова погружалась в воду, вспарывая ее, рассекая надвое, как плуг рассекает пашню для нового посева. А позади от взбитой его ступнями воды закипала пенная струя и расходились волны, их плеск на удивление отчетливо слышался в пустынной ночной тишине. Зачарованный ритмом плавания, наслаждаясь собственной ловкостью, Мерсо поплыл быстрее и вскоре оказался далеко от берега, в самой сердцевине ночи и мира. И только тогда, вспомнив о разверстой у него под ногами бездне, умерил свою прыть. Глубина влекла его как лицо неведомого мира, как продолжение этой ночи, в которой он обрел самого себя, как солоноватое влажное лоно иной, незнакомой ему жизни. На миг опасное искушение овладело им, но он одолел соблазн и поплыл еще дальше и еще быстрее. И только ощутив во всем теле блаженную усталость, повернул к берегу. Но как раз в этот миг угодил в ледяное подводное течение, сбился с ритма и, лязгая зубами от холода, завертелся на месте. Сюрприз, поднесенный морем, только раззадорил бы его, но холод пронизывал до костей, обжигал леденящей и страстной лаской неведомого бога, отнимая последние силы. Он кое-как добрался до берега и оделся, смеясь от счастья, хотя у него зуб на зуб не попадал.

На обратном пути ему стало плохо. С тропинки, поднимавшейся от моря к его дому, был виден скалистый полуостровок на той стороне залива, гладкие стволы колонн и развалины вокруг. Внезапно все это закружилось у него перед глазами, он пошатнулся, ударился о скалу и очнулся в придорожных кустах, чьи мясистые раздавленные листья источали аромат мастики. Поднялся, с трудом доковылял до дома. Тело, только что казавшееся источником неиссякаемой радости, теперь изнемогало от боли, засевшей где-то в животе, глаза слипались. Он решил приготовить себе чаю, но кастрюлька для кипячения оказалась грязной, напиток получился тошнотвор-

ным. Через силу сделал несколько глотков и отправился спать. Стаскивая ботинки, взгляделся в свои бескровные руки: ногти на них были неестественно розовые, широкие, с загнутыми концами. Нет, никогда у него не было таких ногтей, придававших руке какой-то болезненный, неприятный вид. Грудь ломило. Он прокашлялся и несколько раз сплюнул. Слюна была обычного цвета, но во рту остался привкус крови. В постели у него начались судороги, они возникали в ступнях и двумя ледяными струйками пробегали до самых плеч. Его била дрожь, мучила испарина. Дом словно раздался во все стороны, привычные звуки разносились по нему так отчетливо, будто вокруг не было никаких стен. Он слышал плеск моря о прибрежную гальку, пульсацию ночи за окном, лай собак в дальних деревушках. Его бросало из жары в холод, он то натягивал на себя одеяло, то сбрасывал его. Клонило в сон, но какая-то смутная тревога не давала заснуть по-настоящему. Тут-то до него и дошло, что он снова заболел. Ему стало страшно при мысли, что он может умереть в этом полузабытьи, так и не разомкнув глаз. На деревенской церкви пробили часы, но он не смог разобрать числа ударов. Ему совсем не улыбалось умирать от болезни. По крайней мере, от болезни, которая оказалась бы, как это часто бывает, постепенным, облегченным переходом к смерти. Подсознательно он жаждал встречи со смертью во всей полноте своих жизненных сил. Предстать перед смертью уже полумертвым — не дай Бог! Он поднялся, с трудом пододвинул к окну кресло, уселся в него, закутался в одеяло. За легкими занавесками, там, где не было плотных складок, сияли звезды. Он сделал глубокий вдох и вцепился в подлокотники, чтобы унять дрожь в руках. Самое главное — это сохранить ясность сознания. «Надо попытаться», — подумал он и вдруг вспомнил, что не выключил газ на кухне. «Надо попытаться». Но и тут не обойдешься без долгих усилий. Ничего в жизни так просто не дается, все приходится завоевывать. Он трахнул кулаком по подоконнику. Никто не рождается сильным или слабым, волевым или безвольным. И силу, и ясность сознания нужно выстрадать. Судьба гнездится не в самом человеке, а витает вокруг него. И тут Мерсо заметил, что он всхлипывает. От слабости, от детского страха — болезнь

чуть не превратила его в плаксивого ребенка. Руки холодели, к горлу подступила тошнота, Мерсо вспомнил о своих ногтях, потом принялся ощупывать распухшие лимфатические узлы под ключицей. И подумать только, что за красота разлита над миром, там, за окнами! Его мучила неутолимая жажда жизни, ревнивая влюбленность в нее. Он подумал о вечерах в Алжире, когда под зеленым куполом небес звучат фабричные гудки и людские толпы высыпают на улицу. Вспомнил о полыни и полевых цветах среди развалин, домишке, сиротливо ютящемся среди кипарисов в Сахеле, — и перед его глазами возникало видение жизни, чья красота и счастье, казалось, сотканы из отчаянья, из обрывков мимолетной вечности. Вот с чем ему так не хотелось бы расставаться! Неужели жизнь будет идти своим чередом и без него? Задыхаясь от бессильной ярости и жалости к самому себе, он вспомнил обращенное к окну лицо Загрея. Закашлялся, кое-как отдышался. Под одеялом было душно, его снова бросало то в жар, то в холод. Он сгорал от смутного бешенства и, судорожно сжимая кулаки, чувствовал, как кровь тяжело стучит в висках. Вперившись в пустоту, он ждал, что новая волна судорог вот-вот смоеет его в пучину лихорадочного забвения. Его и впрямь скорчило, передернуло, и он очутился в липком, совершенно замкнутом мирке, где его глаза волей-неволей закрылись и сам собой угас неукротимый животный бунт. Но перед тем, как забыться во сне, он успел увидеть, что ночь за занавесками побледнела, и расслышал голос пробуждающегося с зарей мира, властный зов нежности и надежды, заглушавший его ужас перед смертью и в то же время уверявший, что он обретет смысл смерти в том же, в чем состоял весь смысл его жизни.

Когда он проснулся, день был уже в разгаре, за окнами, на припеке, вовсю щебетали птицы и стрекотали цикады. И тут ему вспомнилось, что как раз сегодня должна приехать Люсьена. Чувствуя себя вконец разбитым, он еле дотащился до постели. Во рту остался привкус лихорадки, а в глазах ощущалась такая резь, что все вокруг казалось каким-то колючим, неприветливым. Мерсо велел пригласить Бернара. Тот явился, как всегда, молчаливый и озабоченный, послушал больного, снял очки, чтобы протереть стекла, и, наконец, пробормотал:

— Да, дело плохо.

Потом сделал Патрису два укола, отчего тот на какой-то миг потерял сознание, хотя особой чувствительностью не отличался. А придя в себя, увидел, что доктор одной рукой старается прощупать его пульс, а другой держит часы, следя за судорожными скачками секундной стрелки.

— Вы были в обмороке целую четверть часа, — сказал он. — Сердце не выдерживает. Следующая потеря сознания может оказаться роковой.

Мерсо прикрыл глаза. Он совсем обессилел, губы у него посинели и потрескались, воздух вырывался из груди со свистом.

— Бернар, — позвал он.

— Да.

— Это так ужасно — скончаться в беспамятстве. Я хочу встретить смерть в полном сознании, вы понимаете?

— Понимаю, — кивнул Бернар, протягивая ему пригоршню ампул. — Если вам станет хуже, разбейте одну и проглотите. Это адреналин.

Выходя, доктор столкнулся с Люсьеной.

— Вы все так же очаровательны.

— Что с Патрисом? Он заболел?

— Да.

— Серьезно?

— Да нет, все хорошо, — поспешил успокоить ее Бернар. И, уже в дверях, добавил: — Только постарайтесь не утомлять его, оставляйте почаще одного.

Весь день Мерсо боролся с приступами удушья. Дважды к сердцу подкрадывалась холодная и цепкая пустота, угрожая новой остановкой пульса, но оба раза адреналин вызволял его из этой липкой бездны. И весь день он не отрывал помутневших глаз от бесподобного вида за окнами. Часа в четыре на морском горизонте показалась красная точка и, мало-помалу вырастая, превратилась в большую лодку, сверкавшую от водяных брызг, солнечных лучей и рыбьей чешуи. На корме суденышка, равномерно загребая веслами, стоял Перез. А вслед за тем почти мгновенно настала ночь. Мерсо закрыл глаза и впервые за целый день улыбнулся. Люсьена, незадолго перед тем заглянувшая в спальню — ее томила смутная тревога, — бросилась к нему, обняла и поцеловала.

— Присядь, — попросил ее Мерсо, — ты можешь побыть со мной.

— Хорошо, только ты помолчи, не трать сил понапрасну.

Так они промолчали до тех пор, пока не появился Бернар; сделав укол, он тут же удалился. Огромные алые облака не спеша плыли по небу.

— Когда я был маленьким, — с трудом произнес Мерсо, откинувшись на подушки и не сводя глаз с неба, — мама говорила мне, что закатные облака — это души умерших, возносящиеся в рай. Вот так чудо, думал я, значит, и у меня душа алого цвета. Теперь-то я знаю, что алые облака просто-напросто предвещают ветреный день. Но и это тоже чудесно.

Наступила ночь, полная видений. Огромные сказочные звери покачивали головами среди пустынных пейзажей. Потихоньку отогнав их подальше, в глубь лихорадочного беспмятства, Мерсо оставил перед мысленным взором только окровавленное лицо Загрея. Смерть скоро породнит их, убийца и жертва станут братьями. Мерсо озирает свою жизнь таким же ясным, мужественным взглядом, каким смотрел в свое время на Загрея. До сих пор он просто жил, теперь пришла пора подвести итоги этой жизни. Что же осталось от того неистового порыва, который вечно толкал его вперед, от той неуловимой, но созидательной поэзии, которой было преисполнено его существование? Ничего, кроме голыи истины, а уж она-то не имеет ничего общего с поэзией. Все мы с самого рождения носим в себе множество несхожих существ, массу переплетенных между собою, но неслиянных зачатков личности и лишь перед самым концом угадываем, что же из них было нашим подлинным «я». Обычно этот выбор делает за нас судьба. А Мерсо осуществил его сам, сознательно и решительно. В этом и состояло все его счастье как в жизни, так и в смерти. Еще недавно он смотрел на смерть с животным ужасом, а теперь понял, что бояться ее — значит бояться самой жизни. Страх смерти можно оправдать только безграничной привязанностью ко всему, что есть живого в человеке. Кто не решался действовать, чтобы вознести свою жизнь на новую высоту, кто малодушно упивался собственной немощью, те не могут не бояться смерти, памятуя о том приговоре, который она

выносит их прошедшей впустую жизни. Такие никогда не жили в полную силу, да и жили ли они вообще? Смерть навсегда лишает живительной влаги тех странников, кто не сумел утолить свою жажду при жизни. А для других оказывается роковым и благостным событием, отвергающим и уничтожающим их бытие, но равно принимающим и смирение, и бунт.

Весь день и всю ночь Мерсо провел, сидя на краешке кровати, опершись на ночной столик и охватив голову руками: лежа он уже не мог дышать. Люсьена молча смотрела на него, примостившись рядом. Он тоже иногда поглядывал на жену, думая о том, что, потеряв его, она не устоит перед первым встречным. Отдастся так же, как отдалась ему, и ничего в мире не изменится, когда кто-то другой будет дышать теплом ее полураскрытых губ. А иногда он поднимал голову и смотрел в окно. Теперь его трудно было узнать: воспаленные глаза потускнели и глубоко ввалились, впалые бледные щеки заросли синеватой щетиной.

Он с кошачьей тоской посмотрел за окно, потом вздохнул и перевел взгляд на Люсьену. Теперь он улыбался, и эта жесткая, скупая улыбка придавала его исхудавшему, осунувшемуся лицу неожиданное выражение силы и бодрости.

— Ну, как ты? — спросила она упавшим голосом.

— Ничего, — отозвался он и, снова обхватив голову руками, погрузился в свою ночь. И тут, на исходе воли к сопротивлению, ему впервые открылась тайна улыбки Ролана Загрея, так раздражавшей его в первое время их знакомства. Он дышал прерывисто и хрипло; жар его дыхания оседал влажным пятном на мраморной крышке столика, а потом теплым облачком обдавал лицо, и эта нездоровая теплота была особенно ощутима по контрасту с заледеневшими пальцами и ступнями. Сочетание тепла и холода тоже было приметой жизни, оно приводило на память восторг Загрея, благодарившего жизнь за то, что она «еще дает ему возможность гореть». Патриса внезапно охватил порыв яростной братской любви к этому человеку, который когда-то был ему совершенно чужим; теперь он понял, что, убив Загрея, он навсегда связал себя с ним узами более прочными, чем узы любви. И общими были накопившиеся в нем слезы с привкусом жизни и смерти.

Вспоминая невозмутимость Загрея, глядящего в лицо смерти, Мерсо прозревал в ней тайный и безжалостный образ собственной жизни. Прозрению помогала лихорадка, а еще — восторженная уверенность в том, что он пребудет в полном сознании до самого конца и встретит смерть с открытыми глазами. В тот далекий день глаза Загрея тоже были открыты — и на них навертывались слезы. Но то была последняя слабость человека, не сумевшего взять свое от жизни. А Патрису нечего было бояться этой слабости. Вслушиваясь в лихорадочные толчки крови, словно рвущейся вон из тела, он знал, что эта напасть обойдет его стороной. Ибо он сыграл предназначенную ему роль, исполнил единственный настоящий долг человека — быть счастливым. Правда, счастливым он был недолго. Но разве дело во времени? Оно может только служить препятствием на пути к счастью, а в остальном его можно и не принимать в расчет. Мерсо одолел эту преграду, а уж сколько там сумело прожить порожденное им новое и счастливое существо — два года или два десятка лет — это значения не имеет. Счастье состояло в том, что он дал жизнь этому существу.

Люсьена поднялась, чтобы поправить одеяло, сползшее с его плеч. Он вздрогнул от ее прикосновения. Начиная с того дня, когда он чихнул на площади перед виллой Загрея, и вплоть до нынешнего часа, его тело верой и правдой служило посредником между ним самим и миром. Но в то же время продолжало собственное существование, не зависимое от воплощенного в нем человека. И все эти годы в нем длился медленный, незримый процесс распада. Теперь оно завершало свой путь и было готово расстаться с хозяином, вернув его миру. Дрожь, внезапно сотрясшая Патрису, была лишним подтверждением их давнего и обоюдного согласия, которое даровало им обоим столько радостей. Будь иначе, Мерсо не воспринял бы эту дрожь с чувством отрады. Не хитря и не малодушничая, он добился того, чего хотел: в ясном сознании остался наедине со своим телом и теперь мог заглянуть в лицо смерти широко раскрытыми глазами. Суть в том, чтобы вести себя по-мужски, ведь оба они были настоящими мужчинами. И больше ничего вокруг — ни любви, ни показных жестов, — только бескрайняя пустыня одиночества и счастья, среди которой Мерсо разыгрывал свои последние карты.

Его дыхание становилось все слабее. Он втянул в себя глоток воздуха, и легкие захрипели, словно трубы испорченного органа. Лодыжки сковал холод, кончики пальцев онемели. Занималась заря.

Раннее утро было полно птиц и свежести. Солнце одним скачком поднялось над горизонтом. Земля облеклась в золото и зной. Небо и море обдавали друг друга голубыми и янтарными брызгами, играли в солнечные зайчики. Поднялся легкий ветер, дышавший солью сквозняк ворвался в окно, освежив ладони Мерсо. К обеду ветер утих, и под дружное пение цикад день лопнул, словно перезревший плод, обдав все пространство мира теплым и душистым соком. Покрытое золотистыми масляными блестками море дохнуло на изнемогшую от солнца землю, и та, в свою очередь, задышала ароматами полыни, розмарина и раскаленных камней. Лежа в постели, Мерсо уловил миг этих дуновений, этого взаимного обмена дарами и пристальной взгляделся в огромное и округлое море, сияющее улыбками богов. Потом он внезапно заметил, что уже не лежит, а сидит, а рядом с его лицом виднеется лицо Люсьены. Что-то похожее на камень медленно поднималось из глубины его существа, подступая к самому горлу. Мерсо дышал все быстрее и быстрее, пользуясь задержками этого тяжелого комка. А тот все поднимался и поднимался. Мерсо взглянул на Люсьену, спокойно улыбнулся, — казалось, что его улыбка тоже идет откуда-то изнутри. Потом откинулся на подушки, не переставая ощущать в себе это медленное, неудержимое восхождение. Посмотрел на припухшие губы Люсьены, на улыбку земли за ее спиной, — посмотрел с одинаковым интересом и вожделением.

«Через минуту, через секунду», — подумалось ему. Восхождение завершилось. И, став камнем среди камней, он с радостным сердцем обратился к истинам недвижных миров.

КАЛИГУЛА



CALIGULA

Пьеса в четырех действиях

Действующие лица

Калигула.
Цезония.
Геликон.
Сципион.
Херея.
Сенект, старый патриций.
Метелл
Луций
Лепид
Октавий } патриции.
Управитель.
Мерейя.
Муций.
Первый стражник.
Второй стражник.
Первый служитель.
Второй служитель.
Третий служитель.
Жена Муция.
Первый поэт.
Второй поэт.
Третий поэт.
Четвертый поэт.
Пятый поэт.
Шестой поэт.
Седьмой поэт.

Первое, третье и четвертое действия
происходят во дворце Калигулы; второе — в доме Хереи.

Между первым и последующими действиями проходит три года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена первая

В дворцовом зале собрались патриции, один из них очень стар; они явно нервничают.

Первый патриций. Никаких известий.

Старый патриций. Ни утром, ни вечером.

Второй патриций. Уже три дня никаких известий.

Старый патриций. Посыльные уезжают и возвращаются. Они качают головой и говорят: «Никаких известий».

Второй патриций. Обшарили все окрестности, больше делать нечего.

Первый патриций. Зачем беспокоиться раньше времени? Подождем. Может быть, он как ушел, так и вернется.

Старый патриций. Я видел, как он уходил из дворца. Взгляд у него был странный.

Первый патриций. Я тоже там был и спросил его, что с ним такое.

Второй патриций. А он ответил?

Первый патриций. Он сказал одно слово: «Ничего».

Пауза. Входит Геликон, жуя луковицу.

Второй патриций *(по-прежнему нервничает)*.
Очень тревожно.

Первый патриций. Ну, в молодости все такие.

Старый патриций. Конечно, с годами это проходит.

Второй патриций. Вы думаете?

Первый патриций. Будем надеяться, что он забудет.

Старый патриций. Разумеется! Одну потерял, десятых найдет.

Геликон. С чего вы взяли, что тут дело в любви?

Первый патриций. А в чем же еще?

Геликон. Может быть, печень разболелась. Или просто опротивело каждый день вас видеть. Окружающих было бы гораздо легче выносить, если бы они могли время от времени менять физиономии. Но увы, меню постоянное. Всегда одно и то же рагу.

Первый патриций. Мне хочется думать, что дело в любви. Так трогательнее.

Геликон. И утешительней, главное, гораздо утешительней. Это такая болезнь, что не шадит ни умных, ни дураков.

Первый патриций. Как бы то ни было, горести, к счастью, не вечны. Вы способны страдать больше года?

Второй патриций. Я — нет.

Первый патриций. Никто этого не может.

Старый патриций. Иначе было бы и жить нельзя.

Первый патриций. Вот видите! Знаете, в прошлом году я потерял жену. Я много плакал, а потом забыл. Иногда мне грустно. Но, в общем, это ничего.

Старый патриций. Природа все мудро устроила.

Геликон. Когда я смотрю на вас, мне начинает казаться, что у нее бывают и неудачи.

Входит Херей.

Первый патриций. Ну что?

Херей. По-прежнему никаких известий.

Геликон. Спокойно, спокойно, господа. Будем вести себя прилично. Римская империя — это мы. Если мы потеряем лицо, Империя потеряет голову. Сейчас не время, нет, не время! А для начала отправимся завтракать, Империи это пойдет на пользу.

Старый патриций. Правильно, не стоит из-за всяких химер забывать о насущном.

Херей. Не нравится мне это. Но все шло слишком уж хорошо. Он был идеальный император.

Второй патриций. Да, как раз то, что нужно: совестливый и неискушенный.

Первый патриций. Да что с вами такое, к чему эти стенания? Почему бы ему не продолжать в том же духе? Конечно, он любил Друзиллу. Но, в конце концов, она была его сестрой. Довольно и того, что он с ней спал. А уж будоражить весь Рим из-за того, что она умерла, — это переходит все границы.

Херей. Все равно. Мне это не нравится, и его бегство мне непонятно.

Старый патриций. Да, нет дыма без огня.

Первый патриций. Во всяком случае, в интересах государства нельзя допускать, чтобы кровосмешение принимало трагический оборот. Так уж и быть, пускай кровосмешение, но потихоньку.

Геликон. Видите ли, кровосмешение неизбежно создает какой-то шум. Кровать скрипит, если можно так выразиться. Впрочем, кто вам сказал, что тут дело в Друзилле?

Второй патриций. А в чем же тогда?

Геликон. Догадайтесь. Понимаете, несчастье — как женитьба. Ты думаешь, что выбираешь сам, а оказывается, это тебя выбрали. Тут уж ничего не поделаешь. Наш Калигула несчастен, но, может быть, он и сам не знает почему! Наверно, он почувствовал, что его приперли к стенке, оттого и убежал. И мы с вами поступили бы так же на его месте. Вот я, к примеру, — дай мне возможность выбрать себе отца, я бы не родился.

Входит Сципион.

Сцена вторая

Херей. Есть новости?

Сципион. Пока нет. Какие-то крестьяне говорят, что видели, как он пробежал тут неподалеку вчера ночью, в грозу.

Херей возвращается к сенаторам. Сципион идет за ним.

Херей. Уже три дня прошло, Сципион?

Сципион. Да. Я был при нем, как обычно, и все видел. Он подошел к телу Друзиллы. Дотронулся до него кончиками пальцев. Потом как будто подумал, повернулся кругом и вышел твердой походкой. С тех пор его ищут.

Херей (*качая головой*). Этот юноша слишком любил литературу.

Второй патриций. Естественно в его возрасте.

Херей. Но не в его положении. Император-художник — это не укладывается в голове. Конечно, раз-другой

у нас были такие. Всюду есть паршивые овцы. Но у прочих хватало вкуса оставаться чиновниками.

Первый патриций. Так было спокойнее.

Старый патриций. Каждому свое ремесло.

Сципион. Что можно сделать, Херея?

Херея. Ничего.

Второй патриций. Обождем. Если он не вернется, придется его заменить. Между нами говоря, императоров у нас хватает.

Первый патриций. Да, не хватает у нас только настоящих людей.

Херея. А если он вернется в опасном расположении духа?

Первый патриций. Поверьте, он еще ребенок, мы его наставим на путь истинный.

Херея. А если он не пожелает слушать наши наставления?

Первый патриций (*смеется*). Что ж! Разве не я написал когда-то трактат о государственном перевороте?

Херея. Конечно, если понадобится! Но я предпочел бы, чтобы меня не отрывали от моих книг.

Сципион. Прошу меня извинить. (*Уходит.*)

Херея. Он оскорбился.

Старый патриций. Он мальчишка. Молодые люди все заодно.

Геликон. Заодно они или нет, все равно они составятся.

Появляется стражник с сообщением:

Калигулу видели в дворцовом саду.

Все уходят.

Сцена третья

Несколько секунд сцена пуста. Слева, крадучись, входит Калигула. Вид у него потерянный, одежда перепачкана, волосы мокрые, ноги забрызганы грязью. Он несколько раз подносит ладонь ко рту. Идет к зеркалу и останавливается, увидев собственное отражение. Неразборчиво что-то бормочет, потом идет направо, садится, свесив руки между раздвинутыми коленями. Слева входит Геликон. Заметив Калигулу, останавливается в углу сцены и молча на него смотрит.

Калигула оборачивается и видит его. Пауза.

Сцена четвертая

Геликон (*через всю сцену*). Здравствуй, Гай.
Калигула (*просто*). Здравствуй, Геликон.

Молчание.

Геликон. Ты как будто устал?
Калигула. Я много ходил.
Геликон. Да, тебя долго не было.

Молчание.

Калигула. Было трудно найти.
Геликон. Найти что?
Калигула. То, что я хотел.
Геликон. А что ты хотел?
Калигула (*так же просто*). Луну.
Геликон. Что?
Калигула. Да, я хотел луну.
Геликон. А! (*Молчание. Подходит поближе.*) Зачем?
Калигула. Так... Это одна из тех вещей, которых у меня нет.

Геликон. Понятно. А теперь все в порядке?
Калигула. Нет, я не смог ее достать.
Геликон. Досадно.
Калигула. Да, потому я и устал. (*Пауза.*) Геликон!
Геликон. Да, Гай.
Калигула. Ты думаешь, я сошел с ума.
Геликон. Ты прекрасно знаешь, что я вообще никогда не думаю. Я недостаточно глуп для этого.

Калигула. Да. И все-таки я не сошел с ума, наоборот, я рассудителен как никогда. Просто я внезапно почувствовал, что мне нужно невозможное. (*Пауза.*) На мой взгляд, существующий порядок вещей никуда не годится.

Геликон. Весьма распространенный взгляд.

Калигула. Верно. Но я до сих пор этого не знал. Теперь я знаю. (*Все так же просто.*) Этот мир, такой, как он есть, выносить нельзя. Поэтому мне нужна луна, или счастье, или бессмертие, что-нибудь пускай безумное, но только не из этого мира.

Геликон. Рассуждение последовательное. Но мало кто умеет быть абсолютно последовательным.

Калигула (*вставая, но так же просто*). Ты ничего в этом не понимаешь. Потому и нельзя ничего добиться, что люди не бывают абсолютно последовательны. Но, может быть, только и надо, что оставаться логичным до конца. (*Смотрит на Геликона.*) Я знаю, о чем ты думаешь. Сколько шуму из-за смерти одной женщины! Нет, дело не в этом. Правда, я как будто припоминаю, что несколько дней назад умерла женщина, которую я любил. Но что такое любовь? Пустяк. Эта смерть тут ни при чем, клянусь тебе; она только обозначила истину, из-за которой луна стала мне необходима. Это очень простая и очень ясная истина, немного нелепая, но ее трудно открывать для себя и тяжело выносить.

Геликон. Что же это за истина, Гай?

Калигула (*отвернувшись, невыразительным голосом*). Люди умирают, и они несчастны.

Геликон (*помолчав*). Послушай, Гай, к этой истине можно отлично приспособиться. Взгляни вокруг себя. Аппетита она у людей не отбивает.

Калигула (*внезапно взрывается*). Значит, вокруг меня все ложь, а я хочу, чтобы они жили в истине! И у меня как раз есть средство заставить их жить в истине. Я ведь знаю, чего им не хватает, Геликон. У них нет знаний, и им не хватает учителя, который понимал бы, о чем говорит.

Геликон. Не обижайся на то, что я тебе скажу, Гай, но сначала тебе надо бы отдохнуть.

Калигула (*садится и говорит мягко*). Не могу, Геликон, этого я никогда больше не смогу.

Геликон. Почему же?

Калигула. Если я буду спать, кто мне даст луну?

Геликон (*помолчав*). Это верно.

Калигула встает с явным усилием.

Калигула. Послушай, Геликон. Там шаги и голоса. Молчи и забудь, что ты только что меня видел.

Геликон. Понял.

Калигула направляется к выходу. Оборачивается.

Калигула. И, пожалуйста, помогай мне с этих пор.

Геликон. У меня нет причин этого не делать, Гай. Но я много чего знаю, и мало что меня занимает. В чем я могу тебе помочь?

Калигула. В невозможном.

Геликон. Я постараюсь.

Калигула уходит. Торопливо входят Сципион и Цезония.

Сцена пятая

Сципион. Никого. Ты его не видел, Геликон?

Геликон. Нет.

Цезония. Геликон, он действительно ничего не сказал перед тем, как убежал?

Геликон. Я для него не наперсник, а зритель. Это разумнее.

Цезония. Прошу тебя.

Геликон. Милая Цезония, Гай идеалист, это всем известно. Иначе говоря, он еще не понял. А я понял, вот почему я ни во что не вмешиваюсь. Но если Гай начнет понимать — он, с его добрым сердечком, наоборот, может вмешаться во все. И одному богу ведомо, во что это нам обойдется. Но прошу прощения — время завтракать! *(Уходит.)*

Сцена шестая

Цезония устало садится.

Цезония. Стражник видел, как он тут прошел. Но весь Рим повсюду видит Калигулу. А Калигула на самом деле видит только свою идею.

Сципион. Какую идею?

Цезония. Откуда мне знать, Сципион?

Сципион. Друзилла?

Цезония. Кто может сказать? Но он ее и вправду любил. Это и вправду горько — видеть, как сегодня умирает женщина, которую вчера сжимал в объятьях.

Сципион *(робко)*. А ты?

Цезония. Я? Я — старая любовница.

Сципион. Цезония, его надо спасти.

Цезония. Значит, ты его любишь?

Сципион. Я его люблю. Он был добр ко мне. Он вливал в меня бодрость. Какие-то его слова я помню. Он

говорил, что жизнь нелегка, но что нам даны в ней религия, искусство, любовь. Он часто повторял, что заблуждается только тот, кто причиняет страдание другому. Он хотел быть праведником.

Цезония (*вставая*). Он был ребенок. (*Подходит к зеркалу и смотрится в него.*) У меня никогда не было другого бога, кроме собственного тела. Вот этому богу я и помолюсь сегодня, чтобы мне вернули Гая.

Входит Калигула. Заметив Цезонию и Сципиона, он в нерешительности отступает назад. В ту же минуту с противоположной стороны входят патриции и дворцовый управитель. Они останавливаются в растерянности. Цезония оборачивается.

Вместе со Сципионом она бросается к Калигуле.
Он останавливает их движением руки.

Сцена седьмая

Управитель (*неуверенно*). Мы... мы тебя искали, цезарь.

Калигула (*отрывистым, изменившимся голосом*). Я вижу.

Управитель. Мы... То есть...

Калигула (*резко*). Что вам надо?

Управитель. Мы беспокоились, цезарь.

Калигула (*наступая на него*). С какой стати?

Управитель. Э-э-э... М-м-м... (*Внезапно его осенило; быстро выпаливает.*) Но ты ведь знаешь, что должен решить кое-какие вопросы относительно государственной казны.

Калигула (*его разбирает неудержимый смех*). Казна? Ну как же, конечно, казна — это дело серьезное.

Управитель. Разумеется, цезарь.

Калигула (*смеясь, Цезонии*). Не правда ли, дорогая, казна — это очень важно?

Цезония. Нет, Калигула, казна — дело второстепенное.

Калигула. Ты просто ничего в этом не понимаешь. Казна имеет огромное значение. Все важно: финансы, общественная мораль, внешняя политика, снабжение армии и аграрные законы. Говорю тебе, все очень серьезно. И все одинаково важно: величие Рима и приступы твоего

артрита. Да! Я всем этим займусь. Послушай-ка, управитель.

Патриции подходят поближе.

Калигула. Ты мне верен, не правда ли?

Управитель (*укоризненным тоном*). Цезарь!

Калигула. Так вот, у меня есть для тебя план. Мы перевернем всю политическую экономию в два хода. Я тебе все объясню, управитель... когда патриции уйдут.

Патриции уходят.

Сцена восьмая

Калигула усаживается рядом с Цезонией и обнимает ее за талию.

Калигула. Слушай внимательно. Ход первый: все патриции, все лица в Империи, владеющие каким-то состоянием — большим или маленьким, это совершенно одно и то же, — принудительно обязываются лишиться наследства своих детей и немедленно завещать все государству.

Управитель. Но, цезарь...

Калигула. Я тебе еще не давал слова. По мере наших надобностей мы будем убивать этих лиц в порядке списка, составленного произвольно. При случае мы сможем изменить этот порядок, опять-таки произвольно. И мы все унаследуем.

Цезония (*отстраняясь*). Что это на тебя нашло?

Калигула (*невозмутимо*). Порядок казней действительно не важен. Вернее, все казни одинаково важны, из чего следует, что они не важны вовсе. Впрочем, что те, что другие — все виновны. Заметьте, кстати, что грабить граждан напрямую не более безнравственно, чем вводить косвенные налоги через цены на предметы первой необходимости. Управлять — значит грабить, это всем известно. Только способы есть разные. Я буду грабить открыто. Это высвободит низший персонал. (*Управителю, резко*.) Ты исполнишь этот приказ без промедления. Все римляне подпишут завещания сегодня вечером, а жители провинций — самое позднее через месяц. Разошли гонцов.

Управитель. Цезарь, ты не отдаешь себе отчета...

Калигула. Слушай меня хорошенько, тупица. Если казна имеет значение, тогда человеческая жизнь его не имеет. Это ясно. Все те, кто думает как ты, должны согласиться с этим рассуждением и полагать, что их жизнь — ничто, коль скоро деньги для них — все. А пока я решил быть логичным, и, поскольку власть принадлежит мне, вы увидите, во что вам обойдется эта логика. Я искореню противоречия и противоречащих. Если надо, начну с тебя.

Управитель. Цезарь, моя добрая воля не подлежит сомнению, клянусь тебе.

Калигула. И моя тоже, можешь мне поверить. Доказательство — что я готов стать на твою точку зрения и счесть государственную казну предметом, достойным размышления. Одним словом, будь мне благодарен, ведь я принимаю твою игру и играю твоими картами. *(Помолчав, спокойно.)* К тому же мой план гениален своей простотой, поэтому прения прекращаются. У тебя есть три секунды, чтобы исчезнуть. Считаю: раз...

Управитель исчезает.

Сцена девятая

Цезония. Я тебя не узнаю! Что это, шутка?

Калигула. Не совсем так, Цезония. Это педагогический прием.

Сципион. Но это невозможно, Гай!

Калигула. Вот именно!

Сципион. Я тебя не понимаю.

Калигула. Вот именно! Речь как раз идет о невозможном, вернее, о том, чтобы сделать возможным невозможное.

Сципион. Но в такой игре нельзя остановиться. Это развлечение безумца.

Калигула. Нет, Сципион, это призвание императора. *(Откидывается назад с выражением усталости на лице.)* Наконец-то я понял, в чем польза власти. Она дает кое-какие шансы невозможному. Отныне и на все грядущие времена моя свобода безгранична.

Цезония *(грустно)*. Надо ли этому радоваться, Гай, я не знаю.

Калигула. Я тоже. Но я думаю, что с этим надо жить.

Входит Херей.

Сцена десятая

Херея. Я узнал, что ты вернулся. Молю богов о твоём здоровье.

Калигула. Мое здоровье благодарит тебя. *(Помолчав, внезапно.)* Уходи, Херея, я не хочу тебя больше видеть.

Херея. Я удивлен, Гай.

Калигула. Не удивляйся. Я не люблю литераторов и не выношу их вранья. Они говорят, чтобы не слышать себя. Если бы они себя слышали, то поняли бы, какие они ничтожества, и замолчали. Нет, хватит, лжесвидетели мне отвратительны.

Херея. Если мы и лжем, то чаще всего непреднамеренно. Я не признаю себя виновным.

Калигула. Ложь не бывает невинной. А ваша ложь приписывает какое-то значение людям и вещам. Вот чего я не могу вам простить.

Херея. И все же следует выступать в защиту этого мира, коль скоро мы хотим в нем жить.

Калигула. Не надо защиты, слушанье дела закончено. Этот мир не имеет значения, и кто это понимает — обретает свободу. *(Встает.)* Потому-то я вас и ненавижу, что вы несвободны. Во всей Римской империи свободен я один. Радуйтесь, наконец-то у вас появился император, который вас обучит свободе. Уходи, Херея, и ты тоже, Сципион, дружба мне смешна. Возвестите Риму, что ему наконец возвращена свобода и что вместе с ней наступает великое испытание.

Они уходят. Калигула отворачивается.

Сцена одиннадцатая

Цезония. Ты плачешь?

Калигула. Да, Цезония.

Цезония. Да что, в сущности, изменилось? Ты любил Друзиллу, правда, но одновременно ты любил и меня, и многих других женщин. Ее смерть для тебя — не причина метаться три дня и три ночи под открытым небом и возвращаться назад с таким чужим лицом.

Калигула *(оборачивается)*. Кто тебе говорит о Друзилле, глупая? Ты не можешь представить себе, чтобы человек плакал из-за чего-нибудь, кроме любви?

Цезония. Прости, Гай. Но я пытаюсь понять.

Калигула. Люди плачут оттого, что все идет не так, как им хочется.

Она подходит к нему.

Оставь, Цезония.

Она отступает.

Но побудь со мной.

Цезония. Я сделаю все, что ты пожелаешь. *(Садится.)* В моем возрасте знают, что жизнь не очень-то к нам ласкова. Но если уж есть зло на этой земле, зачем самому стараться его приумножать?

Калигула. Ты не понимаешь. Не важно. Может быть, я выберусь из этого. Но я чувствую, как просыпаются во мне какие-то безымянные существа. Что мне с ними делать? *(Поворачивается к ней.)* Ах, Цезония, я знал, что люди впадают в отчаянье, но не понимал, что значит это слово. Я думал, как и все, что это болезнь души. Нет, это тело страдает. У меня болит кожа, и грудь, и ноги. Меня тошнит, голова кружится. Но самое ужасное — это вкус во рту. Вкус не крови, не смерти, не лихорадки, а всего этого вместе. Стоит мне шевельнуть языком, как все вокруг чернеет. И люди делаются мне омерзительны. Как трудно, как горько становиться человеком!

Цезония. Надо заснуть, спать долго, расслабиться и ни о чем не думать. Я посижу с тобой, пока ты будешь спать. А когда проснешься, мир обретет для тебя прежний вкус. И постарайся употребить свою власть на любовь к тому, что еще стоит любить. Ведь возможное тоже должно получить свой шанс.

Калигула. Но нужно заснуть, нужно забыться, а на это я не способен.

Цезония. Тебе так кажется потому, что ты слишком устал. Пройдет время, и у тебя снова будет твердая рука.

Калигула. Только надо знать, к чему ее приложить. И зачем мне твердая рука, для чего мне это неслыханное могущество, если я не могу изменить миропорядка, не могу сделать так, чтобы солнце садилось на востоке, чтобы страдание исчезло и люди больше не умирали? Нет, Цезония, не все ли равно, спать или бодрствовать, если у меня нет власти над миропорядком.

Цезония. Ты, значит, хочешь сравняться с богами. Я не знаю более страшного безумия.

Калигула. И ты, ты тоже считаешь меня помешанным. Да кто такой этот бог, чтобы я хотел с ним равняться? То, к чему я теперь стремлюсь изо всех сил, превыше всяких богов. Я берусь управлять державой, в которой царствует невозможное.

Цезония. Ты не можешь сделать так, чтобы небо перестало быть небом, чтобы прекрасное лицо превратилось в безобразное, чтобы человеческое сердце стало бесчувственным.

Калигула (*все больше воодушевляясь*). Я хочу перемешать небо и море, красоту сплавить с безобразием, из страдания высечь брызги смеха.

Цезония (*становится перед ним, умоляя*). Но ведь есть добро и зло, величие и низость, праведность и беззаконие. Поверь мне, это все останется неизменным.

Калигула (*все так же возбужденно*). А я желаю это все изменить. Я принесу в дар нашему веку равенство. И когда все выравняется, невозможное придет наконец на землю и луна — ко мне в руки, тогда, быть может, настанет час преобразования для меня и вместе со мной для всего мира, и тогда люди наконец перестанут умирать и будут счастливы.

Цезония (*на крике*). Ты не сможешь отвергнуть любовь.

Калигула (*взрываясь бешенством*). Любовь, Цезония! (*Хватает ее за плечи и трясет.*) Я понял, что это вздор. Важно совсем другое: государственная казна! Ты ведь слышала, правда? С этого все и начинается. Теперь-то я наконец буду жить! Жить, Цезония, жить; а жизнь и любовь — вещи противоположные. Это я тебе говорю. И я приглашаю тебя на невиданный праздник, на вселенский судебный процесс, на прекраснейшее из зрелищ. Но мне нужны люди, зрители, жертвы и виновные.

Он бросается к гонгу и начинает бить в него,
безостановочно и изо всех сил.

Калигула (*ударяя в гонг*). Введите виновных. Мне нужны виновные. А виновны все. (*Бьет в гонг.*) Я хочу, чтобы ввели приговоренных к смерти. Публика, где моя публика? Судьи, свидетели, обвиняемые, все осуждены

заранее! О Цезония, я им покажу то, чего они никогда не видели: единственного свободного человека в этом государстве!

При громовых раскатах гонга дворец наполняется звуками, они растут и приближаются. Голоса, бряцанье оружия, шаги и топот. Калигула смеется и продолжает бить в гонг. Появляются стражники и, постояв, уходят.

Калигула (*бьет в гонг*). А ты, Цезония, будешь мне повиноваться. Ты будешь мне помогать. Это будет чудесно. Поклянись помогать мне, Цезония.

Цезония (*оглушенная, между двумя ударами гонга*). Зачем мне клясться, ведь я люблю тебя.

Калигула (*бьет в гонг*). Ты сделаешь все, что я скажу.

Цезония (*в промежутке между ударами*). Все, что захочешь, Калигула, только перестань.

Калигула (*бьет в гонг*). Ты будешь жестокая.

Цезония (*плача*). Жестокая.

Калигула (*бьет в гонг*). Холодная и неумолимая.

Цезония. Неумолимая.

Калигула (*бьет в гонг*). И ты будешь страдать.

Цезония. Хорошо, Калигула, но я схожу с ума!

Вбегают ошеломленные патриции и с ними
дворцовые служители.

Калигула ударяет в гонг последний раз, поднимает молоток, оборачивается и подзывает их.

Калигула (*вне себя*). Подойдите все. Ближе. Я вам приказываю подойти ближе. (*Топает ногами.*) Император вам приказывает подойти ближе.

Все в страхе приближаются.

Быстрой. А теперь подойди ты, Цезония.

Он берет ее за руку, подводит к зеркалу и иступленно пытается стереть молотком отражение с отшлифованной поверхности.

Калигула (*смеется*). Вот и все, видишь. Нет больше воспоминаний, все лица испарились! Пустота. А знаешь, кто остался? Подойди еще ближе. Смотри. И вы подойдите. Смотрите. (*Он становится перед зеркалом в безумной позе.*)

Цезония (глядя в зеркало, со страхом). Калигула!
Калигула (меняет выражение лица, прижимает палец к стеклу и с внезапно остановившимся взглядом произносит торжествующе). Калигула.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сцена первая

В доме Хереи собрались патриции.

Первый патриций. Он оскорбляет наше достоинство.

Муций. Вот уже три года!

Старый патриций. Он меня называет жenuшкой! Он делает из меня посмешище! Смерть ему!

Муций. Вот уже три года!

Первый патриций. Каждый вечер, отправляясь на загородную прогулку, он заставляет нас бежать за его носилками!

Второй патриций. И говорит, что бег полезен для здоровья.

Муций. Вот уже три года!

Старый патриций. Этому нет оправданий.

Третий патриций. Да, этого простить нельзя.

Первый патриций. Корнелий, он конфисковал твоё имущество; Сципион, он убил твоего отца; Октавий, он похитил твою жену и отдал ее в лупанарий; Лепид, он убил твоего сына. Вы собираетесь это терпеть? А мой выбор сделан. У меня нет колебаний, предпочесть ли возможный риск нынешней невыносимой жизни в страхе и бессилии.

Сципион. Убив моего отца, он решил за меня.

Первый патриций. А вы еще колеблетесь?

Третий патриций. Мы с тобой. Он отдал народу наши места в цирке и вынудил нас драться с плебеями, чтобы потом потяжелее нас наказать.

Старый патриций. Он трус.

Второй патриций. Циник.

Третий патриций. Комедиант.
Старый патриций. Он импотент.
Четвертый патриций. Вот уже три года!

Беспорядочные возгласы. Лязгает оружие. Один из факелов падает, стол опрокидывается. Все спешат к выходу. Но тут входит Херея, совершенно невозмутимый. Он останавливает этот взволнованный порыв.

Сцена вторая

Херея. Куда это вы так торопитесь?

Третий патриций. Во дворец.

Херея. Я так и понял. И вы думаете, вас впустят?

Первый патриций. Мы не собираемся просить разрешения.

Херея. Как вы вдруг осмелели! Вы хотя бы позвольте мне присесть в моем собственном доме?

Дверь закрывают. Херея подходит к опрокинутому столу и присаживается на краешек, остальные его окружают.

Херея. Это не так просто, как вам кажется, друзья мои. Страх, который вы сейчас испытываете, не заменяет мужества и хладнокровия. Все это преждевременно.

Третий патриций. Если ты не с нами, уходи, но попридержи язык.

Херея. Я все-таки думаю, что я с вами. Но по другим причинам.

Третий патриций. Хватит болтовни!

Херея (*вставая*). Да, хватит болтовни. Я хочу, чтобы все было ясно. Если я и с вами, то не за вас. Вот почему ваша тактика мне кажется неудачной. Вы не поняли вашего врага по-настоящему, вы приписываете ему мелочные замыслы. А у него нет иных замыслов, кроме грандиозных, и вы спешите навстречу собственной гибели. Научитесь сначала видеть его таким, какой он есть, тогда вы сможете лучше с ним бороться.

Третий патриций. Мы видим его таким, какой он есть: самым бесноватым из тиранов!

Херея. Не уверен. Безумные императоры у нас бывали. Но этот недостаточно безумен. Я его ненавижу за то, что он знает, чего хочет.

Первый патриций. Он хочет нас всех убить.

Херей. Нет, это для него задача побочная. Его могущество служит страсти более высокой и более губительной. Он угрожает тому, что для нас важнее всего. Конечно, не впервые у нас кто-то располагает безграничной властью, но впервые ею пользуются безгранично, до полного отрицания человека и мира. Вот что меня в нем пугает и с чем я хочу бороться. Расставаться с жизнью не страшно, на это у меня хватит мужества, когда понадобится. Но смотреть, как тает смысл нашей жизни, как мы теряем основания существовать, — невыносимо. Нельзя жить, не имея на то оснований.

Первый патриций. Мечь — чем не основание для жизни?

Херей. Согласен. И хочу присоединиться к вам в этом. Но поймите, я так поступаю не из сочувствия к вашим ничтожным обидам, а для того, чтобы сразиться с великой идеей, победа которой означала бы конец света. Я могу примириться с тем, что вас выставляют на посмешище, но не могу допустить, чтобы Калигуле удалось то, о чем он мечтает, все, о чем он мечтает. Он свою философию претворяет в трупы, и, к несчастью, эта философия непровержима. Когда нечего возразить, надо браться за оружие.

Третий патриций. Значит, надо действовать.

Херей. Надо действовать. Но вы не сокрушите эту преступную власть в открытом бою, пока она полна сил. Сражаться можно с тиранией, с бескорыстным злом надо хитрить. Надо помогать ему созреть, дожидаться, пока его логика перерастет в абсурд. Все это я говорю просто из честности и повторяю еще раз: поймите, я с вами только на время. А потом я не стану служить вашим целям; все, что мне нужно, — это вновь обрести душевное спокойствие в мире, который вновь обретет былую цельность. Я ничего не добиваюсь для себя. Меня побуждает действовать другое — страх, страх разума перед этой нечеловеческой бурей чувств, обращающей мою жизнь в ничто.

Первый патриций (*выступая вперед*). Кажется, я тебя понял, хотя, возможно, и не до конца. Но главное — ты, как и все мы, полагаешь, что основы нашего общества потрясены. Ведь для нас дело прежде всего в морали, не так ли? Семейные устои шатаются, исчезает уважение

к труду, вся страна предается богохульству. Добродетель зовет нас на помощь, неужели мы останемся глухи к ее голосу? Друзья, неужели вы допустите, чтобы патрициев каждый вечер заставляли бежать за носилками цезаря?

Старый патриций. Вы позволите, чтобы их называли «душка»?

Третий патриций. Чтобы у них отнимали жен?

Второй патриций. И детей?

Муций. И деньги?

Пятый патриций. Нет!

Первый патриций. Херея, ты хорошо говорил. И ты правильно сделал, что удержал нас. Время действовать еще не пришло: сегодня народ был бы против нас. Готов ты вместе с нами дожидаться подходящего момента?

Херея. Да, предоставим Калигуле и впредь идти своим путем. Более того, будем его подталкивать все дальше. Будем пестовать его безумие. Настанет день, когда он окажется один на один со страной, населенной мертвецами и родными мертвецов.

Возгласы всеобщего одобрения. Снаружи доносятся звуки труб. Наступает молчание. Затем из уст в уста передается имя: «Калигула».

Сцена третья

Входят Калигула и Цезония в сопровождении Геликона и солдат. Немая сцена. Калигула останавливается и смотрит на заговорщиков. Молча их обходит, у одного поправляет пряжку, перед другим отступает, чтобы лучше разглядеть, еще раз окидывает их взглядом, закрывает глаза рукой и выходит, не сказав ни слова.

Сцена четвертая

Цезония (*указывая на следы беспорядка, с иронией*). Вы сражались?

Херея. Мы сражались.

Цезония (*тем же тоном*). Из-за чего же вы сражались?

Херея. Мы сражались просто так.

Цезония. Значит, это неправда.

Херея. Что — неправда?

Цезония. Вы не сражались.

Херея. Значит, мы не сражались.

Цезония (*улыбаясь*). Наверно, лучше бы здесь прибрать. Калигула терпеть не может беспорядка.

Геликон (*старому патрицию*). Кончится тем, что вы его выведете из себя!

Старый патриций. Да что мы ему сделали?

Геликон. В том-то и дело, что ничего. Уму непостижимо, как можно быть такими ничтожествами. Это становится невыносимо! Поставьте себя на место Калигулы. (*Пауза.*) Вы тут, конечно, замыслили заговорчик? Не так ли?

Старый патриций. Это неправда, поверь мне. Почему он так думает?

Геликон. Он не думает, он знает. Но я предполагаю, что в глубине души он чуть-чуть этому радуется. Ну, давайте приведем все в порядок.

Все занимаются уборкой. Входит Калигула и наблюдает за ними.

Сцена пятая

Калигула (*старому патрицию*). Здравствуй, душка! (*К остальным.*) Херея, я решил немного отдохнуть у тебя. Муций, я позволил себе пригласить твою жену.

Управитель хлопает в ладоши. Появляется раб, но Калигула его останавливает.

Калигула. Минутку! Господа, вам известно: финансы нашего государства держатся только потому, что давно приобрели такую привычку. Но со вчерашнего дня уже и привычка не помогает. Поэтому я поставлен перед прискорбной необходимостью прибегнуть к сокращению персонала. В духе самоотверженности, который вы, без сомнения, сумеете оценить, я решил урезать расходы двора, отпустить кое-кого из рабов и взять вас на их место. Потрудитесь расставить и накрыть столы.

Сенаторы переглядываются в замешательстве.

Геликон. Ну, господа, проявите же немного доброй воли. К тому же спускаться по социальной лестнице легче, чем подниматься, вы в этом убедитесь.

Сенаторы нерешительно покидают свои места.

Калигула (*Дезонии*). Как наказывают нерадивых рабов? Цезония. Думаю, бьют кнутом.

Сенаторы бросаются торопливо и неумело расставлять столы.

Калигула. Старайтесь, старайтесь! В каждом деле главное — порядок! (*Геликону.*) По-моему, они утратили сноровку.

Геликон. Правду сказать, какая у них была сноровка? Разве что мечом махать или отдавать приказания. Надо набраться терпения, вот и все. Сенатора можно сделать из человека за один день, а работника — лет за десять.

Калигула. А чтобы сделать работника из сенатора, боюсь, потребуются все двадцать лет.

Геликон. Но все-таки что-то у них получается. По-моему, у них есть призвание к этому делу! Они просто созданы для рабства.

Один из сенаторов обтирает себе лицо.

Смотри, их даже в пот бросило. Это уже кое-что.

Калигула. Прекрасно. Не надо требовать слишком многого. Могло быть и хуже. И потом, позволить себе минутку справедливости всегда приятно. Кстати, о справедливости, нам надо торопиться: у меня на сегодня еще казнь. Да, Руфию повезло, что я вдруг проголодался. (*Доверительно.*) Руфий — это всадник, который должен умереть. (*Пауза.*) Вы не спрашиваете у меня, почему он должен умереть?

Все молчат. Тем временем рабы принесли кушанья.

Калигула (*добродушно*). Ну, я вижу, вы поумнели. (*Жует оливку.*) Наконец-то вы поняли: чтобы умереть, вовсе не обязательно чем-то провиниться. Солдаты, я доволен вами. Верно, Геликон? (*Перестает жевать и с издевкой смотрит на сотрапезников.*)

Геликон. Конечно! Какое войско! Но если хочешь знать мое мнение, они теперь стали слишком умные и не захотят больше сражаться. Если они сделают еще бóльшие успехи, Империя рухнет!

Калигула. Чудесно. А теперь отдохнем. Рассаживайтесь как попало, забудем о правилах этикета. А все-таки этому Руфию повезло. Ручаюсь, он не оценит этой малень-

кой оттяжки. Между тем несколько часов, выигранных у смерти, — что может быть дороже?

Он принимается за еду, остальные тоже. Становится очевидно, что он не умеет вести себя за столом. Он мог бы не кидать косточки от оливок в тарелки ближайших соседей, не выплевывать недожеванные кусочки мяса на блюдо, равно как и не ковырять в зубах ногтем и не скрести с такой яростью голову. Тем не менее все это он проделывает во время еды, совершенно не смущаясь. Но внезапно он перестает есть и останавливает пристальный взгляд на одном из сотрапезников, Лепиде.

Калигула (*резко*). Ты как будто расстроен. Это потому, что я велел убить твоего сына, Лепид?

Лепид (*у него комок в горле*). Что ты, Гай, напротив.

Калигула (*в восторге*). Напротив! Ах, как мне нравится, когда лицо не выдает, что делается в сердце. У тебя лицо грустное. А сердце? Напротив, Лепид, не так ли?

Лепид (*решительно*). Напротив, цезарь.

Калигула (*еще радостнее*). Ах, Лепид, никого я так не люблю, как тебя. Давай посмеемся вместе. Расскажи мне какую-нибудь веселую историю.

Лепид (*переоценивший свои силы*). Гай!

Калигула. Ну хорошо, тогда я расскажу. Но ты будешь смеяться, да, Лепид? (*Зловещий взгляд.*) Хотя бы ради твоего второго сына. (*Снова весело.*) К тому же ты ведь ничем не расстроен. (*Отпивает глоток и подсказывает.*) На... Напро... Ну, Лепид!

Лепид (*устало*). Напротив, Гай.

Калигула. Отлично. (*Пьет.*) А теперь слушай. (*Мечтательно.*) Жил на свете бедный император, которого никто не любил. А он любил Лепида и велел убить его младшего сына, чтобы вырвать эту любовь из своего сердца. (*Изменившимся тоном.*) Разумеется, это неправда. Разве не забавно? Ты не смеешься? И никто не смеется? Тогда слушайте. (*С яростным гневом.*) Я хочу, чтобы все смеялись. Ты, Лепид, и все остальные. Встаньте и смейтесь. (*Стучит кулаком по столу.*) Слышите, я хочу посмотреть, как вы смеетесь.

Все встают. Дальше эту сцену актеры, кроме Калигулы и Цезонии, могут играть как марионетки.

Калигула (*охваченный неудержимым смехом, в восторге падает на ложе*). Нет, ты посмотри на них, Цезония.

Ничего уже не осталось. Честь, достоинство, доброе имя, вековая мудрость — все это ничего больше не значит. Все исчезает перед страхом. Да, страх, Цезония, вот высокое чувство, без всяких примесей, чистое и бескорыстное, одно из немногих благородных утробных чувств. *(Он потирает себе лоб рукой и пьет. Дружелюбно.)* Теперь поговорим о другом. Херея, ты что-то молчалив.

Херея. Я буду говорить, Гай, как только ты мне это позволишь.

Калигула. Прекрасно. Тогда молчи. Я с удовольствием послушал бы нашего друга Муция.

Муций *(через силу)*. К твоим услугам, Гай.

Калигула. Ну, расскажи нам о своей жене. А для начала вели ей сесть вот сюда, слева от меня.

Жена Муция подходит к Калигуле.

Муций *(растерянно)*. Моя жена? Я ее люблю.

Все смеются.

Калигула. Разумеется, разумеется, мой друг. Но как это пошло! *(Женщина уже рядом с ним. Он рассеянно лижет ей левое плечо. Еще непринужденней.)* Кстати, когда я вошел, вы тут что-то замышляли, да? Наверно, составляли заговорчик?

Старый патриций. Калигула, как ты можешь?..

Калигула. Пустяки, моя прелесть. Старость должна перебеситься. Все это действительно пустяки. Вы неспособны на мужественный поступок. Я просто вдруг вспомнил, что должен еще уладить кое-какие государственные дела. Но сначала отдадим дань неодолимым потребностям, заложенным в нас природой. *(Встает и уводит жену Муция в соседнюю комнату.)*

Сцена шестая

Муций делает попытку встать.

Цезония *(любезно)*. Муций, я бы выпила еще немного этого чудесного вина.

Муций, покоровшись, молча наливает ей вина.

Всем не по себе. Сиденья поскрипывают.

Последующий разговор идет несколько натужно.

Цезония. Да, Херея! Не расскажешь ли теперь, из-за чего вы тут сражались только что?

Херея (*холодно*). Все произошло оттого, милая Цезония, что мы заспорили, следует ли поэзии быть смертоносной или нет.

Цезония. Как интересно. Конечно, это выше моего женского понимания. Но меня поражает ваша готовность драться друг с другом из-за страсти к искусству.

Херея (*тем же тоном*). Разумеется. Калигула говорил мне, что в настоящей страсти обязательно должна быть капля жестокости.

Геликон. А в любви — чуточку насилия.

Цезония (*жуя*). В этом есть доля истины. А как думают остальные?

Старый патриций. Калигула — глубокий психолог.

Первый патриций. Он очень красноречиво говорил нам о храбрости.

Второй патриций. Ему следовало бы собрать и записать все свои мысли. Это была бы бесценная книга.

Херея. Не говоря о том, что это могло бы его занять. Ведь очевидно, что он нуждается в развлечениях.

Цезония (*продолжая есть*). Вы будете рады узнать, что он об этом подумал и как раз сейчас пишет большой трактат.

Сцена седьмая

Входят Калигула и жена Муция.

Калигула. Муций, возвращаю тебе жену. Она снова твоя. Но прошу прощения, я должен дать кое-какие указания.

Сцена восьмая

Цезония (*Муцию, который остался стоять*). Мы не сомневаемся, Муций, что этот трактат превзойдет самые знаменитые сочинения.

Муций (*глядя на дверь, в которой исчез Калигула*). А о чем там речь, Цезония?

Цезония (*равнодушно*). О, этого я не понимаю.

Херей. Из чего можно заключить, что в нем говорится о смертоносной силе поэзии.

Цезония. Кажется, именно так.

Старый патриций (*радостно*). Что ж! Это может его занять, как сказал Херей.

Цезония. Да, моя прелесть. Но боюсь, что название трактата вас может смутить.

Херей. Как же он называется?

Цезония. «Меч».

Сцена девятая

Быстро входит Калигула.

Калигула. Извините меня, но государственные дела тоже не терпят отлагательств. Управитель, ты прикажешь запретить житницы. Декрет об этом я только что подписал. Ты найдешь его в спальне.

Управитель. Но...

Калигула. С завтрашнего дня начинается голод.

Управитель. Но народ будет роптать.

Калигула (*со всей резкостью и определенностью*). Я сказал, что с завтрашнего дня начинается голод. Что такое голод, всем известно: это национальное бедствие. Национальное бедствие начинается завтра... Я прекращу его, когда мне заблагорассудится. (*Объясняет присутствующим.*) В конце концов, у меня не так уж много способов доказать, что я свободен. Свободны всегда за чей-то счет. Это прискорбно, но в порядке вещей. (*Бросает взгляд на Муция.*) Возьмите, к примеру, ревность, и вы убедитесь, что я прав. (*Задумчиво.*) Хотя ревность — это так некрасиво! Страдать из-за самолюбия и слишком живого воображения! Представлять себе, как твоя жена...

Муций сжимает кулаки и хочет что-то сказать.

Калигула (*очень быстро*). За стол, господа. Известно ли вам, что мы с Геликоном работаем не покладая рук? Мы заканчиваем небольшой трактат о смертной казни, и вы скажете, что вы о нем думаете.

Геликон. В том случае, если вашего мнения спросят.

Калигула. Будем великодушны, Геликон! Откроем им наши маленькие тайны. Итак, раздел третий, параграф первый.

Геликон (*встает и декламирует механически*). «Смертная казнь приносит облегчение и освобождение. Это мера всеобъемлющая, бодрящая и справедливая как в своем применении, так и в своих целях. Люди умирают потому, что они виновны. Люди виновны потому, что они подданные Калигулы. Подданными Калигулы являются все. Следовательно, все виновны. Из чего вытекает, что все умрут. Это вопрос времени и терпения».

Калигула (*смеясь*). Что скажете? Терпение, вот драгоценная находка! Если хотите, это то, что меня больше всего в вас восхищает.

А теперь, господа, вы свободны. Херея вас больше не задерживает. Но Цезония пусть останется. И Лепид, и Октавий! А также Мерейя. Я хотел бы обсудить с вами, как идут дела в моем лупанарии. Меня это очень беспокоит.

Остальные медленно уходят. Калигула провожает глазами Муция.

Сцена десятая

Херея. К твоим услугам, Гай. Что там не ладится? Персонал плохо работает?

Калигула. Да нет, но выручка мала.

Мерейя. Надо поднять расценки.

Калигула. Мерейя, ты упустил случай помолчать. В твоём возрасте такие вещи уже неинтересны, и я твоего мнения не спрашиваю.

Мерейя. Тогда зачем ты велел мне остаться?

Калигула. Потому что мне вскоре понадобится беспристрастный совет.

Херея. Если позволишь, Гай, я дам свой пристрастный совет и скажу, что расценки менять не стоит.

Калигула. Разумеется. Но нужно же нам поправить наши финансовые дела. Я уже объяснил свой план Цезонии, она вам его изложит. А я слишком много выпил, меня клонит ко сну. (*Ложится и закрывает глаза.*)

Цезония. Все очень просто. Калигула учреждает новый орден.

Херея. Не вижу связи.

Цезония. А между тем она есть. Это будет орден «За гражданский подвиг». Его получают те граждане, которые будут чаще всех посещать лупанарий Калигулы.

Херея. Блестящая мысль.

Цезония. Мне тоже так кажется. Я забыла сказать, что эта награда будет присуждаться каждый месяц после подсчета входных билетов; гражданин, не получивший награды по истечении двенадцати месяцев, будет изгнан или казнен.

Лепид. Почему «или казнен»?

Цезония. Потому что Калигула говорит, что это не имеет значения. Важно, чтобы он мог выбирать.

Херея. Bravo. Теперь казна пополнится.

Геликон. А главное — обратите внимание, каким высоконравственным способом. В конце концов, лучше взимать налог с порока, чем платить за добродетель, как делается в республиканских государствах.

Калигула приоткрывает глаза и смотрит на старика Мерейю, который, стоя в сторонке, достает какую-то скляночку и отпивает из нее глоток.

Калигула (*лежа*). Что ты пьешь, Мерейя?

Мерейя. Это от астмы, Гай.

Калигула (*подходит к нему, заставляя остальных расступиться, и принохивается*). Нет, это противоядие.

Мерейя. Да нет, Гай. Ты шутишь. Я задыхаюсь по ночам и давно лечусь.

Калигула. Значит, ты боишься отравы?

Мерейя. Моя астма...

Калигула. Нет. Назовем вещи своими именами: ты боишься, что я тебя отравлю. Ты меня подозреваешь. Ты следишь за мной.

Мерейя. Да нет же, клянусь всеми богами!

Калигула. Ты мне не доверяешь. Так или иначе, ты защищаешься от меня.

Мерейя. Гай!

Калигула (*грубо*). Отвечай. (*С математической неопровержимостью.*) Если ты принимаешь противоядие, следовательно, ты приписываешь мне намерение отравить тебя.

Мерейя. Да... то есть... нет.

Калигула. И полагая, будто я принял решение отравить тебя, ты делаешь все, чтобы воспротивиться моей воле.

Наступает молчание. Цезония и Херея отошли в глубь сцены с началом этого разговора; один Лепид с тревогой к нему прислушивается.

Калигула (*рассуждает еще более последовательно*). Итак, у нас два преступления и альтернатива, которой ты не сможешь избежать: либо я не хотел тебя убивать, и ты меня подозреваешь несправедливо, меня, твоего императора. Либо я этого хотел, и ты, козьявка, противишься моим замыслам. (*Пауза. Калигула смотрит на старика с удовлетворением.*) Ну, Мерейя, как тебе такая логика?

Мерейя. Она... она безупречна, Гай. Но к моему случаю она не приложима.

Калигула. И третье преступление: ты считаешь меня идиотом. Теперь слушай. Из этих трех преступлений одно — второе — делает тебе честь. Коль скоро ты предполагаешь, что я принял какое-то решение, и противодействуешь ему, значит, ты бунтовщик. Ты предводитель восстания, революционер. Это прекрасно. (*С грустью.*) Я очень люблю тебя, Мерейя. Поэтому ты будешь осужден за свое второе преступление, а не за остальные. Ты умрешь как мужчина — за бунт.

Во время этой речи Мерейя все больше съеживается в своем кресле.

Калигула. Не благодари меня. Это вполне естественно. Возьми. (*Протягивает ему флакон и предлагает любезно.*) Выпей этот яд.

Мерейя трясется от рыданий и отчаянно мотает головой.

Калигула (*теряя терпение*). Ну же, скорей.

Мерейя пытается убежать. Калигула одним тигриным прыжком настигает его на середине сцены, бросает на низенькую скамеечку и после нескольких секунд борьбы протискивает ему флакон между зубами и разбивает флакон кулаком. Подергавшись в судорогах, Мерейя умирает; его лицо залито слезами и кровью. Калигула встает и машинально отирает руки.

Калигула (*Цезонии, подавая ей осколок склянки, которую носил с собой Мерейя*). Что это такое? Противоядие? Цезония (*спокойно*). Нет, Калигула. Лекарство от астмы.

Калигула (*помолчав, глядя на Мерейю*). Все равно. Какая разница? Немного раньше, немного позже...

Внезапно уходит — с озабоченным видом,
не переставая вытирать руки.

Сцена одиннадцатая

Лепид (*совершенно подавленный*). Что теперь делать?
Цезония (*просто*). Я думаю, прежде всего убрать тело. Уж очень оно безобразно!

Херея и Лепид поднимают тело и уносят его за кулисы.

Лепид (*Херее*). Надо спешить.

Херея. Нас должно набраться человек двести.

Входит Сципион. Заметив Цезонию, делает шаг к выходу.

Сцена двенадцатая

Цезония. Иди сюда.

Сципион. Что тебе нужно?

Цезония. Подойди поближе. (*Берет его за подбородок и смотрит ему в глаза. Пауза. Холодно.*) Он убил твоего отца?

Сципион. Да.

Цезония. Ты его ненавидишь?

Сципион. Да.

Цезония. Ты хочешь его убить?

Сципион. Да.

Цезония (*отпуская его*). Тогда почему ты мне это говоришь?

Сципион. Потому что я никого не боюсь. Убить его или погибнуть самому — это только разные способы со всем покончить. И потом, ты меня не выдашь.

Цезония. Ты прав, я тебя не выдам. Но я хочу тебе кое-что сказать — вернее, я хотела бы поговорить с тем, что есть лучшего в тебе.

Сципион. Лучшее во мне — моя ненависть.

Цезония. И все же выслушай меня. То, что я хочу тебе сказать, одновременно и непостижимо, и очевидно. Но будь это слово услышано по-настоящему, оно совершило бы ту единственную революцию, которая способна окончательно перевернуть этот мир.

Сципион. Так скажи его.

Цезония. Не сразу. Подумай сначала о перекошенном болью лице твоего отца, когда у него вырывали язык.

Подумай об этом рте, наполненном кровью, об этом крике терзаемого животного.

Сципион. Да.

Цезония. Теперь подумай о Калигуле.

Сципион *(со всей ненавистью в голосе)*. Да.

Цезония. А теперь слушай: попытайся его понять.
(Уходит, оставив Сципиона в растерянности.)

Входит Геликон.

Сцена тринадцатая

Геликон. Калигула идет сюда. Вы не собираетесь обедать, поз?

Сципион. Геликон! Помоги мне.

Геликон. Это небезопасно, голубка моя. К тому же я ничего не понимаю в стихах.

Сципион. Ты мог бы мне помочь. Ты так много знаешь.

Геликон. Я знаю, что дни уходят и что надо торопиться поесть. Еще я знаю, что ты мог бы убить Калигулу... и что он был бы не против.

Входит Калигула. Геликон уходит.

Сцена четырнадцатая

Калигула. А, это ты. *(Останавливается в нерешительности, не зная, как себя держать.)* Я давно тебя не видел. *(Медленно идет к нему.)* Что подельываешь? Не бросил писать? Покажешь мне свои последние сочинения?

Сципион *(ему тоже не по себе; его раздирают между собой ненависть и какое-то другое, непонятное ему самому чувство)*. Я написал несколько стихотворений, цезарь.

Калигула. О чем?

Сципион. Не знаю, цезарь. Наверное, о природе.

Калигула *(свободнее)*. Прекрасный сюжет. И обширный. Что тебе дает природа?

Сципион *(берет себя в руки, саркастично и зло)*. Она утешает меня в том, что я не цезарь.

Калигула. А! Как, по-твоему, она могла бы утешить меня в том, что я цезарь?

Сципион (*тем же тоном*). Право же, она излечивала и более глубокие раны.

Калигула (*удивительно просто*). Раны? Ты сказал это со злобой. Это потому, что я убил твоего отца? Но если бы ты знал, какое это точное слово. Рана! (*Другим тоном*). Только ненависть делает людей умнее.

Сципион (*ледяным голосом*). Я ответил на твой вопрос о природе.

Калигула садится, смотрит на Сципиона, потом вдруг берет его за руки и с силой притягивает к себе, усаживая у своих ног.
Сжимает его лицо в ладонях.

Калигула. Прочти мне свое стихотворение.

Сципион. Нет, цезарь, прошу тебя.

Калигула. Почему?

Сципион. У меня его нет с собой.

Калигула. Ты его не помнишь наизусть?

Сципион. Нет.

Калигула. Скажи хотя бы, о чем оно.

Сципион (*так же напряженно и словно нехотя*). Я в нем говорил...

Калигула. Да?

Сципион. Нет, не помню...

Калигула. Попробуй...

Сципион. Я говорил о тайном согласии между землей...

Калигула (*перебивает, будто погруженный в свои мысли*). ...между землей и ступнями...

Сципион (*он озадачен; поколебавшись, продолжает*). Да, пожалуй, так...

Калигула. Продолжай.

Сципион. ...и об очертаниях римских холмов, и о том быстротечном и шемящем умиротворении, что приносит с собой вечер...

Калигула. ...о криках стрижей в зеленом небе.

Сципион (*понемногу оттаивая*). Да, и об этом.

Калигула. Дальше.

Сципион. И о хрупком миге, когда небо, еще все в золоте, внезапно поворачивается и открывает нам обратную свою сторону, усеянную сверкающими звездами.

Калигула. О том запахе дыма, деревьев и реки, что земля шлет тогда навстречу ночи...

Сципион (*в экстазе*). ...звонят цикады, дневной жар спадает, и собаки, и скрип запоздалых повозок, и голоса крестьян...

Калигула. ...и дороги покрываются тенью под самшитом и оливами...

Сципион. Да, да, все верно! Но почему ты догадался?

Калигула (*прижимает Сципиона к себе*). Не знаю. Может быть, потому, что нам дороги одни и те же истины.

Сципион (*вздрагивает и прячет лицо на груди Калигулы*). Ах, не все ли равно, если я повсюду вижу один только лик любви!

Калигула (*глядя его по голове*). Это свойственно великим сердцам, Сципион! Если б мне было дано познать такую незамутненность души! Но я слишком хорошо знаю, как сильна моя жадность к жизни, природа ее не утолит. Ты не можешь этого понять. Ты из другого мира. Ты без остатка принадлежишь добру, как я — злу.

Сципион. Я могу понять.

Калигула. Нет. Во мне что-то такое — безмолвный омут, гниющие водоросли... (*Внезапно изменившимся голосом*.) Наверно, твое стихотворение прекрасно. Но если хочешь знать мое мнение...

Сципион (*в той же позе*). Да.

Калигула. Все это страдает малокровием.

Сципион резко откидывается назад и с ужасом смотрит на Калигулу. Он говорит глухим голосом, отстраняясь все дальше от Калигулы и напряженно в него вглядываясь.

Сципион. О чудовище, гнусное чудовище. Ты опять ломал комедию. Ты ломал комедию только что, да? И ты собой доволен?

Калигула (*с легкой грустью*). В том, что ты говоришь, есть правда. Я ломал комедию.

Сципион (*тем же тоном*). Какое у тебя, наверно, подлое и кровавое сердце. Столько злобы и ненависти — как они, наверно, тебя терзают!

Калигула (*мягко*). Довольно, замолчи.

Сципион. Как мне тебя жалко и как я тебя ненавижу!

Калигула (*с гневом*). Замолчи.

Сципион. И в каком же мерзком одиночестве ты, наверно, живешь!

Калигула (*взорвавшись, бросается на него, хватая за шиворот и трясет*). Одиночество! Разве ты его испытал? Одиночество поэтов и худосочных. Одиночество? Какое? Ты не знаешь, что человек никогда не остается один! Что весь груз будущего и прошлого повсюду с нами! С нами те,

кого мы убили. И это еще не самое трудное. Но с нами и те, кого мы любили, кого не любили и кто любил нас, раскаянье, желания, горечь и нежность, шлюхи и вся шайка богов. *(Отпускает его и возвращается на свое место.)* Побывать одному! О, если бы я только мог погрузиться в одиночество, но не в мое, отравленное присутствием других, а в настоящее, в тишину и трепет дерева! *(Садится, внезапно охваченный усталостью.)* Одиночество! Нет, Сципион. Оно пронизано скрежетом зубным и все звенит умолкнувшими звуками и голосами. И подле женщин, которых я ласкаю, когда нас окутывает ночь, и я, отделившись от своей наконец-то насытившейся плоти, надеюсь между жизнью и смертью побывать хоть немного самим собой, мое одиночество заполняется до краев едким запахом наслаждения под мышками у женщины, дремлющей рядом со мной.

Он как будто выдохся. Долгое молчание.

Сципион заходит Калигуле за спину и неуверенно приближается к нему. Протягивает к Калигуле руку и кладет ему на плечо. Калигула, не оборачиваясь, накрывает его руку своей.

Сципион. У каждого человека есть какая-то отрада в жизни. Она не дает все бросить. Ее зовут на помощь, когда выбиваются из сил.

Калигула. Это правда, Сципион.

Сципион. Неужели в твоей жизни нет ничего такого? Закипающих слез, тихого убежища?

Калигула. Пожалуй, есть.

Сципион. Что же это?

Калигула *(медленно)*. Презрение.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Сцена первая

За закрытым занавесом звуки барабана и тарелок. Занавес поднимается, открывая что-то вроде ярмарочного балагана.

В центре задернутая занавеска; перед ней на небольшом помосте Геликон и Цезония. По обе стороны от них музыканты с инструментами. На скамьях спиной к зрителям сидят несколько сенаторов и Сципион.

Геликон (*голосом ярмарочного зазывалы*). Подходите!
Подходите!

Тарелки.

Боги снова спустились на землю. Гай, цезарь и бог, известный под именем Калигулы, ссудил им свое человеческое обличье. Подходите, обыкновенные смертные, священное чудо совершается на ваших глазах. По особой милости к благословенному царствованию Калигулы божественные тайны открываются всем и каждому.

Тарелки.

Цезония. Подходите, господа! Поклоняйтесь и платите сколько можете. Небесная мистерия сегодня всем по карману.

Тарелки.

Геликон. Олимп и его закулисная жизнь, его интриги и слезы, его обитатели запросто, по-домашнему. Подходите! Подходите! Вся правда о ваших богах!

Тарелки.

Цезония. Поклоняйтесь и платите деньги. Подходите, господа! Представление начинается.

Тарелки. Рабы бегают взад и вперед, вынося на помост разные предметы.

Геликон. Потрясающее воссоздание истины, принятое впервые. Силы небесные показываются здесь, на земле, во всем их великолепии, захватывающее, невиданное зрелище: молния (*рабы зажигают греческий огонь*), гром (*катят бочонок с камнями*), сама судьба в своем триумфальном шествии! Подходите и смотрите!

Отдергивает занавеску, за которой предстает Калигула на пьедестале, переодетый шутовской Венерой.

Калигула (*любезно*). Сегодня я — Венера.

Цезония. Обряд поклонения начинается. На колени.

Все, кроме Сципиона, опускаются на колени.

И повторяйте за мной священную молитву Калигуле-Венере: Богиня скорби и пляски...

Патриции. Богиня скорби и пляски...

Цезония. Рожденная из волн, вся липкая и горькая от соли и пены морской...

Патриции. Рожденная из волн, вся липкая и горькая от соли и пены морской...

Цезония. Ты, подобная улыбке и сожалению...

Патриции. Ты, подобная улыбке и сожалению...

Цезония. ...обиде и восторгу...

Патриции. ...обиде и восторгу...

Цезония. Научи нас равнодушию, возрождающему любовь...

Патриции. Научи нас равнодушию, возрождающему любовь...

Цезония. Наставь нас в истине этого мира, гласящей, что ее в нем нет...

Патриции. Наставь нас в истине этого мира, гласящей, что ее в нем нет...

Цезония. И ниспошли нам силы жить достойно этой несравненной истины...

Патриции. И ниспошли нам силы жить достойно этой несравненной истины...

Цезония. Пауза!

Патриции. Пауза!

Цезония (*продолжает*). Осыпь нас своими дарами, осени наши лица своей беспристрастной жестокостью, своей непредвзятой ненавистью, кидай нам в глаза полные пригоршни цветов и убийств.

Патриции. ...полные пригоршни цветов и убийств.

Цезония. Прими своих заблудших чад. Впусти их в суровый приют своей равнодушной и мучительной любви. Надели нас своими страстями без предмета, печальями без причины и радостями без будущего...

Патриции. ...и радостями без будущего...

Цезония (*очень громко*). О ты, такая опустошенная и палящая, бесчеловечная, но земная, опои нас вином своего безразличия и заключи нас навеки в свое мрачное и грязное сердце.

Патриции. Опои нас вином своего безразличия и заключи нас навеки в свое мрачное и грязное сердце.

Когда патриции заканчивают последнюю фразу, Калигула, до того неподвижный, громко фыркает и возглашает трубным голосом.

Калигула. Да будет так, дети мои, ваши молитвы исполнятся.

Садится по-турецки на пьедестале. Патриции по очереди преклоняют перед ним колени и протягивают монету; потом собираются в правом углу сцены, прежде чем уйти. Последний из них в смятении забывает дать монетку и отходит. Но Калигула рывком вскакивает на ноги.

Калигула. Эй! Эй! Поди-ка сюда, мой мальчик. Поклоняться — это прекрасно, но давать деньги — еще лучше. Спасибо. Вот и хорошо. Если бы боги не имели других сокровищ, кроме любви смертных, они были бы так же бедны, как бедный Калигула. А теперь, господа, вы можете разойтись и поведать городу об удивительном чуде, при котором вам довелось присутствовать. Вы видели Венеру, в прямом смысле слова видели, своими плотскими очами, и Венера говорила с вами. Идите, господа.

Патриции собираются уходить.

Минутку! Идите через левый выход. У правого я поставил солдат, им приказано вас убить.

Патриции поспешно уходят беспорядочной толпой.
Рабы и музыканты исчезают со сцены.

Сцена вторая

Геликон грозит Сципиону пальцем.

Геликон. Так ты еще и анархист, Сципион!

Сципион. Ты совершил кощунство, Гай.

Геликон. Что бы это могло значить?

Сципион. Ты залил кровью землю, а теперь пачкаешь грязью небо.

Геликон. Этот молодой человек обожает громкие слова. *(Растягивается на кушетке.)*

Цезония *(очень спокойно)*. Какой ты горячий, мой мальчик. В эту минуту в Риме люди умирают за выражения куда менее красноречивые.

Сципион. Я решил сказать Гаю правду.

Цезония. Что ж, Калигула, моралист — как раз этого благородного персонажа твоему царствованию не хватало.

Калигула (*заинтересован*). Значит, ты веришь в богов, Сципион?

Сципион. Нет.

Калигула. Тогда я не понимаю, почему ты так пылко обличаешь кощунство.

Сципион. Я могу не разделять каких-то убеждений, но это не значит, что я обязан их осквернять или отнимать у других право их иметь.

Калигула. Вот это называется скромность, настоящая скромность! Ах, дорогой Сципион, как я рад за тебя. И знаешь, немножко завидую. Ведь это единственное свойство, которого у меня, наверно, никогда не будет.

Сципион. Ты завидуешь не мне, а самим богам.

Калигула. Если позволишь, это останется великой тайной моего царствования. Все, в чем меня сегодня можно упрекнуть, — это в том, что я еще немного продвинулся на пути к могуществу и свободе. Человека, который любит власть, соперничество богов раздражает. Я с ним покончил. Я доказал этим мнимым богам, что если у человека есть воля, то он может справиться с их жалким ремеслом без подготовки.

Сципион. Это и есть кощунство, Гай.

Калигула. Нет, Сципион, это прозорливость. Я просто понял, что есть только один способ сравниться с богами: достаточно быть столь же жестоким.

Сципион. Достаточно стать тираном.

Калигула. Что такое тиран?

Сципион. Слепая душа.

Калигула. Это еще надо доказать, Сципион. Тиран — это тот, кто приносит целые народы в жертву своим идеалам или своему честолюбию. Идеалов у меня нет, а что касается почестей и власти, то тут мне больше нечего домогаться. Властью я пользуюсь, чтобы вознаградить себя.

Сципион. За что?

Калигула. За тупость и злобу богов.

Сципион. Злоба не может вознаградить за злобу. Власть таких задач не решает. А я знаю только одно средство противостоять враждебности мира.

Калигула. Какое же?

Сципион. Бедность.

Калигула (*обстригая себе ногти на ногах*). Надо будет и его попробовать.

Сципион. А пока множество людей умирает вокруг тебя.

Калигула. На самом деле совсем немного, Сципион. Ты знаешь, от скольких войн я отказался?

Сципион. Нет.

Калигула. От трех. А знаешь, почему я отказался?

Сципион. Потому что тебе наплевать на величие Рима.

Калигула. Нет, потому что я уважаю человеческую жизнь.

Сципион. Ты издеваешься надо мной, Гай.

Калигула. Или по крайней мере я уважаю ее больше, чем лавры завоевателя. Правда, чужую жизнь я уважаю не больше, чем свою собственную. И если мне легко убивать, то потому, что мне и умереть нетрудно. Нет, чем больше я об этом размышляю, тем больше убеждаюсь, что я не тиран.

Сципион. Какая разница, будь ты тираном, нам это обошлось бы не дороже.

Калигула (*начинает терять терпение*). Если бы ты умел считать, то сообразил бы, что самая ничтожная война, затеянная здравомыслящим тираном, обошлась бы вам в тысячу раз дороже моих причуд.

Сципион. Но она была бы доступна здравому смыслу. А главное — это чтобы можно было понять.

Калигула. Судьбу понять нельзя, вот почему я и решил сам занять место судьбы. Я принял тупое и непостижимое обличье богов. Этому твои недавние сотоварищи и учились только что поклоняться.

Сципион. Это и есть кощунство, Гай.

Калигула. Нет, Сципион, это драматическое искусство. Ошибка всех этих людей состоит в том, что они недостаточно верят в театр. Иначе они бы знали, что разыгрывать небесные трагедии и превращаться в бога позволено каждому. Надо только вырвать всякую жалость из сердца.

Сципион. Возможно, так оно и есть, Гай. Но если это правда, тогда, я думаю, ты сделал все необходимое для того, чтобы однажды вокруг тебя поднялись легионы таких же неумолимых земных богов и утопили в крови твое собственное божество на час.

Цезония. Сципион!

Калигула (*отрывисто и резко*). Оставь, Цезония. Ты сам не знаешь, как верно ты сказал, Сципион: я сделал все необходимое. Я с трудом представляю себе тот миг, о котором ты говоришь. Но иногда я о нем мечтаю. И во всех лицах, которые выступают из глубины этой горькой ночи, в их искаженных ненавистью и тревогой чертах я и вправду с восторгом узнаю того единственного бога, которому поклонялся на этой земле: бога жалкого и подлого, как человеческое сердце. (*Раздраженно.*) А теперь уходи. Ты и так сказал слишком много. (*Другим тоном.*) А мне еще надо покрасить ногти на ногах. Это нельзя откладывать.

Все уходят, кроме Геликона, который бродит вокруг Калигулы, сосредоточенно красящего себе ногти.

Сцена третья

Калигула. Геликон!

Геликон. Что?

Калигула. Продвигается твоя работа?

Геликон. Какая работа?

Калигула. Как! А луна!

Геликон. Двигается понемногу. Надо только потерпеть. Но я хотел с тобой поговорить.

Калигула. Терпения у меня, может быть, и хватит, но не времени. Надо спешить, Геликон.

Геликон. Я же сказал тебе, что буду стараться. Но сначала мне надо сообщить тебе важные вещи.

Калигула (*как будто не слыша*). Заметь, что она уже была моей.

Геликон. Кто?

Калигула. Луна.

Геликон. Ну да, конечно. Ты знаешь, что готовится покушение на твою жизнь?

Калигула. Она была совсем моей. Правда, только два или три раза. Но все-таки она была моей.

Геликон. Я уже давно пытаюсь с тобой поговорить.

Калигула. Это было прошлым летом. Я смотрел на нее и ласкал ее на колоннах сада, и она наконец поняла.

Геликон. Оставим эти игры, Гай. Пускай ты не желаешь меня слушать, все равно, мое дело — сказать. Если ты не обращаешь внимания, тем хуже.

Калигула (*продолжает тщательно красить ногти на ногах*). Этот лак никуда не годится. Да, так вернемся к луне. Это случилось в чудесную августовскую ночь.

Геликон с досадой отворачивается и молчит, застыв на месте.

Сперва она немного пококетничала. Я уже лег. Сначала она была совершенно кровавая и стояла прямо над горизонтом. Потом начала подниматься все быстрее и становилась все легче. Чем выше она поднималась, тем делалась светлее. Она была как молочно-белое озеро во тьме, полной мерцающих звезд. И наконец она явилась в жарком дыхании ночи, нежная, легкая и нагая. Она миновала порог спальни, неспешно и уверенно приблизилась к моей постели и заструилась в нее, обливая меня своей улыбкой и своим сиянием. Этот лак решительно никуда не годится. Вот видишь, Геликон, я могу сказать, не хвастая, что она была моей.

Геликон. Хочешь ты меня выслушать и узнать, что тебе угрожает?

Калигула (*перестает красить ногти и пристально смотрит на него*). Я хочу только луну, Геликон. Я знаю заранее, откуда придет смерть. Но я еще не исчерпал всего, что заставляет меня жить. Поэтому я хочу луну. И не появляйся здесь, пока не достанешь мне ее.

Геликон. Что ж, я исполню свой долг и скажу то, что обязан сказать. Против тебя составлен заговор. Во главе его Хрея. Мне удалось перехватить эту табличку, из которой ты можешь узнать самое главное. Я кладу ее вот сюда.

Геликон кладет восковую табличку на кресло и идет к выходу.

Калигула. Куда ты, Геликон?

Геликон (*с порога*). За луной для тебя.

Сцена четвертая

Кто-то скребется в другую дверь. Калигула резко поворачивается и замечает старого патриция.

Старый патриций (*нерешительно*). Можно, Гай?

Калигула (*нетерпеливо*). Ну, входи. (*Глядя на него*). Значит, мы пришли еще раз посмотреть на Венеру, моя прелесть!

Старый патриций. Нет, дело не в этом. Тсс! О, прости, Гай... Я хочу сказать... Ты знаешь, как я тебя люблю... И потом, единственное, чего я прошу, — это спокойно дожить свои дни...

Калигула. Короче! Короче!

Старый патриций. Да, хорошо. Итак... *(Скороговоркой.)* Это очень серьезно, вот и все.

Калигула. Нет, это не очень серьезно.

Старый патриций. Что несерьезно, Гай?

Калигула. А о чем мы говорим, радость моя?

Старый патриций *(озираясь)*. О том... *(Мнетя и наконец выпаливает.)* Против тебя заговор...

Калигула. Вот видишь, я же говорил, что это вовсе не серьезно.

Старый патриций. Гай, они хотят тебя убить.

Калигула *(подходит к нему и берет его за плечи)*. Знаешь, почему я не могу тебе поверить?

Старый патриций *(с клятвенным жестом)*. Призываю всех богов, Гай...

Калигула *(мягко, потихоньку подталкивая его к выходу)*. Не клянись, главное, не клянись. Лучше послушай. Если то, что ты говоришь, правда, то я должен предположить, что ты предаешь своих друзей, не так ли?

Старый патриций *(немного растерян)*. Но моя любовь к тебе, Гай...

Калигула *(тем же тоном)*. А я не могу этого предположить. Я так презираю всякую подлость, что не смогу удержаться и непременно велю казнить предателя. Я-то хорошо знаю, что ты за человек. Конечно, ты не намерен ни предавать, ни умирать.

Старый патриций. Конечно, конечно, Гай!

Калигула. Вот видишь, я был прав, что тебе не поверил. Ты ведь не подлец, правда?

Старый патриций. О нет...

Калигула. И не предатель?

Старый патриций. Это само собой разумеется, Гай.

Калигула. И следовательно, никакого заговора нет. Это была просто шутка, скажи?

Старый патриций *(сбитый с толку)*. Шутка, обыкновенная шутка...

Калигула. По всей очевидности, никто не собирается меня убивать?

Старый патриций. Никто, конечно, никто.

Калигула (*глубоко вздыхает и продолжает медленно*). Тогда исчезни, моя прелесть. Человек чести — такое редкое животное в этом мире, что слишком долго лицезреть его мне трудно. Мне нужно побыть одному, чтобы прочувствовать как следует этот чудесный миг.

Сцена пятая

Какое-то время Калигула, не двигаясь, глядит на табличку. Потом берет ее и читает. Переводит дыхание и зовет стражника.

Калигула. Приведи Херею.

Стражник идет к выходу.

Постой.

Стражник останавливается.

Будь с ним почтителен.

Стражник уходит.

Калигула меряет зал шагами. Потом идет к зеркалу.

Калигула. Ты решил быть логичным, идиот. Остается только узнать, до какого предела. (*С иронией*.) Если бы тебе принесли луну, все бы изменилось, да? Невозможное стало бы возможно, и все преобразилось бы разом, в один миг. Почему бы и нет, Калигула? Как знать? (*Озирается кругом*.) Все меньше людей вокруг меня, как странно. (*Глядя в зеркало, глухим голосом*.) Слишком много мертвых, слишком много мертвых. Какая от этого пустота! Даже если бы мне принесли луну, я уже не мог бы вернуться назад. Даже если мертвые снова зашевелились бы под ласками солнца, убийства оттого не ушли бы обратно под землю. (*С яростью*.) Логика, Калигула, надо твердо держаться логики. Безграничная власть, безграничная верность своей судьбе. Нет, назад не возвращаются, надо идти до конца!

Входит Херей.

Сцена шестая

Калигула, туго завернувшись в плащ, откидывается на спинку кресла. Вид у него измученный.

Херей. Ты меня звал, Гай?

Калигула (*слабым голосом*). Да, Херея. Стража! Факелов!

Молчание.

Херея. Ты хотел мне что-то сказать?
Калигула. Нет, Херея.

Молчание.

Херея (*чуть раздраженно*). Ты уверен, что мое присутствие необходимо?

Калигула. Совершенно уверен, Херея. (*Снова молчание. Потом неожиданно торопливо.*) Извини меня. Я рассеян и плохо тебя принимаю. Садись вот сюда, в это кресло, и побеседуем по-дружески. Мне нужно поговорить немного с умным человеком.

Херея садится. Едва ли не впервые с начала пьесы он держится непринужденно.

Как ты думаешь, Херея, могут два человека, равные духом и гордостью, хоть однажды в жизни поговорить с открытым сердцем, словно обнажившись друг перед другом, сбросив с себя всю ложь, все предрассудки, все тайные расчеты, которыми живут?

Херея. Я считаю, что это возможно, Гай. Но думаю, ты на это не способен.

Калигула. Ты прав. Я только хотел узнать, сходимся ли мы во мнениях. Что ж, наденем маски. Вооружимся каждый своей ложью. Покроемся для беседы, как для боя, щитами и латами. Херея, почему ты меня не любишь?

Херея. Потому что тебя не за что любить, Гай. Потому что в таких вещах приказывать бесполезно. И еще потому, что я слишком хорошо тебя понимаю. Нельзя любить ту часть своей души, которую стараешься утаить от себя самого.

Калигула. За что ты меня ненавидишь?

Херея. Тут ты ошибаешься, Гай. Ненависти к тебе у меня нет. Я считаю тебя опасным и жестоким, эгоистичным и тщеславным. Но я не могу тебя ненавидеть, потому что ты не кажешься мне счастливым. И я не могу тебя презирать, потому что знаю — ты не трус.

Калигула. Тогда почему ты хочешь меня убить?

Херей. Я уже сказал: я считаю тебя опасным. Мне дорого и необходимо надежное благополучие. Большинство людей устроено так же. Они не способны жить в таком мире, где самая бредовая идея может в любую минуту стать явью и войти в их жизнь — а чаще всего и входит, как нож в сердце. Я тоже не хочу жить в таком мире. Предпочитаю твердую почву под ногами.

Калигула. Благополучие не в ладах с логикой.

Херей. Согласен. Это взгляд не логичный, зато здоровый.

Калигула. Продолжай.

Херей. Мне больше нечего сказать. Я не хочу вникать в твою логику. У меня другие понятия о своем человеческом долге. Я знаю, что большинство твоих подданных думают так же, как я. Ты всем мешаешь. Значит, ты должен исчезнуть.

Калигула. Очень ясно и вполне оправданно. Для большинства людей это просто самоочевидно. Но не для тебя. Ты многое понимаешь, а за понимание надо дорого платить — или отказаться от него. Я плачу. Почему же ты и не отказываешься, и не хочешь платить?

Херей. Потому что я хочу жить и быть счастливым. А ни того, ни другого не добиться, если доводить логику до абсурда со всеми его последствиями. Я обыкновенный человек. Порой это меня тяготит, и тогда я желаю смерти тем, кого люблю, страстно мечтаю о женщинах, которые для меня запретны по законам семьи или дружбы. Если быть логичным, я должен в таких случаях убивать и брать женщин. Но я считаю, что эти смутные порывы значения не имеют. Если бы все принялись их осуществлять, мы не могли бы ни жить, ни быть счастливыми. А для меня, повторяю, имеет значение именно это.

Калигула. Тогда ты должен верить в высокие идеалы.

Херей. Я верю в то, что одни поступки благороднее других.

Калигула. А по мне, они все равноценны.

Херей. Я знаю, Гай, поэтому и не могу тебя ненавидеть. Но ты мешаешь и должен исчезнуть.

Калигула. Справедливо. Только зачем объявлять мне об этом и рисковать своей жизнью?

Херей. Затем, что другие встанут на мое место, и затем, что я не люблю лгать.

Молчание.

Калигула. Херей!

Херей. Да, Гай.

Калигула. Как ты думаешь, могут два человека, равные духом и гордостью, хоть однажды в жизни поговорить с открытым сердцем?

Херей. Я думаю, это мы с тобой и сделали только что.

Калигула. Да, Херей. А ведь ты считал, что я на это не способен.

Херей. Я был не прав, Гай, сознаюсь и благодарю тебя. А теперь я жду твоего приговора.

Калигула (*рассеянно*). Моего приговора? А! Ты имеешь в виду... (*Достает табличку из-под плаща.*) Ты знаешь, что это такое, Херей?

Херей. Я знал, что она в твоих руках.

Калигула (*пылко*). Да, ты знал, Херей, и сама твоя прямота была притворством. Два человека так и не поговорили с открытым сердцем. Впрочем, это неважно. А теперь отбросим игру в откровенность и снова будем жить как раньше. Тебе предстоит еще попытаться понять, что я скажу, и вытерпеть мои оскорбления и капризы. Слушай, Херей. Эта табличка — единственное доказательство.

Херей. Я уйду, Гай. Все это злое кривлянье мне надоело. Я его слишком хорошо знаю и больше не хочу на него смотреть.

Калигула (*столь же пылко и настойчиво*). погоди. Это единственное доказательство, так?

Херей. Едва ли тебе нужны доказательства, чтобы отправить человека на казнь.

Калигула. Верно. Но на сей раз я хочу изменить себе. Это никому не помешает. А изменить себе время от времени так приятно. Это дает отдых. Я нуждаюсь в отдыхе, Херей.

Херей. Не понимаю, и вообще я не ценитель таких изгибов.

Калигула. Разумеется. Ты-то, Херей, человек здоровый. У тебя нет непомерных желаний! (*Заливаясь смехом.*) Ты хочешь жить и быть счастливым. Всего-навсего!

Херей. Думаю, нам лучше на этом кончить.

Калигула. Нет еще. Чутьочку терпения, хорошо? Смотри, вот я держу это доказательство. Я воображаю, что без него не могу вас казнить. В этом моя прихоть и мой отдых. А теперь гляди, во что обращаются доказательства в руках императора.

Подносит табличку к факелу. Херея подходит ближе.
Между ними факел. Табличка тает.

Калигула. Видишь, заговорщик! Она тает, и, по мере того как исчезает это доказательство, заря невинности занимается на твоём лице. У тебя чудесные, чистые черты, Херея. Как прекрасен невинный человек, как прекрасен! Оцени мое могущество. Самим богам не дано возвращать невинность, не послав сначала кары. А твоему императору потребовался только язычок пламени, чтобы сделать тебя снова безгрешным и бесстрашным. Продолжай, Херея, доведи до конца великолепные рассуждения, которые я от тебя услышал. Твой император ждёт отдыха. Это его собственный способ жить и быть счастливым.

Херея туго смотрит на Калигулу. Делает едва заметное движение, словно понял, открывает рот, чтобы заговорить, — и внезапно уходит. Калигула все держит табличку над огнем и, улыбаясь, провожает Херею взглядом.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Сцена первая

Сцена погружена в полумрак. Входят Херея и Сципион. Херея идет направо, потом налево и возвращается к Сципиону.

Сципион (*с замкнутым выражением*). Чего ты от меня хочешь?

Херея. Время торопит. Мы должны быть тверды в том, что задумали.

Сципион. Кто тебе сказал, что я не тверд?

Херея. Ты не пришел на нашу вчерашнюю встречу.

Сципион (*отворачиваясь*). Это правда, Херея.

Херей. Сципион, я старше тебя и не привык просить помощи. Но ты мне действительно нужен. Ответственность за такое убийство должны взять на себя люди, достойные уважения. В этой возне уязвленных самолюбий и низких страхов чистые побуждения только у нас с тобой. Я знаю, если ты нас и покинешь, то ничего не выдашь. Но не в этом дело. Я хочу, чтобы ты был с нами.

Сципион. Понимаю. Но клянусь тебе, я не могу.

Херей. Значит, ты с ним?

Сципион. Нет. Но я не могу быть против него. *(Молчит, потом глухо.)* Если бы я его убил, мое сердце все равно осталось бы с ним.

Херей. Ведь он убил твоего отца!

Сципион. Да, с этого все начинается. Но на этом все и кончается.

Херей. Он отрицает то, что ты признаешь. Он глумится над тем, чему ты поклоняешься.

Сципион. Это правда, Херей. Но во мне есть что-то похожее на него. Одно и то же пламя сжигает нам душу.

Херей. Бывают минуты, когда надо выбирать. Я заставил замолчать в себе то, что могло быть на него похоже.

Сципион. Я не могу выбирать, потому что, кроме своей боли, я чувствую еще и его боль. Несчастье мое в том, что я все понимаю.

Херей. Значит, твой выбор — признать его правым.

Сципион *(на крике)*. О, поверь, Херей, я больше никого, никого никогда не признаю правым!

Пауза. Смотрят друг на друга.

Херей *(с волнением, подходя к Сципиону)*. Пожалуй, я ненавижу его еще сильнее за то, что он с тобой сделал.

Сципион. Он научил меня требовать бесконечного.

Херей. Нет, Сципион, он отнял у тебя надежду. А отнимать надежду у юной души — преступление тяжелее всех, что он совершил до сих пор. Клянусь тебе, этого одного мне достаточно, чтобы дать волю гневу и убить его. *(Направляется к выходу.)*

Входит Геликон.

Сцена вторая

Геликон. Я тебя искал, Херея. Калигула устраивает здесь вечеринку для друзей. Ты должен на ней присутствовать. *(Поворачивается к Сципиону.)* А ты не нужен, голубочек. Можешь идти.

Сципион *(уходя, оборачивается к Херее)*. Херея!

Херея *(очень мягко)*. Да, Сципион.

Сципион. Попытайся понять.

Херея *(очень мягко)*. Нет, Сципион.

Сципион и Геликон уходят.

Сцена третья

Лязг оружия за кулисами. Справа появляются два стражника.

Они ведут старого патриция и первого патриция, которые выказывают все признаки страха.

Первый патриций *(стражнику, стараясь придать своему голосу твердость)*. Но чего, в конце концов, от нас хотят в такой поздний час?

Стражник *(указывая на кресла с правой стороны)*. Садись сюда.

Первый патриций. Если нас хотят казнить, как прочих, то такие сложные приготовления ни к чему.

Стражник. Садись сюда, старый осел.

Старый патриций. Сядем. Этот человек ничего не знает, это ясно.

Стражник. Да, моя прелесть, это ясно. *(Уходит.)*

Первый патриций. Ведь я же знал, что надо спешить. А теперь нас ждет пытка.

Сцена четвертая

Херея *(спокойно усаживаясь в кресло)*. Что тут происходит?

Первый патриций и старый патриций *(хором)*. Заговор раскрыт.

Херея. И что же?

Старый патриций *(дрожа)*. Это значит — пытка.

Херея *(невозмутимо)*. Я припоминаю, что Калигула дал восемьдесят одну тысячу сестерциев воришке-рабу, который не сознался под пыткой.

Первый патриций. До чего же мы дошли.

Херей. Нет, это просто доказывает, что он ценит мужество. Вы должны были это иметь в виду. (*Старому патрицию.*) Если нетрудно, перестань так стучать зубами. Я не выношу этот звук.

Старый патриций. Но я...

Первый патриций. Ну, довольно. Мы рискуем жизнью.

Херей (*невозмутимо*). Вы знаете любимую присказку Калигулы?

Старый патриций (*чуть не плача*). Да. Он говорит палачу: «Убивай помедленней, пусть он почувствует, что умирает».

Херей. Нет, еще лучше. Поглядев на казнь, он зевает и говорит совершенно серьезно: «Чем я больше всего восхищаюсь, так это своей бесчувственностью».

Первый патриций. Вы слышите?

Лязгает оружие.

Херей. Эти словечки выдают его слабость.

Старый патриций. Если нетрудно, перестань разводить философию. Я этого не выношу.

В глубине сцены показался раб. Он принес мечи и раскладывает их на скамейке.

Херей (*этого не видевший*). Во всяком случае, приходится признать, что этот человек оказывает несомненное воздействие на других. Он заставляет думать. Он всех заставляет думать. Неуверенность — вот что побуждает к размышлениям. И вот почему у стольких людей он вызывает ненависть.

Старый патриций (*дрожжа*). Посмотри.

Херей (*замечает мечи; его голос немного меняется*). Возможно, ты был прав.

Первый патриций. Надо было торопиться. Мы слишком долго ждали.

Херей. Да. Этот урок немного запоздал.

Старый патриций. Но это нелепость. Я не хочу умирать.

Встает и пытается сбежать. Тут же появляются два стражника, дают ему пару затрещин и силой водворяют на место. Первый патриций съезживается в своем кресле.

Херея произносит несколько слов, но их не слышно. Внезапно в глубине сцены раздаются пронзительные, отрывистые звуки странной музыки, грохочут тарелки и погремушки. Патриции замолкают и смотрят в глубь сцены. Там на занавесе, как в театре теней, появляется силуэт Калигулы в коротенькой тунике танцовщицы, с венком на голове. Он проделывает несколько гротескных балетных па и исчезает. И сразу же один из стражников торжественно возглашает: «Представление окончено». Тем временем неслышно вошла Цезония и стала позади зрителей. Она говорит ровным голосом, от которого, однако, они вздрагивают.

Сцена пятая

Цезония. Калигула поручил мне вам сказать, что до сих пор он вас созывал ради государственных дел, но сегодня пригласил разделить с ним эстетическое наслаждение. *(Помолчав, продолжает тем же тоном.)* Правда, он добавил, что тому, кто не пожелает наслаждаться, отрубят голову.

Они молчат.

Прошу извинить мою назойливость. Но я должна спросить, показался ли вам этот танец прекрасным.

Первый патриций *(поколебавшись)*. Он был прекрасен, Цезония.

Старый патриций *(преисполненный благодарности)*. О да, Цезония.

Цезония. А тебе, Херея?

Херея *(холодно)*. Это было большое искусство.

Цезония. Отлично. Итак, я могу сообщить об этом Калигуле.

Сцена шестая

Входит Геликон.

Геликон. Скажи, Херея, это действительно было большое искусство?

Херея. В каком-то смысле — да.

Геликон. Понимаю. Ты очень сильный, Херея. Фальшивый, как всякий порядочный человек. Но сильный, ничего не скажешь. Я не такой сильный. И все-таки я не дам вам дотронуться до Калигулы, даже если он сам того хочет.

Херея. Я ничего не понял из этого монолога. Но должен похвалить тебя за такую преданность. Я люблю верных слуг.

Геликон. Какого гордеца строишь, а? Да, я служу сумасшедшему. А ты чему служишь? Добродетели? Я тебе выложу, что думаю по этому поводу. Я родился в рабстве. Так вот, порядочный человек, сперва под эту песенку о добродетели меня заставлял плясать кнут. А Гай не говорил мне красивых слов. Он меня освободил и взял к себе во дворец. Тут-то я и смог поглядеть на вашего брата, добродетельных. И я увидел, что у вас грязные рожи и скверный запах, пресный запах людей, не познавших ни страданий, ни риска. Я видел красивые одежды, а сердца были потухшие, лица алчные, руки дрожащие. И это вы — судьи? Вы, кто торгуете добродетелью в розницу, мечтаете о благополучном существовании, как девчонка мечтает о любви, но умираете в страхе, даже не поняв, что лгали всю жизнь, вы беретесь судить того, кто страдал бесконечно, кто каждый день истекает кровью от тысячи новых ран? Сначала вам придется иметь дело со мной, помни это! Презирай раба, Херея! Он выше твоей добродетели, потому что он еще умеет любить своего несчастного хозяина и будет его защищать от вашей благородной лжи, от ваших вероломных речей...

Херея. Милый Геликон, ты ударился в риторику. Честное слово, когда-то у тебя был вкус получше.

Геликон. Каюсь, увы. Вот что значит слишком долго с вами общаться. У старых супругов волосков в ушах поровну, так они становятся похожи под конец. Но я исправлюсь, не беспокойся, исправлюсь. Одно только... Смотри, видишь ты это лицо? Так. Смотри хорошенько. Прекрасно. Теперь ты видел своего врага. *(Уходит.)*

Сцена седьмая

Херея. А теперь надо торопиться. Оставайтесь здесь оба. Сегодня к вечеру нас будет сотня. *(Уходит.)*

Старый патриций. Оставайтесь, оставайтесь! Я-то предпочел бы уйти. *(Втягивает носом воздух.)* Здесь пахнет смертью.

Первый патриций. Или ложью. *(Грустно.)* Я сказал, что этот танец прекрасен.

Старый патриций (*утешая*). В каком-то смысле так и есть. Так и есть.

Стремительно вбегает несколько патрициев и всадников.

Сцена восьмая

Второй патриций. Что тут такое? Вы знаете? Император велел нас созвать.

Старый патриций (*рассеянно*). Это, наверно, на танец.

Второй патриций. Какой танец?

Старый патриций. Нуда, эстетическое наслаждение.

Третий патриций. Мне сказали, что Калигула очень болен.

Первый патриций. Так и есть.

Третий патриций. А что с ним? (*С восторгом.*) Боги мои, неужели он умирает?

Первый патриций. Не думаю. Его болезнь смертельна только для других.

Старый патриций. Если можно так выразиться.

Второй патриций. Я тебя понял. Но нет ли у него еще какой-нибудь болезни, менее серьезной и более благоприятной для нас?

Первый патриций. Нет, эта болезнь не терпит соперниц. Но, если позволите, мне нужно поговорить с Хереей. (*Уходит.*)

Входит Цезония. Короткая пауза.

Сцена девятая

Цезония (*равнодушно*). У Калигулы желудочное заболевание. Его рвало кровью.

Патриции толются вокруг нее.

Второй патриций. О всемогущие боги, даю обет: если он выздоровеет, я пожертвую двести тысяч сестерциев в казну.

Третий патриций (*слишком пылко*). Юпитер, возьми взамен его жизни мою.

Калигула уже несколько минут как вошел и слушает.

Калигула (*подходя ко второму патрицию*). Я принимаю твой дар, Луций. Благодарю тебя. Мой казначей явится к тебе завтра. (*Подходит к третьему патрицию и обнимает его.*) Ты не можешь представить себе, как я взволнован. (*Помолчав, с нежностью.*) Так ты меня любишь?

Третий патриций (*растроганно*). Ах, цезарь, чего бы я не отдал за тебя не раздумывая!

Калигула (*держит его в объятиях*). Ах, это слишком, Кассий, я не заслужил такой любви. (*Кассий делает протестующий жест.*) Нет, нет, говорю тебе. Я недостойн. (*Подзывает двух стражников.*) Уведите его. (*Кассию, мягко.*) Иди, друг. И помни, что сердце Калигулы с тобой.

Третий патриций (*слегка встревожен*). Но куда они меня ведут?

Калигула. Как куда? На смерть. Ты отдал свою жизнь за мою. Я почувствовал себя лучше. У меня даже нет больше этого противного вкуса крови во рту. Ты меня исцелил. Кассий, ты счастлив, что мог отдать свою жизнь за другого и что этого другого зовут Калигула? Вот я и снова могу наслаждаться всеми радостями.

Стражники волокут третьего патриция. Он сопротивляется и вопит.

Третий патриций. Но я не хочу! Это была шутка!

Калигула (*между его воплями, мечтательно*). Скоро дороги над морем покроются цветущей мимозой. Женщины наденут платья из легкой ткани. Высокое небо, такое свежее и чистое, Кассий! Улыбки жизни!

Кассий уже у выхода. Цезония легонько его подталкивает.

Калигула (*поворачиваясь, неожиданно серьезно*). Жизнь, друг мой! Если бы ты любил ее как следует, то не стал бы так неосторожно ею играть.

Кассия выволакивают.

Калигула (*возвращаясь к столу*). А когда проигрываешь, непременно надо платить. (*Пауза.*) Подойди сюда, Цезония. (*Поворачивается к остальным.*) Кстати, мне пришла в голову прекрасная мысль, которой я хочу с вами поделиться. Мое царствование до сих пор было слишком счастливым. Ни повальной чумы, ни жестоких религиоз-

ных обрядов, ни даже государственного переворота, коротче, ничего, что может оставить вас в памяти потомков. Так вот, отчасти поэтому я и пытаюсь возместить бережность судьбы. Я хочу сказать... Не знаю, поняли ли вы меня. *(Со смешком.)* Одним словом, я подменяю собой чуму. *(Другим тоном.)* А теперь молчите. Вот и Херея. Займись им ты, Цезония. *(Уходит.)*

Входят Херея и первый патриций.

Сцена десятая

Цезония торопливо подходит к Херее.

Цезония. Калигула умер.

Отворачивается, притворяясь, что плачет, и пристально смотрит на остальных. Те молчат. Вид у всех удрученный, но по иной причине.

Первый патриций. Ты... Ты уверена в этом несчастье? Это невозможно, он же только что танцевал.

Цезония. Вот именно. Это напряжение сил оказалось для него смертельным.

Херея быстрыми шагами обходит присутствующих, одного за другим, и возвращается к Цезонии. Все хранят молчание.

Цезония *(медленно)*. Ты ничего не сказал, Херея.

Херея *(столь же медленно)*. Это большое несчастье, Цезония.

Внезапно входит Калигула и направляется к Херее.

Калигула. Хорошо сыграно, Херея. *(Поворачивается кругом и смотрит на остальных. С юмором.)* Ну что ж! Не вышло. *(Цезонии.)* Не забудь, что я тебе сказал. *(Уходит.)*

Сцена одиннадцатая

Цезония молча смотрит ему вслед.

Старый патриций *(ему придает сил неослабевающая надежда)*. Он действительно болен, Цезония?

Цезония *(глядя на него с ненавистью)*. Нет, моя прелесть, но тебе не все известно. Тебе неизвестно, что он спит по два

часа каждую ночь, а остальное время бродит по галереям дворца и не может забытья. Тебе неизвестно, да ты и не задумываешься, какие мысли одолевают этого человека в томительные часы между серединой ночи и возвращением солнца. Болен? Нет, он не болен. Разве что ты найдешь название и лекарство для тех язв, которыми покрыта его душа.

Херей (как будто тронут). Ты права, Цезония. Нам известно, что Гай...

Цезония (живее). Да, вам это известно. Но как все, у кого нет души, вы не можете выносить тех, у кого ее слишком много. Слишком много души! Это мешает, правда? И тогда это называют болезнью, а высоколобые болваны остаются при своей чистой совести и своем самодовольстве. *(Другим тоном.)* Ты когда-нибудь умел любить, Херей?

Херей (вновь становясь самим собой). Мы теперь уже слишком стары, чтобы учиться таким вещам, Цезония. К тому же Калигула едва ли даст нам на это время.

Цезония (взяв себя в руки). Это верно. *(Садится.)* А я чуть не забыла о поручении Калигулы. Вы знаете, что нынешний день посвящен искусству?

Старый патриций. По календарю?

Цезония. Нет, по Калигуле. Он созвал несколько поэтов и предложит им сымпровизировать на заданную тему. Среди вас тоже есть поэты; он желает, чтобы они непременно приняли участие в состязании. Он особо назвал юного Сципиона и Метелла.

Метелл. Но мы не готовы.

Цезония *(словно не слыша, ровным голосом).* Естественно, предусмотрены награды. А также наказания.

Все отшатываются.

Между нами, могу вам сказать, что наказания не слишком тяжелые.

Входит Калигула. Он мрачен как никогда.

Сцена двенадцатая

Калигула. Все готово?

Цезония. Все. *(Стражнику.)* Приведите поэтов.

Человек двенадцать поэтов входят парами и маршируют направо.

Калигула. А остальные?
Цезония. Сципион и Метелл!

Эти двое присоединяются к поэтам, Калигула с Цезонией и патрициями усаживаются слева, в глубине. Короткая пауза.

Калигула. Тема — смерть. Время — минута.

Поэты торопливо пишут на своих табличках.

Старый патриций. А кто будет в жюри?

Калигула. Я. Разве этого недостаточно?

Старый патриций. О да, совершенно достаточно.

Херея. А ты примешь участие в состязании, Гай?

Калигула. Мне незачем. Я уже давно написал сочинение на эту тему.

Старый патриций (*торопясь*). А где его можно достать?

Калигула. Я его по-своему декламирую каждый день.

Цезония смотрит на него с тревогой.

Калигула (*грубо*). Тебе не нравится моя физиономия?

Цезония (*мягко*). Прости меня.

Калигула. О, пожалуйста, не надо смирения. Только не смирение. Тебя и так трудно выносить, но твое смирение!..

Цезония пытается взять себя в руки.

Калигула (*Херее*). Так вот. Кроме этого сочинения, я ничего не написал. Но оно доказывает, что я единственный художник за всю историю Рима, понимаешь, Херея, единственный, кто согласует свою мысль со своими поступками.

Херея. Это только вопрос власти.

Калигула. Верно. Остальные творят за неимением власти. А у меня нет нужды в творчестве: я живу. (*Грубо*.) Ну, что вы там, готовы?

Метелл. Мне кажется, готовы.

Все. Да.

Калигула. Тогда слушайте меня хорошенько. Вы будете выходить вперед по очереди. Я свистну. Первый

начнет читать. По моему свистку он остановится, а следующий начнет. И так далее. Победителем, естественно, будет тот, чье чтение мой свисток не прервет. Готовьтесь. *(Наклоняется к Херее, доверительно.)* Во всем нужен твердый порядок, даже в искусстве.

Свисток.

Первый поэт. Смерть, когда из-за черного берега...

Свисток. Поэт отходит налево. Остальные будут проделывать то же самое. Сцена играется механически.

Второй поэт. Три парки в пещере своей...

Свисток.

Третий поэт. Зову тебя, о смерть...

Сердитый свисток.

Четвертый поэт выступает вперед и становится в позу декламатора. Свисток раздается прежде, чем он успевает что-то сказать.

Пятый поэт. Когда младенцем я...

Калигула *(вопит)*. Нет! Какое отношение имеет младенчество какого-то идиота к этой теме? Можешь ты мне сказать — какое?

Пятый поэт. Но, Гай, я еще не кончил...

Пронзительный свисток.

Шестой поэт *(выступает вперед, откашливаясь)*. Безжалостная, шествует она...

Свисток.

Седьмой поэт *(таинственно)*. Неясная и смутная молитва...

Прерывистый свисток.

Сципион выступает вперед без табличек.

Калигула. Твоя очередь, Сципион. Ты без табличек? Сципион. Мне они не нужны.

Калигула. Ну-ка. *(Покусывает свой свисток.)*

Сципион (*стоя совсем рядом с Калигулой, но не глядя на него и как-то устало*).

Погоня за счастьем, что очищает людей,
Небо, где льется солнце,
Несравненные, дикие празднества,
Мой бред без надежды!..

Калигула (*мягко*). Довольно, прошу тебя. (*Сципиону*.) Ты слишком молод, чтобы усваивать истинные уроки смерти.

Сципион (*глядя Калигуле в глаза*). Я был слишком молод, чтобы потерять отца.

Калигула (*резко отворачиваясь*). А вы, остальные, станьте в строй. Плохой поэт — слишком тяжкое испытание для моего вкуса. До сих пор я в мыслях видел вас своими союзниками, иногда я воображал, что вы составите для меня последнюю линию обороны. Но напрасно, теперь я буду числить вас своими врагами. Поэты против меня — это, могу сказать, конец. Шагом марш! Вы пройдете передо мной и при этом будете лизать ваши таблички, чтобы стереть с них следы ваших мерзостей. Внимание! Вперед!

Свистки раздаются в такт шагам. Поэты маршируют к правому выходу и лижут на ходу свои бессмертные таблички.

Калигула (*очень тихо*). Уходите все.

У дверей Херея останавливает первого патриция, взяв его за плечо.

Херея. Час настал.

Сципион это слышал. Он медлит на пороге
и возвращается к Калигуле.

Калигула (*злобно*). Ты не мог бы оставить меня в покое? Твой отец уже так и поступил.

Сцена тринадцатая

Сципион. Не надо, Гай, все это ни к чему. Я уже знаю, что ты сделал свой выбор.

Калигула. Оставь меня.

Сципион. Я и в самом деле тебя оставлю, потому что, мне кажется, я тебя понял. Ни для тебя, ни для меня,

так на тебя похожего, выхода больше нет. Я отправляюсь очень далеко искать объяснение всему этому. *(Пауза, смотрит на Калигулу. С чувством.)* Прощай, дорогой Гай. Когда все будет кончено, не забудь, что я тебя любил. *(Уходит.)*

Калигула смотрит ему вслед и делает какое-то движение, но усилением воли справляется с волнением и возвращается к Цезонии.

Цезония. Что он сказал?

Калигула. Это выше твоего понимания.

Цезония. О чем ты думаешь?

Калигула. О нем. И о тебе. Впрочем, это одно и то же.

Цезония. Что случилось?

Калигула *(глядя на нее)*. Сципион ушел. С дружбой я покончил. А ты — я спрашиваю себя, почему ты еще здесь...

Цезония. Потому что я тебе нравлюсь.

Калигула. Нет. Если бы я тебя убил, то понял бы, наверно.

Цезония. Что ж, это мысль. Осуществи ее. Но ты не можешь хоть на минуту расслабиться и пожить свободно?

Калигула. Я уже несколько лет тем и занимаюсь, что живу свободно.

Цезония. Я другое имею в виду. Пойми меня. Это может быть так хорошо — жить и любить в чистоте душевной.

Калигула. Каждый добивается чистоты как умеет. Я это делаю в поисках самого главного. Но как бы то ни было, все равно я могу тебя убить. *(Смеется.)* Это было бы достойным увенчанием моего пути.

Калигула встает и поворачивает зеркало. Кружит вдоль стен, как зверь; руки его свисают почти неподвижно.

Как странно. Когда я не убиваю, то чувствую себя одиноким. Живые не могут заселить вселенную и разогнать скуку. Когда вы все со мной, я ощущаю вокруг бескрайнюю пустоту, застилающую мне глаза. Мне хорошо только с моими мертвецами. *(Стоит лицом к зрителям, немного наклонившись вперед. О Цезонии он забыл.)* Они-то настоящие. Такие, как я. Они меня ждут и торопят. *(Качает головой.)* Я веду долгие разговоры то с тем, то с другим,

кто кричал, прося у меня пощады, а я велел вырвать у него язык.

Цезония. Иди сюда. Приляг рядом со мной. Положи голову мне на колени.

Калигула так и поступает.

Тебе хорошо. Все тихо.

Калигула. Все тихо! Ты преувеличиваешь. Разве не слышишь, как звякает оружие?

Доносятся эти звуки.

Не замечаешь тысячи шорохов, выдающих, что ненависть сидит в засаде?

Смутный ропот.

Цезония. Никто не посмеет...

Калигула. Кроме глупости.

Цезония. Она не убивает. Она делает людей осторожными.

Калигула. Она несет смерть, Цезония. Она несет смерть, когда считает себя оскорбленной. О, меня убьют не те, кого я лишил сына или отца. Эти поняли. Они со мной, у них тот же вкус во рту. Но другие, те, над кем я издевался, кого выставил на посмешище, — от их уязвленного самолюбия у меня нет защиты.

Цезония (*горячо*). Мы защитим тебя, нас еще много, тех, кто тебя любит.

Калигула. Вас остается все меньше. Что было нужно для этого, я сделал. И потом, признаем справедливости ради: против меня не только глупость, но и верность, и мужество тех, кто хочет быть счастливым.

Цезония (*тем же тоном*). Нет, они тебя не убьют. Или какая-нибудь молния сверкнет с небес и испепелит их прежде, чем они тебя коснутся.

Калигула. С небес! Нет никаких небес, бедняжка. (*Садится.*) Но почему вдруг столько любви? Это в наш уговор не входило.

Цезония (*она встала и принялась ходить*). Значит, мало мне видеть, как ты убиваешь других, я должна еще знать, что тебя самого убьют? Мало, что ты приходишь ко мне жестокий и истерзанный, что, когда ты ложишься со

мной, от тебя пахнет убийством? Я каждый день смотрю, как умирает в тебе понемногу все человеческое. *(Оборачивается к нему.)* Я стара и скоро стану безобразна, я знаю. Но в моей душе не осталось больше ничего, кроме мыслей о тебе, и уже не важно, любишь ты меня или нет. Я хочу только одного: увидеть, что ты исцелился. Ведь ты еще ребенок. У тебя вся жизнь впереди! Чего ты можешь желать большего, чем целая жизнь?

Калигула *(встает и смотрит на нее)*. Как давно ты здесь.

Цезония. Да. Но ты меня не прогонишь, правда?

Калигула. Не знаю. Знаю только, почему ты здесь. Потому, что были все эти ночи, дарившие мне наслаждение острое и безрадостное, потому, что ты столько обо мне знаешь. *(Обнимает ее и чуть-чуть запрокидывает ей голову назад.)* Мне двадцать девять лет. Немного. Но в этот час, когда моя жизнь кажется мне такой длинной, так тяжело нагруженной останками прошлого, такой законченной, ты остаешься последним свидетелем. И я не могу противиться постыдной нежности к той старой женщине, кем ты скоро станешь.

Цезония. Скажи, что ты меня не прогонишь!

Калигула. Не знаю. Я понимаю только — вот самое ужасное, — что эта постыдная нежность и есть единственное чистое чувство, которое дала мне жизнь.

Цезония высвобождается из его объятий, Калигула идет за ней.

Она прижимается к нему спиной, он обвивает ее руками.

Калигула. Не лучше ли, чтобы последний свидетель исчез?

Цезония. Мне все равно. Я счастлива тем, что ты сказал. Но почему я не могу поделиться с тобой этим счастьем?

Калигула. Кто тебе сказал, что я не счастлив?

Цезония. Счастье великодушно. Оно не истребляет других, чтобы жить.

Калигула. Значит, есть два вида счастья. Я выбрал тот, который смертоносен. И я счастлив. Было время, когда я думал, что дошел до пределов страдания. Но нет, можно идти еще дальше. За рубежами страны отчаянья лежит счастье, бесплодное и величественное. Смотри на меня.

Она оборачивается к нему.

Я смеюсь, Цезония, когда вспоминаю, что не один год весь Рим избегал произносить имя Друзиллы. Рим не один год заблуждался. Любви мне мало, я это понял тогда. Сегодня я по-прежнему так думаю, глядя на тебя. Любить кого-то — значит согласиться стареть вместе. Я не способен на такую любовь. Старая Друзилла — это гораздо хуже, чем Друзилла мертвая. Вам кажется, человек страдает потому, что любимое существо умирает неожиданно. Нет, настоящее страдание — не этот вздор. Оно наступает, когда замечаешь, что и горю приходит конец. Даже сама скорбь лишена смысла.

Вот видишь, оправданий для меня не найти ни в чем — ни в тени любви, ни в горечи грусти. У меня нет алиби. Но сегодня я еще свободней, чем был все эти годы. Я освободился от воспоминаний и от иллюзий. (*Яростно смеется.*) Я знаю, что всему приходит конец! Какое открытие! Нас было двое-трое во всей истории, кто испробовал его на деле, кто испытал это сумасшедшее счастье. Цезония, ты досмотрела прелюбопытную трагедию до самой развязки. Пора опустить перед тобой занавес.

Он снова становится позади Цезонии и обхватывает рукой ее шею.

Цезония (*со страхом*). Такая ужасная свобода — это и есть счастье?

Калигула (*все сильнее сжимая ее горло*). Это оно и есть, Цезония. Без него я был бы довольным и сытым. А благодаря ему я обрел богоравное ясновидение одиночек.

Возбуждение его растет, пока он медленно душит Цезонию.

Она не пытается бороться, только робко протягивает вперед руки.

Он говорит, наклоняясь к ее уху.

Я живу, я убиваю, я обладаю головокружительным могуществом разрушителя, рядом с которым могущество творца кажется жалкой пародией. Это и значит быть счастливым. Это и есть счастье — невыносимое освобождение, презрение ко всему на свете, и кровь, и ненависть вокруг, несравненное уединение человека, окидывающего взглядом всю свою жизнь, необъятная радость безнаказанного убийцы, неумолимая логика, которая перемальвает человеческие жизни (*смеется*), и твою тоже, Цезония, чтобы для меня настало наконец вожделенное одиночество во веки веков.

Цезония (*слабо сопротивляясь*). Гай!

Калигула (*вне себя*). Нет, никакой нежности. С этим надо кончать, время не ждет. Время не ждет, дорогая Цезония!

Цезония хрипит. Калигула волочит ее и бросает на ложе.

Калигула (*смотрит на нее; взгляд у него блуждающий, голос сдавленный*). И ты, ты тоже была виновна. Но убийством ничего нельзя решить.

Сцена четырнадцатая

Калигула (*поворачивается и идет к зеркалу, как в бреду*). Калигула! И ты тоже, и ты тоже виновен. Что ж, немного больше, немного меньше, какая разница! Кто осмелится вынести мне приговор в этом мире, где нет ни судьбы, ни невинных! (*С глубоким отчаяньем, прижавшись к зеркалу*.) Вот видишь, Геликон не пришел. Луны я не получу. Как это трудно — собственная правота и долг идти до конца. Я боюсь конца. Мечи звенят! Это невинность готовит свое торжество. Отчего я не на той стороне! Мне страшно. Какая мерзость — сначала презирать других, а потом ощутить такую же трусость в своей душе. Но это неважно. Страху тоже придет конец. И вокруг меня снова будет великая пустота, в которой сердце обретает покой.

Делает шаг назад, возвращается к зеркалу. Он как будто немного успокоился. Когда он снова начинает говорить, голос его звучит тише и сдержаннее.

Все кажется таким сложным. А на самом деле все просто. Если бы я получил луну, если бы любви мне было довольно, все бы переменялось. Но чем утолить мою жажду? Какое сердце, какое божество бездонно, как озеро, чтобы напоить меня? (*Опускается на колени и плачет*.) Ни в этом мире, ни в ином нет ничего мне соразмерного. А ведь я знаю, и ты знаешь тоже (*плача, протягивает руки к зеркалу*), что мне нужно только одно: невозможное. Невозможное! Я искал его на границах мира, на краю своей души. Я протягивал руки (*кричит*), я протягиваю руки и натываюсь на тебя, передо мной всегда только ты, а я полон

ненависти к тебе. Я пошел не той дорогой, она никуда не ведет. Моя свобода — ложная. Геликон! Геликон! Нет, и тут — ничего. О, как тяжела эта ночь! Геликон не придет: мы навеки останемся виновны. Эта ночь тяжела, как страдание человеческое.

За кулисами слышится шепот и лязг оружия.

Геликон (*внезапно появляется в глубине сцены*). Берегись, Гай! Берегись!

Невидимая рука пронзает Геликона кинжалом. Калигула встает, берет в руки табурет и, тяжело дыша, подходит к зеркалу. Смотрит на себя, изображает прыжок вперед и в ответ на такое же движение своего двойника в зеркале с воплем запускает в него табуретом.

Калигула. В историю, Калигула, в историю.

Зеркало разбивается, и в ту же минуту из всех дверей вбегают вооруженные заговорщики. Калигула поворачивается им навстречу с безумным смехом. Старый патриций наносит ему удар в спину, Херея — в лицо. Смех Калигулы переходит в предсмертную икоту. Удары сыплются на него со всех сторон. Смеясь и хрипя, в последнем вскрике Калигула выкрикивает:

Я еще жив!

Занавес

ПОСТОРОННИЙ



...Постороннего?

...ределят суть. По-
...мо весьма пара-
...кто не плачет на
...молочным к
...звать, что герой
...аряется. В этом
...ет — он бродит и
...минутной, оди-
...которые чуж-
...ного в вы-
...куда явсве-
...нае, замысел
...протворе-
...нает не
...ому все
...жизнь,
...осбе
...сказет
...скоро
...могут
...ы —
...иты-
...енне

...иции
...онь
...тло-
...утым
...льско
...да не

© Третьяков



L'ÉTRANGER

ПРЕДИСЛОВИЕ

к американскому изданию «Постороннего»

Однажды, довольно давно, я уже определил суть «Постороннего» фразой, которую и сам признаю весьма парадоксальной: «В нашем обществе всякий, кто не плачет на похоронах своей матери, рискует быть приговоренным к смертной казни». Этим я просто хотел сказать, что герой моего романа осужден за то, что не притворяется. В этом смысле он чужд обществу, в котором живет; он бродит в стороне от других по окраинам жизни — замкнутой, одинокой, чувственной жизни. Вот почему некоторые читатели восприняли его как человека неприкаянного и ничемного, как отребье. И, однако, им станет куда яснее сущность этого персонажа, или, во всяком случае, замысел автора, если они спросят себя, в чем Мерсо не притворяется. Ответ прост: он не хочет лгать. А лгать означает не только говорить то, чего нет. Ложь — это то, к чему все мы ежедневно прибегаем с целью облегчить себе жизнь. Мерсо же, вопреки видимости, не хочет облегчать себе жизнь. Он говорит только о том, что есть, не желает приукрашивать свои чувства, и общество очень скоро начинает ощущать себя в опасности. Например, его просят признать, что он «раскаивается в своем преступлении» — по общепринятой формуле. Он же отвечает, что испытывает скорее досаду, нежели сожаление. Это уточнение стоит ему жизни.

Итак, для меня Мерсо — не «отребье», но человек, нищий и голый, поклонник солнца, уничтожающего любую тень. Он вовсе не обделен чувствительностью, им движет глубокая, непобедимая страсть — жажда абсолютной, незамутненной правды. Речь идет о правде пока еще отрицательного порядка, правде жить и чувствовать, но без нее никогда не одержать победы ни над собой, ни над миром.

Вот почему не слишком ошибется тот, кто увидит в «Постороннем» историю человека, который, отнюдь не будучи склонным к героизму, принимает смерть за правду. Мне уже приходилось высказывать еще одну парадоксальную мысль, а именно: я пытался изобразить в лице моего героя единственного Христа, какого мы заслуживаем. Надеюсь, эти разъяснения помогут читателю понять, что я говорил это без всякого намерения богохульствовать, а всего лишь с чуть насмешливым сочувствием, которое любой художник вправе испытывать по отношению к своим персонажам.

Часть первая

I

Сегодня умерла мама. Или, может, вчера, не знаю. Получил телеграмму из дома признания: «Мать скончалась. Похороны завтра. Искренне соболезнуем». Не поймешь. Возможно, вчера. Дом признания находится в Маренго, за восемьдесят километров от Алжира. Выеду двухчасовым автобусом и еще засветло буду на месте. Так что успею побыть ночью у гроба и завтра вечером вернуться. Попросил у патрона отпуск на два дня, и он не мог мне отказать — причина уважительная. Но видно было, что недоволен. Я ему даже сказал: «Я ведь не виноват». Он не ответил. Тогда я подумал — не надо было так говорить. В общем-то мне нечего извиняться. Скорей уж он должен выразить мне сочувствие. Но потом, наверно, еще выразит — послезавтра, когда увидит меня в трауре. А пока еще не похоже, что мама умерла. Вот после похорон все станет ясно и определенно, так сказать — получит официальное признание.

Выехал двухчасовым автобусом. Было очень жарко. Позавтракал, как всегда, в ресторане у Селеста. Там все огорчились за меня, а Селест сказал: «Мать-то у человека одна». Когда я уходил, меня проводили до дверей. Напоследок спохватился, что надо подняться к Эмманюэлю — взять займы черный галстук и нарукавную повязку. Он месяца три назад схоронил дядю.

Чуть не упустил автобус, пришлось бежать бегом. Торопился, бежал, да потом еще в автобусе трясло и воняло бензином, дорога и небо слепили глаза, и от всего этого меня сморил сон. Проспал почти до Маренго. А когда проснулся, оказалось — привалился к какому-то солдату, он мне улыбнулся и спросил, издалека ли я. Я сказал «да», разговаривать не хотелось.

От деревни до дома призрения два километра. Пошел пешком. Хотел сейчас же увидеть маму. Но привратник сказал — надо сперва зайти к директору. А он был занят, и я немного подождал. Пока ждал, привратник так и сыпал словами, а потом я увидел директора, он принял меня в кабинете. Это старичок с орденом Почетного легиона. Он посмотрел на меня ясными глазами. Потом пожал мне руку и долго не выпускал, я уж и не знал, как ее отнять. Он заглянул в какую-то папку и сказал:

— Госпожа Мерсо пробыла у нас три года. Вы были ее единственной опорой.

Мне показалось, он меня в чем-то упрекает, и я начал было объясняться. Но он перебил:

— Не надо оправданий, дружок. Я перечитал бумаги вашей матушки. Вы были не в силах ее содержать. Она нуждалась в уходе, в сиделке. Заработки у вас скромные. Если все принять во внимание, у нас ей было лучше.

Я сказал:

— Да, господин директор.

Он прибавил:

— Понимаете ли, здесь ее окружали друзья, люди ее лет. У нее нашлись с ними общие интересы, которых нынешнее поколение не разделяет. А вы молоды, с вами она бы скучала.

Это верно. Когда мама жила со мной, она все время молчала и только неотступно провожала меня глазами. В доме призрения она первые дни часто плакала. Но это просто с непривычки. Через несколько месяцев она стала бы плакать, если бы ее оттуда взяли. Все дело в привычке. Отчасти из-за этого в последний год я там почти не бывал. И еще потому, что надо было тратить воскресный день, уж не говорю — тащиться до остановки, брать билет да два часа трястись в автобусе.

Директор еще что-то говорил. Но я почти не слушал. Потом он сказал:

— Вы, наверно, хотите видеть вашу матушку.

Я ничего не ответил и встал, он повел меня к двери. На лестнице он стал объяснять:

— У нас тут своя небольшая мертвецкая, мы перенесли покойницу туда. Чтобы не тревожить остальных. Каждый раз, как в нашем доме кто-нибудь умирает, остальные на два-три дня теряют душевное равновесие. И тогда затруднительно за ними ухаживать.

Мы пересекли двор, там было много стариков, они собрались кучками и толковали о чем-то. Когда мы проходили мимо, они смолкали. А за спиной у нас опять начиналась болтовня. Будто приглушенно трещали попугаи. У низенькой постройке директор со мной простился:

— Я вас покидаю, господин Мерсо. Но я к вашим услугам, вы всегда найдете меня в кабинете. Погребение назначено на десять часов утра. Мы полагали, что вы захотите провести ночь подле усопшей. И еще одно: говорят, ваша матушка в беседах не раз высказывала желание, чтобы ее похоронили по церковному обряду. Я сам обо всем распорядился, но хочу вас предупредить.

Я поблагодарил. Мама хоть и не была неверующей, но при жизни религией вовсе не интересовалась.

Вхожу. Внутри очень светло, стены выбелены известкой, крыша стеклянная. Обстановка — стулья да деревянные козлы. Посередине, на таких же козлах, закрытый гроб. Доски выкрашены коричневой краской, на крышке выделяются блестящие винты, они еще до конца не ввинчены. У гроба — чернокожая сиделка в белом фартуке, голова повязана ярким платком.

Тут у меня над ухом заговорил привратник. Наверно, он догонял меня бегом.

Он сказал, запыхавшись:

— Гроб закрыт, но мне велели отвинтить крышку, чтоб вам поглядеть на покойницу.

И шагнул к гробу, но я его остановил.

— Не хотите? — спросил он.

— Нет, — сказал я.

Он отступил, и я смутился, не надо было отказываться. Потом он посмотрел на меня и спросил:

— Что ж так?

Не с упреком спросил, а словно из любознательности. Я сказал:

— Не знаю.

Тогда он покрутил седой ус и, не глядя на меня, заявил:

— Понятно.

Глаза у него были красивые, голубые, и красноватый загар. Он подал мне стул, а сам уселся немного сзади. Сиделка поднялась и пошла к двери. Тут привратник сказал мне:

— У нее шанкр.

Я не понял и посмотрел на сиделку, лицо ее пересекала повязка. На том месте, где положено быть носу, повязка была плоская. На лице только и заметна белая повязка.

Когда она вышла, привратник сказал:

— Я вас оставляю одного.

Уж не знаю, верно, я сделал какое-то невольное движение, только он остался. Он стоял у меня за спиной, и мне это мешало. Комнату заливало яркое предвечернее солнце. В стекло с жужжаньем бились два шершня. Меня стало клонить в сон. Не оборачиваясь, я спросил привратника:

— Вы тут давно?

— Пять лет, — мигом ответил он, словно с самого начала ждал, что я про это спрошу.

И пошел трещать. Мол, вот уж никогда не думал, что будет доживать свой век в Маренго, привратником в богадельне. Ему уже шестьдесят четыре, он парижанин. Тут я его перебил:

— А, так вы не здешний?

Потом я вспомнил: прежде чем проводить меня к директору, он говорил про маму. Говорил, что надо хоронить поскорее, тут ведь Алжир, да еще равнина, вон жара какая. Тогда-то он мне и сказал, что прежде жил в Париже и никак не может его забыть. В Париже с покойником не расстаются три дня, а то и четыре. А здесь нет времени, не успеешь свыкнуться с мыслью, что человек умер, как уже надо поспешать за дрогами. Тут жена его перебила: «Замолчи ты, молодому человеку незачем про это слушать». Старик покраснел и извинился. Тогда я вмешался и сказал: «Нет-нет, ничего». По-моему, все, что он говорил, было верно и интересно.

Потом, в мертвецкой, он мне объяснил, что в дом призрения попал по бедности. Но он еще крепок, вот и вызвался служить привратником. Я заметил — значит, он тоже здешний пансионер. Он возразил — ничего подобного! Меня еще раньше удивило, как он говорил про здешних жителей: «они», «эти», иногда — «старики», а ведь некоторые из них были ничуть не старше его. Но, конечно, это совсем другое дело. Он ведь привратник и в какой-то мере над ними начальство.

Тут вошла сиделка. Неожиданно настал вечер. Над стеклянной крышей вдруг сгустилась тьма. Привратник

повернул выключатель, и меня ослепил яркий свет. Потом он предложил мне пойти в столовую пообедать. Но есть не хотелось. Он сказал, что принесет мне чашку кофе с молоком. Я согласился, потому что очень люблю кофе с молоком, и через минуту он вернулся с подносом. Я выпил кофе. Захотелось курить. Сперва я сомневался, можно ли курить возле мамы. А потом подумал, что это не имеет значения. Предложил привратнику сигарету, и мы закурили.

Немного погодя он сказал:

— А знаете, друзья вашей матушки тоже придут посидеть около нее. Такой здесь обычай. Пойду принесу еще стульев и черного кофе.

Я спросил, нельзя ли погасить хоть одну лампу. Яркий свет отражался от побеленных стен, это было утомительно. Привратник сказал — ничего не поделаешь. Так уж тут устроено: либо горят все лампы сразу, либо ни одной. После этого я его почти не замечал. Он вышел, вернулся, расставил стулья. На один стул поставил кофейник и нагромоздил чашки. Потом уселся напротив меня, по ту сторону гроба. Сиделка все время оставалась в глубине комнаты, спиной к нам. Мне не видно было, что она делает. Но по движениям локтей я догадался — наверно, вяжет. Было тихо, я выпил кофе и согрелся, из открытой двери тянуло запахом ночи и цветов. Кажется, я вздремнул.

Меня разбудил шорох. Я успел отвыкнуть от яркого света, и выбеленные стены совсем ослепили меня. Теней не было, каждый предмет, каждый угол и изгиб вырисовывались так четко, что резало глаза. В комнату входили мамыны друзья. Их было человек двенадцать, они незлышно скользили в слепящем свете. Они уселись, и ни один стул не скрипнул. Никогда никого я не видел так ясно, до последней морщинки, до последней складки одежды. Однако их совсем не было слышно, просто не верилось, что это живые люди. Почти все женщины были в фартуках, перетянутых в талии шнурком, от этого еще заметней выдавались животы. Никогда прежде я не замечал, что у старух бывает такой большой живот. Мужчины были почти все тощие и опирались на палки. Больше всего меня поразило в их лицах, что я не мог разглядеть глаз, только что-то мерцало в сети морщин.

Когда они уселись, многие посмотрели на меня и неловко наклонили головы; у всех были беззубые, запавшие рты; я не мог понять, то ли они со мной здороваются, то ли головы их трясутся от старости. Наверно, все-таки это они со мной здоровались. Тут я заметил, что все они, качая головами, сидят напротив меня, по обе стороны от привратника. У меня мелькнула нелепая мысль, будто они собрались, чтобы меня судить.

Вскоре одна женщина заплакала. Она сидела во втором ряду, позади другой старухи, и я плохо ее видел. Она плакала на одной ноте, то и дело всхлипывая; казалось, она никогда не перестанет. Другие словно не слышали. Они все как-то обмякли, сидели хмурые, молчаливые. Каждый уставился в одну точку — кто на гроб, кто на собственную палку, на что попало — и уж больше никуда не смотрел. А та женщина все плакала. Очень странно, совсем незнакомая женщина. Мне хотелось, чтобы она замолчала. Но я не решался ей это сказать. Привратник наклонился к ней, заговорил, но она только мотнула головой, что-то пробормотала и продолжала все так же всхлипывать на одной ноте. Тогда привратник обошел гроб и сел рядом со мной. Долго молчал, потом сказал, не глядя на меня:

— Она была очень привязана к вашей матушке. Она говорит, ваша матушка одна здесь была ей другом, а теперь у нее никого не осталось.

Мы долго так сидели. Понемногу та женщина стала вздыхать и всхлипывать реже. Она еще какое-то время сопела и наконец утихла. Спать больше не хотелось, но я устал, ныла поясница. Теперь меня тяготило, что все они сидят так тихо. Только изредка слышался какой-то странный звук, я не мог разобрать, откуда он. Потом наконец понял: некоторые старики всасывали щеки внутрь, и тогда в беззубом рту странно шелкало. А они этого не замечали, слишком заняты были своими мыслями. Мне даже показалось, что они собрались вокруг покойницы вовсе не ради нее самой. Теперь-то я думаю — это мне просто показалось.

Привратник налил всем кофе, и мы выпили. Что было дальше, не знаю. Миновала ночь. Помню, какую-то минуту я открыл глаза и вижу: все старики спят, обмякнув на стульях, только один не спит — стиснул обеими руками

палку, оперся на них подбородком и уставился на меня, словно только того и ждал, чтоб я проснулся. Потом я опять задремал. Проснулся оттого, что у меня все сильнее ныла поясница. Над стеклянной крышей посветлело. Немного погодя проснулся один из стариков и надолго раскашлялся. Он все сплевывал в огромный клетчатый платок, и всякий раз у него словно что-то рвалось внутри. Кашель разбудил остальных, и привратник сказал, что им пора уходить. Они поднялись. После утомительного бдения лица у всех стали серые. Очень странно: уходя, каждый пожал мне руку, будто эта ночь, когда мы не обменялись ни словом, нас сблизила.

Я устал. Привратник проводил меня в сторожку, и я немного привел себя в порядок. Выпил еще чашку кофе с молоком, было очень вкусно. Когда я вышел из сторожки, уже совсем рассвело. Над холмами, которые отгораживают Маренго от моря, небо покраснелось. И ветер доносил из-за холмов соленый запах. Отличный начинался денек. Давно уже я не бывал за городом, и так приятно было бы прогуляться, если бы не мама.

А теперь я ждал во дворе, под платаном. Вдыхал свежий запах земли, и спать больше не хотелось. Вспомнил о сослуживцах. В этот час они встают и собираются на работу — для меня это всегда самое трудное время. Я еще немного подумал обо всем этом, а потом в доме зазвонил колокол и отвлек меня. За окнами началась суета, потом все опять успокоилось. Солнце поднялось немного выше и пригревало мне ноги. Подошел привратник и сказал, что меня ждет директор. Я пошел в кабинет. Директор дал мне подписать какие-то бумаги. На нем был черный сюртук и брюки в полоску. Он взялся за телефон и сказал мне:

— Прибыли люди из похоронного бюро. Сейчас я велю окончательно закрыть гроб. Угодно вам до этого в последний раз посмотреть на вашу матушку?

Я сказал — нет. Понизив голос, он распорядился по телефону:

— Фижак, велите им, пусть приступают.

Потом сказал мне, что и сам будет на похоронах, и я поблагодарил. Он сел за письменный стол, скрестил свои коротенькие ножки. Мы с ним будем одни да еще дежурная сиделка, сказал он. Обитателям дома не полагается

присутствовать при погребении. Он только разрешает им посидеть возле покойника ночь.

— Нельзя забывать о человеколюбии, — заметил он.

Но на сей раз он позволил одному пансионеру проводить покойницу.

— Тома Перез — старый друг вашей матушки. — Тут директор улыбнулся. — Понимаете, чувство это немного ребяческое. Но они с вашей матушкой были неразлучны. В доме над ними подшучивали, Переза называли женихом. Он смеялся. Им обоим это было приятно. И надо признать, что смерть госпожи Мерсо для него тяжелый удар. Я не считал нужным ему отказывать. А вот провести ночь у гроба я ему запретил — так посоветовал наш врач.

Потом мы довольно долго молчали. Директор поднялся и выглянул в окно. Чуть погода он заметил:

— А вот и священник. Даже раньше времени.

И предупредил, что приходская церковь — в самой деревне Маренго и до нее идти по меньшей мере три четверти часа. Мы вышли из кабинета. Перед домом стояли священник и два мальчика-служки; один служка держал кадильницу, а священник, наклонясь, подтягивал серебряную цепочку. Когда мы подошли, он выпрямился. Он назвал меня «сын мой» и сказал мне несколько слов. Потом вошел в мертвецкую; я последовал за ним.

Я тотчас заметил, что теперь винты глубоко ушли в дерево, и увидел четырех человек в черном. Директор сказал, что катафалк уже ждет, и тут священник начал читать молитву. Все пошло очень быстро. Люди в черном с покровом в руках подступили к гробу. Священник, служки, директор и я вышли из мертвецкой. У двери ждала какая-то почтенная женщина, прежде я ее не видел.

— Господин Мерсо, — представил меня директор.

Имени этой женщины я не расслышал, понял только, что она здешняя сиделка. Она поклонилась без улыбки, лицо у нее было длинное и очень худое. Потом мы все посторонились, давая дорогу носильщикам. Они вынесли гроб, и мы вышли вслед за ними из ворот. За воротами ждал катафалк. Длинный, блестящий, лакированный, совсем как пенал. Рядом стояли распорядитель — низенький, нелепо одетый человек — и старик, которому явно было не по себе. Я понял, что это и есть Перез. На нем была мягкая фетровая шляпа с круглой тульей и широкими

полями (когда выносили гроб, он ее снял), костюм не по росту, так что штанины гармошкой свисали на башмаки, на шею — черный бант, чересчур маленький для рубашки с таким широким белым воротничком. Нос угреватый, губы трясущиеся. Под редкими седыми волосами видны престранные уши — нелепой формы, торчащие и притом багрово-красные, это меня поразило, потому что сам он был мертвенно-бледен. Распорядитель объяснил нам, какой будет порядок. Впереди всех священник, за ним — катафалк. Вокруг катафалка — четверо в черном. Позади — мы с директором, а замыкают шествие сиделка и господин Перез.

Небо наполнилось солнцем. Уже начинало припекать, жара с каждой минутой усиливалась. Не знаю, почему мы так долго не двигались с места. В темном костюме я запарился. Старичок Перез надел было шляпу, но опять снял. Я слегка повернулся в его сторону и слушал, что говорит про него директор. Тот рассказывал, что по вечерам мама с Перезом часто ходили гулять, их сопровождала сиделка, и они доходили до самой деревни. Я поглядел вокруг. Вереницы кипарисов тянулись к холмам у горизонта, меж кипарисами сквозила земля — где зеленая, где рыжая, — отчетливо вырисовывались редкие домики, и я понимал маму. Должно быть, вечер в этом краю — как раздумчивое затишье. А вот сейчас под неукротимым солнцем все вокруг содрогается и в свой черед становится гнетущим и жестоким.

Мы двинулись в путь. И тут я заметил, что Перез прихрамывает. Дроги катили все быстрее, и старик понемногу отставал. Один из тех четверых тоже дал дрогам себя обогнать и пошел рядом со мной. Удивительно, как быстро солнце поднималось все выше. Оказалось, в полях давно уже гудят и жужжат насекомые, шелестит трава. У меня по щекам струился пот. Шляпу я не захватил и обмахивался носовым платком. Служащий похоронного бюро что-то мне сказал, но я не расслышал. Он вытирал лысину платком, платок держал в левой руке, правой приподнимал фуражку. Я переспросил:

— Что?

Он показал на небо и повторил:

— Ну и шпарит.

— Да, — сказал я.

Немного погодя он спросил:

— Вы покойнице кто — сын?

Я опять сказал — да.

— Старая она была?

— В общем, да, — сказал я, потому что не знал точно, сколько ей было лет.

Тогда он замолчал. Я обернулся и увидел, что старик Перез отстал уже метров на пятьдесят. Он торопился, как мог, размахивал руками, в одной руке он держал шляпу. Поглядел я и на директора. Он шагал с большим достоинством, не делая ни одного лишнего движения. На лбу его блестели капли пота, но он их не вытирал.

Казалось, процессия понемногу ускоряет шаг. Вокруг сверкала и захлебывалась солнцем все та же однообразная равнина. Небо слепило нестерпимо. Одно время мы шли по участку дороги, который недавно чинили. Солнце расплавало гудрон. Ноги вязли в нем и оставляли раны в его сверкающей плоти. Клеенчатый цилиндр возницы маячил над катафалком, словно тоже сплетенный из этой черной смолы. Я почувствовал себя затерянным между белесой, выгоревшей синевой неба и навязчивой чернотой вокруг: липко чернел разверзшийся гудрон, тускло чернела наша одежда, черным лаком блестел катафалк. Солнце, запах кожи и конского навоза, исходивший от катафалка, запах лака и ладана, усталость после бессонной ночи... от всего этого у меня мутилось в глазах и путались мысли. Я опять обернулся — Перез маячил далеко позади, в знойной дымке, а потом и вовсе пропал из виду. Я стал озираться и увидел: он сошел с дороги и двинулся через поля. Оказалось, впереди дорога описывает дугу. Стало быть, Перез, которому эти места хорошо знакомы, решил срезать напрямик, чтобы нас нагнать. На повороте он к нам присоединился. Потом мы опять его потеряли. Он снова пошел наперерез, полями, и так повторялось несколько раз. Кровь стучала у меня в висках.

Дальше все разыгралось так быстро, слаженно, само собой, что я ничего не запомнил. Разве только одно: когда мы входили в деревню, сиделка со мной заговорила. У нее оказался необыкновенный голос, звучный, трепетный, очень неожиданный при таком лице. Она сказала:

— Медленно идти опасно, может случиться солнечный удар. А если заторопишься, бросает в пот, и тогда в церкви можно простыть.

Да, правда. Выхода не было. В памяти уцелели еще какие-то обрывки этого дня — например, лицо Переза, когда у самой деревни он нас перехватил в последний раз. От усталости и горя по щекам его текли крупные слезы. Но морщины не давали им скатиться. Слезы расплывались и опять стекались и затягивали иссохшее лицо влажной пленкой. Была еще церковь, и деревенские жители на тротуарах, и кладбище, на могилах краснела герань, и Перез упал в обморок (точь-в-точь марионетка, которую уже не дергают за нитки), и красная как кровь земля сыпалась на мамин гроб, мешаясь с белым мясом перерезанных корней, и еще люди, голоса, деревня, ожидание на остановке перед кафе, потом непрерывное урчанье мотора, и как я обрадовался, когда автобус покатила среди огней по улицам Алжира, и я подумал: вот лягу в постель и просплю двенадцать часов кряду.

II

Проснувшись, я понял, отчего у патрона был недовольный вид, когда я просил отпуск на два дня: нынче суббота. Я про это почти забыл, а когда начал вставать — вспомнил. Конечно, патрон сразу подумал, что вместе с воскресеньем у меня выйдет четыре свободных дня, и, понятно, это ему не понравилось. Но, с одной стороны, я не виноват, что маму хоронили вчера, а не сегодня, а с другой стороны, в субботу и воскресенье я бы все равно не работал. Впрочем, я прекрасно понимаю, что патрону это не нравится.

Поднялся я с трудом, потому что накануне устал. Пока брлся, думал, как бы провести время, и решил искупаться. Сел в трамвай и поехал в купальни у порта. Кинулся в воду и поплыл. Тут было много молодежи. В воде встретился с Мари Кардона, когда-то она работала у нас в конторе машинисткой, в ту пору я ее хотел. И она, кажется, тоже. Но мы не успели, она очень быстро уволилась. Сейчас я помог ей взобраться на поплавок и при этом коснулся ее груди. Я еще не вылез из воды, а она уже растянулась на поплавке. И повернулась ко мне. Волосы падали ей на глаза, и она смеялась. Я подтянулся и пристроился с ней рядом. Было славно, я откинулся назад и, точно в шутку, положил голову ей на живот. Она ничего

не сказала, и я так и остался лежать. Прямо в глаза мне смотрело просторное небо, синее и золотое. Затылком я чувствовал, как тихонько поднимается и опускается от дыхания живот Мари. Мы долго лежали, полусонные, на поплавке. Когда солнце стало слишком припекать, она нырнула, я за ней. Я догнал ее, обнял за талию, и мы поплыли вместе. Она все время смеялась. На пристани, когда мы сошли, она сказала:

— А я загорела сильнее, чем вы.

Я спросил, не пойдет ли она вечером в кино. Она опять засмеялась и сказала, что ей хочется посмотреть картину с Фернанделем. Когда мы оделись, она очень удивилась, что на мне черный галстук, и спросила — разве я в трауре? Я сказал — умерла мама. Она спросила — когда, и я сказал — вчера. Она отступила на шаг, но промолчала. Я хотел было сказать, что я ведь не виноват, да вспомнил, что уже говорил это патрону. Ну, неважно. Все равно, как ни крути, всегда окажешься в чем-нибудь да виноват.

Вечером Мари обо всем забыла. Картина была временами забавная, а в общем, преглупая. Нога Мари прижималась к моей. Я гладил ее грудь. Под конец сеанса я ее поцеловал, но как-то неловко. После кино она пошла ко мне.

Когда я проснулся, Мари уже ушла. Она еще раньше объяснила, что ей надо навестить тетку. Я вспомнил, что нынче воскресенье, и мне стало скучно — не люблю воскресений. Повернулся на другой бок, вдохнул с подушки запах моря от волос Мари и проспал до десяти часов. Потом лежал в постели до двенадцати, курил сигареты. Завтракать, как обычно, у Селеста не хотелось: там, конечно, стали бы расспрашивать, а я этого не люблю. Поджарил себе яичницу и съел прямо со сковородки без хлеба — дома не было ни крошки, а идти покупать не хотелось.

После завтрака мне стало скучновато, и я начал бродить по квартире. При маме тут было удобно. А для одного квартира слишком велика, пришлось перетаскать к себе стол из столовой. Так я теперь и живу в одной комнате, тут у меня стоят соломенные стулья, уже немного продавленные, зеркальный шкаф (зеркало пошло желтыми пятнами), туалетный столик и кровать с медными прутьями. Остальное все в забросе. Немного погодя от нечего делать

я взял старую газету и стал читать. Вырезал рекламу слабительной соли и наклеил в старую тетрадь, я туда вклеиваю все, что попадется в газетах забавного. Потом вымыл руки и наконец шагнул на балкон.

Моя комната выходит на главную улицу предместья. День стоял погожий. Но накатанная мостовая жирно блестела, прохожих было мало, и почему-то они торопились. Некоторые вышли на прогулку всей семьей. Сперва прошли два мальчугана, будто одеревеневшие в парадных наглаженных матросках и в штанах ниже колен, и девочка с большим розовым бантом, в черных лакированных туфельках. За ними — огромная, толстая мамаша в коричневом шелку и маленький, шустрый папаша, я его знаю в лицо. На нем галстук бабочкой, жесткая соломенная шляпа, в руке трость. Увидав его рядом с женой, я понял, почему в нашем квартале он считается человеком весьма достойным. Немного спустя прошли молодые люди — волосы напомажены, красные галстуки, пиджаки в талию, из нагрудных карманов торчат вышитые платочки, у башмаков квадратные носы. Видно, собрались в город, в кино. Потому они и вышли спозаранку, и спешат к трамваю, и хохочут во все горло.

Потом улица понемногу опустела. Наверно, всюду начались сеансы. На улице остались только лавочники да кошки. Над фикусами, которые растут вдоль домов, небо чистое, но неяркое. Хозяин табачной лавки, что через дорогу, выставил стул на тротуар у входа и уселся верхом, опершись локтями на спинку. Еще недавно трамваи были набиты битком, а сейчас идут почти пустые. Рядом с табачной лавкой, в маленьком кафе «У Пьеро», безлюдно, официант посыпал пол опилками и подметает. Сразу видно — воскресенье.

Я повернул свой стул и тоже, как торговец табаком, оседлал его — оказывается, так удобнее. Выкурил две сигареты, вернулся в комнату, отломил кусок шоколада, подошел к окну и стал жевать. Вскоре небо нахмурилось, и я подумал, что налетит летняя гроза. Но понемногу опять прояснилось. Однако после того как прошли облака, улица так и осталась хмурой, будто в предчувствии дождя. Я еще долго сидел и смотрел на небо.

В пять часов с грохотом прикатили трамваи. Они везли народ с дальнего стадиона, люди гроздьями висели по

бокам и на подножках. Следующие вагоны привезли игроков, я их признал по чемоданчикам. Они орали и пели песни во славу своей непобедимой команды. Некоторые махали мне руками. Один даже крикнул:

— Наша взяла!

И я кивнул в ответ.

После этого потоком хлынули машины.

День еще немного померк. Небо над крышами стало краснеть, и с наступлением вечера улицы оживились. Люди возвращались с прогулки. Среди прочих я узнал достойного отца семейства. Детишки хныкали и едва плелись, их тащили за руку. И сейчас же кинотеатры всего квартала выплеснули на улицу волну зрителей. Молодые люди шагали решительней обычного и энергичней размахивали руками — наверно, фильм был приключенческий. Те, кто ездил в кино в центр города, вернулись позже. Эти держались серьезнее. Иногда они смеялись, но чаще лица у них были усталые и задумчивые. Они не расходились по домам, а прогуливались взад и вперед по тротуару напротив. Девушки с непокрытыми головами гуляли, взявшись под руки. Молодые люди нарочно шли им навстречу и отпускали всякие шуточки, а они со смехом отворачивались. С некоторыми девушками я был знаком, они кивали мне и улыбались.

Внезапно зажглись уличные фонари, и первые проглянувшие в небе звезды побледнели. Оттого, что я долго смотрел на улицу, полную огней и прохожих, у меня зарябило в глазах. Мостовая лоснилась под лучами фонарей, в отсвете проходящих трамваев порой вспыхивали чьи-то волосы, улыбка или серебряный браслет. Понемногу трамваи стали реже, небо над деревьями и фонарями совсем почернело, квартал незаметно опустел, и вот уже совсем безлюдную улицу лениво перебежала первая кошка. Тут я подумал, что надо бы пообедать. Я так долго сидел, опершись на спинку стула, что у меня затекла шея. Я вышел купить хлеба и макарон, сварил макароны и стоя поел. Хотел было выкурить у окна еще сигарету, но потянуло холодом, и мне стало зябко. Я закрыл окно и, отходя от него, увидел в зеркале угол стола и на нем спиртовку и куски хлеба. И подумал — вот и прошло воскресенье, маму похоронили, завтра я пойду на работу, и, в сущности, ничего не изменилось.

III

Сегодня в конторе у меня набралось много дела. Патрон был любезен. Спросил, сильно ли я устал, и тоже заинтересовался, сколько маме было лет. Чтобы не ошибиться, я сказал просто: «Седьмой десяток». И почему-то у него на лице выразилось облегчение, словно он решил, что говорить больше не о чем.

У меня на столе громоздилась куча накладных, надо было все их разобрать. Перед тем как пойти завтракать, я вымыл руки. Среди дня это очень приятно. Вечером мне это меньше нравилось: полотенцем возле умывальника пользуется вся контора, и за день оно становится совсем мокрым. Однажды я сказал об этом патрону, он ответил — да, нехорошо, но, в сущности, это мелочь. Завтракать я пошел немного позже обычного, в половине первого, вместе с Эмманюелем — он служит в экспедиции. Наша контора обращена к морю, и мы минутой-другую помешкали — смотрели на торговые суда в залитой солнцем гавани. Тут, треща выхлопной трубой и гремя цепями, появился грузовик. Эмманюель сказал: «Поехали?» — и я кинулся бежать. Грузовик уже прокатил дальше, мы бросились вдогонку. Меня захлестнуло грохотом и пылью. Я уже ничего не видел и не чувствовал, мы мчались очертя голову между лебедок и машин, мимо посуды у причалов, мачты качались и чиркали по небу. Я первым ухватился за борт грузовика и забрался в кузов. Потом помог Эмманюелю. Мы еле переводили дух, грузовик подскакивал на неровной брусчатке набережной, среди солнца и пыли. Эмманюель закатывался хохотом.

Взмокшие, потные, мы ввалились к Селесту. Он был тут как тут, толстопузый, в белом переднике и с белыми усами. Он спросил меня: «Ну как, держишься?» Я сказал «да» и еще сказал, что хочу есть. Мигом все съел, выпил кофе. Пошел домой, немного поспал, потому что за завтраком выпил лишнее, а когда проснулся, захотелось курить. Побоялся опоздать и побежал к трамваю. Работал до вечера. В конторе стояла духота, и вечером я с наслаждением, не торопясь, возвращался по набережной пешком. Небо стало зеленое, мне было хорошо и спокойно. Все же я пошел прямо домой, потому что хотел сварить себе картошки.

Поднимаясь по неосвещенной лестнице, я столкнулся со стариком Саламано — мы живем на одной площадке. Он выводил свою собаку. Уже восемь лет они неразлучны. У этого спаниеля какая-то кожная болезнь, лишай наверно, — он весь облезлый, в болячках и в бурой коросте. Старик Саламано ютится со своим псом в тесной комнатенке и за долгие годы сам стал похож на него. Лицо в красноватых струпьях, редкие выпавшие волосы. А пес перенял у хозяина повадку — какой-то он сутулый, шею вытянул, голову повесил. Похоже, что оба одной породы — и, однако, они друг друга ненавидят. Дважды в день, в одиннадцать и в шесть, старик выводит пса на прогулку. За восемь лет маршрут ни разу не менялся. Они идут по Лионской улице, пес изо всех сил натягивает поводок, старик Саламано начинает спотыкаться. Тогда он колотит пса и ругательски его ругает. Струсив, пес приседает и упирается. Теперь уже старик тянет его за собой. Но стоит псу забыться, и он снова тащит хозяина вперед, а тот опять бьет его и ругает. Станут посреди тротуара и смотрят друг на друга — собака со страхом, человек с ненавистью. И так изо дня в день. Когда пес задирает ногу, старик не дает ему времени и тащит вперед, и за собакой остается след — цепочка мелких капель. И если собаке случится напакостить в комнате, на нее снова сыплются побои. Все это длится восемь лет. Селест говорит, что Саламано — негодяй, но ведь никто не знает, как оно на самом деле. Когда я встретил старика на лестнице, он осыпал пса бранью.

— Сволочь! — говорил он. — Подлюга!

Пес в ответ скулил. Я сказал:

— Добрый вечер!

Но старик все ругался. Тогда я спросил, что пес ему сделал. Саламано не ответил, только повторял:

— Сволочь! Подлюга!

В темноте я едва разглядел, что он наклонился над собакой и как будто поправляет ошейник. Я спросил еще раз, погромче. Тогда он ответил, не оборачиваясь, с еле сдерживаемой яростью:

— Опостылел он мне...

И ушел, волоча за собой пса, а тот скулил и упирался всеми четырьмя лапами.

Тут вошел другой мой сосед по лестничной площадке. В нашем квартале он слывет сутенером. Но когда его

спрашивают, чем он занимается, он называет себя кладовщиком. Все его недолюбливают. Однако со мной он часто заговаривает, а иногда на минуту заходит ко мне, потому что я готов его слушать. По-моему, он рассказывает интересно. И у меня нет причин с ним не разговаривать. Зовут его Раймон Синтес. Он небольшого роста, плечи широкие, нос как у боксера. Одет всегда с иголочки. Он тоже сказал мне про Саламано:

— Вот негодяй!

И спросил, не противно ли мне все это, а я сказал — нет.

Мы поднялись по лестнице, я хотел уйти к себе, но он сказал:

— У меня есть вино и кровяная колбаса. Может, присоединитесь?

Я подумал, не придется готовить себе ужин, и согласился. У Раймона, как и у Саламано, только одна комната да темная, без окна, кухня. Над кроватью — бело-розовый гипсовый ангел, фотографии чемпионов, две или три картинки, вырезанные из журнала, — голые женщины. В комнате грязно, постель не прибрана. Раймон первым делом зажег керосиновую лампу, потом выгасил из кармана сомнительной чистоты бинт и стал перевязывать себе правую руку. Я спросил, что с рукой. Он объяснил: пристал к нему один фрукт, вот и пришлось подраться.

— Понимаете, господин Мерсо, я человек не злой, но нрав у меня горячий. Тот фрукт мне говорит: «Выходи из трамвая, если ты мужчина!» Я говорю: «Да ладно, отстань». А он мне: ты, мол, не мужчина. Ну, я вышел с ним из вагона и говорю: «Лучше отвяжись, не то получишь». А он отвечает: «Черта с два!» Ну, тут я ему врезал. Он свалился. Я хотел его поднять. А он лежит и отбивается ногами. Я ему наподдал коленом и еще по морде — раз, раз! В кровь разбил. Спрашиваю: ну как, мол, хватит с тебя? Он говорит: «Хватит».

Рассказывая, Синтес перевязывал руку. Я сидел на его постели. Он сказал еще:

— Понимаете, я к нему не пристававал. Он первый меня оскорбил.

Я согласился, что так оно и выходит. Тогда он заявил, что как раз хотел со мной насчет этого посовето-

ваться, я-то мужчина, притом человек бывалый и могу ему помочь, и тогда он станет мне другом-приятелем. Я промолчал; тогда он спросил, хочу ли я стать ему другом. Я сказал, что мне все равно, и он, видно, был доволен. Он вытащил колбасу, поджарил ее на сковороде, расставил стаканы, тарелки, достал ножи, вилки и две бутылки вина. И все это молча. Потом мы сели за стол. За едой он начал рассказывать о своих делах. Сперва он немного мялся.

— Я водил знакомство с одной... собственно говоря, она моя любовница...

Человек, с которым он подрался, — брат этой женщины. Раймон сказал, что содержал ее. Я промолчал, и, однако, он сейчас же прибавил, что знает, какие про него ходят сплетни по всему кварталу, но совесть его чиста, он работает кладовщиком.

— Так вот,— продолжал он,— заметил я, что меня водят за нос.

Он давал любовнице ровно столько, чтоб хватало на жизнь. Сам снимал ей комнату и давал двадцать франков в день на еду.

— Триста франков за комнату, шестьсот на еду, время от времени пара чулок — вот вам тысяча франков. И дамочка не работала. Но вечно уверяла, что этих денег ей никак не хватает. Я ей говорю: «Пошла бы работать на полдня. Избавила бы меня от мелких расходов. Я тебе в этом месяце купил костюм, я тебе даю двадцать франков в день, я плачу за твою комнату, а ты еще среди дня распиваешь с приятельницами кофе. Угощаешь их кофе с сахаром. И все на мои деньги. Я с тобой по-хорошему, а ты как поступаешь?» Но она не работала, только знай твердила, что денег ей никак не хватает, ну, под конец я и понял, что меня водят за нос.

И Раймон рассказал мне, что нашел в сумочке у любовницы лотерейный билет, и она не могла объяснить, на какие деньги его купила. Немного позже он нашел у нее квитанцию — оказалось, она заложила в ломбарде два браслета. А он и не подозревал, что у нее есть браслеты.

— Тут-то я ее и раскусил. И тогда я с ней расстался. Но сперва отлупил ее. И выложил начистоту, что я про нее думаю. Ты, говорю, только и знаешь, что забавля-

ешься в постели с кем попало. Понимаете, господин Мерсо, я ей так и сказал, я, говорю, тебя осчастливил, все тебе завидуют, а ты не ценишь. Еще пожалеешь, да поздно будет.

Он избил ее в кровь. Прежде он ее не бил.

— Поколачивал, но только так, любя. Она, бывало, всплакнет, я закрою ставни, и все кончается самым обыкновенным образом. А на этот раз дело серьезное. И, скажу вам, я еще не проучил ее как следует.

Он объяснил, что тут-то ему и нужен мой совет. Потом остановился и поправил фитиль, потому что лампа коптила. Я молчал и слушал. Я выпил чуть не литр вина, и у меня сильно шумело в голове. Я курил сигареты Раймона, своих у меня не осталось. Проходили последние трамваи, унося с собой затихающие отголоски дневного шума. Раймон продолжал рассказывать. Он еще не охладел к этой шлюхе, вот что досадно. Но он непременно ее проучит. Сперва он хотел привести ее куда-нибудь в гостиницу и вызвать полицию нравов: пускай разыграется скандал и она получит желтый билет. Потом обратился к друзьям — у него в этих кругах есть свои люди. Они ничего путного не присоветовали. Что толку после этого водить с ними дружбу, заметил Раймон. Он им так и сказал, и тогда они предложили поставить ей на роже метку. Но ему не это нужно. Он еще поразмыслит. Но сперва он хочет меня кое о чем попросить. Нет, еще прежде того вопрос: что я думаю обо всей этой истории? Я сказал — ничего не думаю, просто это любопытно. А как я думаю, обманывала она его? Да, пожалуй, обманывала. А как я думаю, надо ее проучить? И как бы я поступил на его месте? Я ответил — трудно сказать, но что он хочет ее проучить — это я понимаю. Потом я выпил еще вина. Раймон закурил сигарету и раскрыл мне свой план. Он напишет ей письмо, в котором «даст ей по морде» и в то же время заставит раскаяться. А потом, когда она вернется, он ляжет с ней в постель и «в самую последнюю минуту» плюнет ей в лицо и выгонит вон. Я согласился — да, таким образом она и вправду будет наказана. Но Раймон сказал, что он, пожалуй, не сумеет составить такое письмо, вот он и подумал — может, я напишу за него. Я ничего не ответил, и он предложил, если я не против, заняться этим сейчас же. Я сказал, что не против.

Он выпил стакан вина и поднялся. Отодвинул тарелки и остатки застывшей в жиру колбасы. Старательно вытер клеенку на столе. Вынул из ящика ночного столика лист бумаги в клетку, желтый конверт, красную деревянную ручку и квадратную чернильницу с лиловыми чернилами. Когда он назвал имя женщины, стало ясно, что она мавританка. Я сочинил письмо. Писал отчасти наобум, но старался, чтобы Раймон был доволен, — в сущности, отчего бы и не постараться? Потом прочел ему письмо вслух. Он слушал, курил и качал головой, потом попросил прочесть еще раз. Остался вполне доволен. И сказал мне:

— Я же знал, что ты человек бывалый.

Не сразу я заметил, что он перешел на «ты». Только когда он заявил: «Вот теперь ты мне настоящий друг!» — меня это поразило. Он повторил то же самое еще раз, и я сказал: «Да». Мне все равно, друг так друг, а ему, видно, вправду этого хотелось. Он запечатал письмо, и мы допили вино. Потом посидели молча, покурили. На улице стало совсем тихо, прошуршала шинами одинокая машина. Я сказал:

— Уже поздно.

Раймон тоже так думал. Он сказал — время идет быстро, — и в некотором смысле это верно. Меня клонило ко сну, но я никак не мог подняться. Наверно, у меня был усталый вид, потому что Раймон сказал — не надо вешать нос. Я сперва не понял. Тогда он объяснил: он слышал, что я похоронил маму, но ведь рано или поздно все померет. Я согласился.

Потом я встал. Раймон крепко пожал мне руку и сказал, что настоящие мужчины всегда поймут друг друга. Я вышел, затворил дверь и минуту постоял в темноте на площадке. Дом спал, снизу по лестнице тянуло чем-то сырым и смутным. Я стоял не шевелясь, но ничего не услышал, только в ушах шумело. Да в комнате старика Саламано глухо проскулил пес.

IV

Всю неделю я много работал. Как-то зашел Раймон и сказал, что отослал то письмо. Два раза я ходил с Эмманюелем в кино, он часто не понимает, что делается на

экране. Надо ему объяснять. Вчера, в субботу, как мы уговорились, приходила Мари. На ней было красивое платье в белую и красную полоску и кожаные сандалии, и я очень ее захотел. Под платьем угадывались ее крепкие груди, смуглое от загара лицо было как цветок. Мы сели в автобус и поехали за несколько километров от Алжира на маленький пляж — он прячется между скал, а от суши его отгораживают тростники. В четыре часа солнце уже не такое жаркое, но вода теплая. Не спеша поплескивала пологая ленивая волна.

Мари обучила меня игре: когда плывешь, надо втянуть ртом пену с гребня волны, перевернуться на спину и дунуть в небо фонтаном. Брызги рассеиваются в воздухе, точно кружево, или падают на лицо теплым дождем. Но скоро от горько-соленой воды стало жечь во рту. Мари подплыла ближе и в воде прильнула ко мне. Прижалась губами к моим губам, провела по ним языком. Рот у меня перестал гореть, и мы немного покачались на волнах.

Потом мы вышли на песок и стали одеваться. Мари смотрела на меня блестящими глазами. Я обнял ее. После этого мы больше не разговаривали. Я прижал ее к себе, и мы заторопились к автобусу, сразу пошли ко мне и бросились на постель. Я оставил окно настежь. Летняя ночь омывала наши опаленные солнцем тела, и это было славно.

Утром Мари осталась у меня, и я сказал — давай позавтракаем вместе. И вышел купить чего-нибудь поесть. Когда возвращался, услышал в комнате Раймона женский голос. Немного погодя заворчал на своего пса старик Саламано. По деревянным ступеням зашаркали подошвы, заскребли когти, и послышалось знакомое:

— Сволочь! Подлюга!

Они вышли на улицу. Я рассказал Мари про старика, и она засмеялась. На ней была моя пижама, рукава она подвернула. Когда она засмеялась, я опять ее захотел. Немного погодя она спросила:

— Ты меня любишь?

Я ответил, что это пустые слова, они ничего не значат, но, пожалуй, не люблю. Лицо у нее стало грустное. Но, готовя завтрак, она ни с того ни с сего опять засмеялась так, что я ее обнял. И в эту минуту в комнате Раймона поднялся шум.

Сперва мы услышали пронзительный женский крик, потом голос Раймона:

— Ты меня обманула, да, обманула! Я тебе покажу, как меня обманывать!

Раздались глухие удары, и женщина завопила, да так отчаянно, что на лестницу тотчас выбежали жильцы. Мы с Мари тоже вышли. Женщина все кричала, а Раймон все осыпал ее ударами. Мари сказала — какой ужас. Я не ответил. Она попросила, чтобы я позвал полицию, но я сказал — не люблю полицейских. Однако полицейский пришел, его привел жилец со второго этажа, водопроводчик. Полицейский постучал в дверь, и там все стихло. Он постучал сильнее, и тут женщина заплакала, и Раймон отворил. Он приторно улыбался, в зубах торчала сигарета. Женщина кинулась к двери и крикнула полицейскому, что Раймон ее избил.

— Фамилия? — спросил полицейский.

Раймон ответил.

— Вынь сигарету изо рта, когда со мной разговариваешь, — сказал полицейский.

Раймон замаялся, поглядел на меня и сигарету не вынул. Полицейский размахнулся и вlepил ему звонкую, увесистую оплеуху. Сигарета отлетела на несколько метров. Раймон переменялся в лице, но сразу ничего не сказал, а чуть погодя кротко спросил, можно ли подобрать окурочок. Полицейский разрешил и прибавил:

— В другой раз будешь знать, как с полицией шутики шутить.

Все это время женщина плакала и повторяла:

— Он меня излупил. Он кот.

Раймон сказал:

— Господин полицейский, разве по закону позволяет-ся обзывать человека котом?

Но тот велел ему заткнуть глотку. Тогда Раймон обернулся к женщине и сказал:

— Ну погоди, деточка, мы еще встретимся.

Полицейский велел ему заткнуться, и пускай женщина уходит, а он пускай сидит дома и ждет, куда его вызовут в участок. И прибавил — хоть бы Раймон постыдился, вон до чего пьян, весь трясется! Тут Раймон объяснил:

— Я не пьян, господин полицейский. Просто перед вами я поневоле дрожу.

Он затворил дверь, и все разошлись. Мы с Мари опять принялись готовить завтрак. Но ей не хотелось есть, я почти все съел сам. Через час она ушла, а я опять немного поспал.

Часа в три ко мне постучали, и вошел Раймон. Я все еще лежал. Он присел на край кровати. Он сидел и молчал, и я спросил, как было дело. Он рассказал, что сделал все, как задумал, но она дала ему пощечину, и тогда он ее поколотил. Остальное я и сам видел. Я сказал — по-моему, теперь он ее проучил и может быть доволен. Он был того же мнения и сказал, мол, как бы полицейский ни старался, а тумачов он ей надавал, этого уж никто не изменит. И прибавил, что полицейских он изучил и знает, как с ними обращаться. Потом спросил — наверно, я ждал, что он тоже даст полицейскому по морде. Я сказал: ровным счетом ничего не ждал, а вообще не люблю я полицию. Раймон, видно, был очень доволен. Он спросил, не пойду ли я с ним пройтись. Я поднялся и пригладил волосы. Тут он сказал, что хочет взять меня в свидетели. Мне это было все равно, но я не знал, что надо говорить. Раймон объяснил: довольно будет подтвердить, что эта женщина его обманула. Я согласился выступить свидетелем.

Мы вышли из дому, и Раймон предложил выпить по рюмочке коньяку. После этого ему вздумалось сыграть партию в бильярд, и я немножко проиграл. Потом он звал меня в бордель, но я сказал — нет, потому что я этого не люблю. Тогда мы не спеша повернули обратно. И он все говорил, как он доволен, что проучил свою любовницу. Он был со мной очень мил, и я подумал, мы славно провели время.

Еще издали я увидел на пороге нашего дома старика Саламано, он был чем-то взволнован. Когда мы подошли поближе, оказалось — он без собаки. Он озирался по сторонам, вертелся волчком, вглядывался в темный коридор, бормотал что-то несвязное и вновь принимался воспаленными, красными глазками обшаривать улицу. Раймон спросил, что с ним, но он ответил не сразу. Он все суетился, и я с трудом разобрал, что он ворчит сквозь зубы:

— Сволочь! Подлюга!

Я спросил, где пес.

— Удрал, — отрезал старик и вдруг разразился длинной речью: — Пошел я с ним, как всегда, на площадь. Там ярмарка, у балаганов полно народу. Я остановился поглядеть «Короля-бродягу». Потом собрался идти дальше, хватать, а его и след простыл. Правда, давно надо было купить ему ошейник поуже. Да только не думал я, что эта сволочь вот так возьмет и удерет.

Раймон стал ему толковать, что, может быть, пес просто заблудился и еще вернется. Он приводил разные случаи: сколько раз бывало, что собака пробежит десятки километров, а потом вернется к хозяину. Но старик все не мог успокоиться:

— Поймите, его прикончат. Еще если б кто-нибудь взял его себе. Да нет, кто его возьмет, шелудивого, им все брезгают. Его наверняка сцапают живодеры.

Тогда я посоветовал Саламано пойти на живодерню, пускай заплатит штраф — и собаку вернут. Он спросил, большой ли штраф. Я не знал. Тут он вспыхнул:

— Еще деньг платить за такую падаль! Да чтоб он сдох, подлый пес!

И разразился бранью. Раймон засмеялся и вошел в дом. Я поплелся за ним, и на площадке мы расстались. Через минуту я услышал шаги старика, и он постучал ко мне. Я открыл, он потоптался на пороге и сказал:

— Извините... прошу прощенья...

Я пригласил его войти, но он не вошел. Он потупился, его покрытые коростой руки тряслись. Не поднимая глаз, он спросил:

— Скажите, господин Мерсо, у меня его не отнимут? Мне его отдадут? А то что же со мной будет!

Я сказал, на живодерне собаку держат три дня, чтобы хозяин, если пожелает, мог ее забрать, а уж потом распоряжаются ею по своему усмотрению. Он долго молча глядел на меня. Потом сказал:

— Спокойной ночи.

И ушел к себе, я слышал, как он ходил по комнате взад-вперед. Потом закрипела кровать. Через перегородку донеслись странные глухие звуки, и я понял, что старик плачет. Сам не знаю почему, я подумал о маме. Но на-завтра надо было рано вставать. Есть не хотелось, и я лег спать без ужина.

Раймон позвонил мне в контору. Он сказал, что один его приятель, которому он про меня рассказывал, приглашает меня на воскресенье за город, у него там домишко, вернее, лачуга. Я сказал, что охотно бы поехал, да обещал провести воскресенье с подружкой. Раймон тотчас объявил: пускай и подружка едет. Жена приятеля только обрадуется, что будет не одна в мужской компании.

Я хотел сразу повесить трубку, патрон не любил, когда нам звонят на службу. Но Раймон сказал — одну минуту, приглашение он мог бы передать и вечером, но хочет меня еще кое о чем попросить. За ним весь день ходят по пятам несколько арабов, в том числе брат его бывшей любовницы.

— Если увидишь его вечером возле дома, когда вернешься, предупреди меня.

Я сказал — непременно.

Немного погодя меня позвали к патрону, и мне стало досадно, я подумал, сейчас он скажет, что надо поменьше разговаривать по телефону и побольше работать. Но оказалось, ничего подобного. Он объявил, что у него есть один план, пока еще неопределенный. И ему любопытно услышать мое мнение. Он намерен открыть в Париже отделение конторы, которое занималось бы делами прямо на месте, вело бы там переговоры с крупными парижскими фирмами, — так вот, не хочу ли я за это взяться? Можно жить в Париже и при этом довольно много разъезжать.

— Вы молоды, и, мне кажется, такая работа должна прийти вам по вкусу.

Я сказал — пожалуй, хотя, в сущности, мне все равно. Тогда он спросил, неужели мне не интересно переменить образ жизни. Я сказал, в жизни ничего не переменишь, все одно и то же, а мне и так хорошо. У него стало недовольное лицо, и он сказал, вечно я отвечаю не по существу, нет у меня никакого честолюбия, а это очень плохо для дела. Тогда я опять пошел работать. Неприятно, что он недоволен, но с какой стати я буду менять свою жизнь? Если вдуматься, разве я несчастен? В студенческие годы были у меня всякие честолюбивые мечты. Но когда пришлось бросить ученье, я очень быстро понял, что все это, в сущности, неважно.

Вечером пришла Мари и спросила, хочу ли я, чтобы мы поженились. Я сказал, мне все равно, можно и пожениться, если ей хочется. Тогда она захотела знать, люблю ли я ее. Я ответил, как и в прошлый раз, что это не имеет значения, но, конечно, я ее не люблю.

— Зачем же тогда на мне жениться? — спросила она.

Я объяснил, что это совершенно неважно, — отчего бы и не пожениться, раз ей хочется. Ведь она сама об этом просит, а я только соглашаюсь. Тогда она сказала, что брак — дело серьезное. Я сказал:

— Нет.

Она осеклась и с минуту молча смотрела на меня. Потом опять заговорила. Интересно знать, согласился бы я, если бы мне то же самое предложила другая женщина, с которой я был бы связан такими же отношениями? Я сказал:

— Разумеется.

Мари сказала, что и сама не понимает, любит ли она меня, но этого я уж вовсе не знал. Она опять помолчала, потом пробормотала, что я какой-то чудной, — конечно, за это она меня и любит, но, может быть, когда-нибудь именно из-за этого я стану ей противен. Мне нечего было прибавить, и я молчал; тогда она с улыбкой взяла меня под руку и объявила, что хочет выйти за меня замуж. Я ответил, когда ей угодно, тогда и поженемся, я не против. Потом рассказал ей о предложении патрона, и Мари сказала, что была бы очень рада повидать Париж. Я сказал, что когда-то жил там, и она спросила, какой он, Париж. Я сказал:

— Там грязно. Всюду голуби и закопченные дворы. А кожа у людей белая.

Потом мы вышли из дому и по широким улицам прошли через весь город. Нам встречались красивые женщины, и я спросил Мари, замечает ли она это. Она сказала, что да и что она меня понимает. Некоторое время мы больше не разговаривали. Но я хотел, чтобы она осталась со мной, и сказал: можно пообедать вдвоем у Селеста. Мари ответила, что и рада бы, но она сегодня занята. Мы были уже недалеко от моего дома, и я сказал — до свиданья. Она посмотрела на меня:

— Тебе не любопытно, чем я занята?

Да, было любопытно, но я не догадался сразу спросить, и она, видно, ставила мне это в укор. Наверно, лицо у меня

стало смущенное, и она засмеялась, потянулась ко мне всем телом и подставила губы.

Я пообедал у Селеста. Уже принялся за еду, и вдруг вошла какая-то чудачка и спросила, можно ли сесть за мой столик. Можно, разумеется. Она была престранная: маленькая, движения порывистые, лицо как яблочко, глаза блестят. Она сбросила жакет, села и принялась лихорадочно просматривать меню. Подозвала Селеста и тотчас торопливо, но решительно заказала обед. Дожидаюсь закуски, открыла сумку, достала листок бумаги и карандаш, заранее все подсчитала, выгащила из кошелька сколько надо, прибавила на чай и положила деньги у прибора. Тут ей подали закуску, и она мигом все уплела. Дожидаясь следующего блюда, опять открыла сумку, вынула синий карандаш и журнал, где печатают программу радиопередач на неделю. И принялась старательно отмечать птичками чуть не все передачи подряд. Программа была разбросана на десятке страниц, так что работы ей хватило на весь обед. Я уже поел, а она все еще усердно ставила птички. Потом поднялась, теми же отчетливыми движениями, как автомат, надела жакет и вышла. Я тоже вышел и от нечего делать двинулся следом. Она устремилась по самому краю тротуара, до неправдоподобия быстро и уверенно, строго по прямой, не отклоняясь и не оглядываясь. В конце концов я потерял ее из виду и повернул назад. Вот чудная, подумал я, но быстро о ней забыл.

Возле моей двери торчал Саламано. Я повел его к себе, и он пожаловался, что пес пропал — на живодерне его не оказалось. Тамошние служащие сказали: возможно, он попал под колеса. Саламано спросил, нельзя ли это узнать точно через полицию. Ему ответили, что таких случаев каждый день хоть пруд пруди и никто их не учитывает. Я сказал — можно завести новую собаку, но старик справедливо заметил, что к своему псу он привык.

Я сидел с ногами на кровати, а Саламано напротив меня, у стола. Руки он уронил на колени. Старой фетровой шляпы не снял. Он вяло жевал обрывки фраз, пожелтевшие усы шевелились. Он мне немного надоел, но делать все равно было нечего и спать не хотелось. Говорить тоже было не о чем, и я стал спрашивать про пса. Старик

рассказал, что завел собаку после смерти жены. Женился он поздно. В молодости хотел стать актером, еще в полку играл в солдатских самодельных пьесках. А кончилось тем, что пошел служить на железную дорогу, и не жалеет об этом — ведь ему платят небольшую пенсию. С женой он счастлив не был, но, в общем-то, сильно к ней привык. Когда она умерла, ему стало очень одиноко. Тогда он выпросил у одного товарища по мастерской собаку. Это был совсем крохотный шенок, пришлось его выкармливать из рожка. Но собачий век короче человеческого, и они состарились вместе.

— У него был скверный характер, — сказал Саламано. — Бывали у нас и нелады. А все-таки он был хороший пес.

Я сказал — да, пес породистый, и старику, видно, это польстило.

— Вы его не знали в ту пору, когда он еще не захворал, — прибавил он. — Шерсть у него была уж так хороша, любо поглядеть.

С тех пор как на пса напала хворь, Саламано каждое утро и каждый вечер натирал его мазью. Но, в сущности, пес был не болен, а просто-напросто стар, так ведь от старости не вылечишь.

Тут я зевнул, и Саламано сказал, что ему пора. Я сказал — пускай еще посидит, досадно, что с его псом приключилась беда; старик поблагодарил. Он сказал, что его пса очень любила моя мама. «Ваша бедная матушка», — сказал он. И затем изрек: уж наверно, смерть мамы для меня страшное несчастье, но я ничего не ответил. Тогда он как будто смутился и скороговоркой прибавил: мол, в нашем квартале меня осуждают за то, что я отдал маму в богадельню, но он-то меня знает и не сомневается, что я маму очень любил. Я ответил, сам не понимаю зачем, мол, первый раз слышу, что меня за это осуждают, мне казалось совершенно естественным устроить маму в дом призрения, ведь у меня не хватало денег на сиделку.

— И потом, — прибавил я, — ей уже давно не о чем было со мной говорить, а одна она скучала.

— Да, — согласился Саламано, — в богадельне можно по крайней мере завести друзей.

Потом он стал прощаться. Пора спать. Жизнь его переменялась, и он еще не понимает, как быть дальше.

Впервые за все годы, что я его знал, он робко протянул мне руку, и я почувствовал, какая она у него шершавая. Уходя, он слабо улыбнулся и сказал:

— Хоть бы собаки ночью не лаяли. Мне все мерещится, что это лает мой пес.

VI

В воскресенье я насилу проснулся. Мари пришлось звать меня и трясти. Завтракать мы не стали, потому что хотели искупаться пораньше. У меня сосало под ложечкой и немного болела голова. Сигарета показалась горькой. Мари посмеивалась и уверяла, что у меня похоронная физиономия. Она надела белое полотняное платье, распустила волосы. Я сказал, что она красивая, и она засмеялась от удовольствия.

Выходя, мы постучали в дверь к Раймону. Он крикнул, что сейчас идет. Оттого, что я не выспался, да еще в комнате мы не поднимали шторы, яркий солнечный свет ошеломил меня, как пощечина. Мари прыгала от радости и все повторяла, какой чудесный день. Я немного оправился и вдруг сообразил, что голоден. Сказал об этом Мари, а она показала мне свою клеенчатую сумку — там лежали только наши купальные костюмы и полотенце. Оставалось одно — ждать; наконец мы услышали, что Раймон запирает свою комнату. Он вышел в синих штанах, в белой рубашке с короткими рукавами. А на голове у него была соломенная шляпа-канотье, и Мари даже засмеялась; руки у него до локтя оказались очень белые, густо заросшие черными волосами. Мне стало немного противно. Спускаясь по лестнице, Раймон насвистывал, вид у него был очень довольный. Он сказал мне:

— Привет, старина!

А Мари назвал «мадемуазель».

Накануне мы с ним ходили в полицию, и я засвидетельствовал, что та особа «обманула» Раймона. Ему сделали предупреждение и отпустили. Мои слова никто не проверял. Сейчас, выйдя на улицу, мы с Раймоном еще об этом поговорили, потом решили сесть в автобус. До пляжа не очень далеко, но так будет быстрее. Раймон сказал — его приятель будет доволен, если мы явимся пораньше. Мы уже хотели идти на остановку, как вдруг

Раймон сделал мне знак, чтобы я поглядел через дорогу. Там, прислонясь к витрине табачной лавки, стояли несколько арабов. Они молча смотрели на нас, но так равнодушно, будто мы были камни или высохшие деревья. Раймон мне сказал, что второй слева и есть тот самый, и лицо у него стало озабоченное. Впрочем, прибавил он, это уже дело прошлое. Мари не поняла и спросила, о чем речь. Я объяснил, что эти арабы злы на Раймона. Она сказала — так пойдем скорей отсюда. Раймон гордо выпрямился, но тут же засмеялся и сказал, что нам и правда надо спешить.

Мы двинулись к остановке автобуса — это недалеко, и Раймон объявил мне, что арабы за нами не пошли. Я обернулся. Они даже не пошевелились и все так же равнодушно смотрели на то место, где мы только что стояли. Мы сели в автобус. У Раймона, видно, стало легче на душе, и он все время подшучивал над Мари. Я понял, что она ему нравится, но на шуточки она почти не отвечала. Только изредка поглядывала на него и смеялась.

Выехали за город. От остановки автобуса до пляжа совсем близко. Надо только пересечь ровное, открытое место на высоком берегу, а дальше отлогий спуск ведет к пляжу. Под ногами валялись желтоватые камни и ярко белели на фоне неба, уже налившегося густой синевой, асфодели. Мари забавлялась — размахивала клеенчатой сумкой, сбивая лепестки асфоделей. Мы шли между рядами загородных дач, обнесенных белыми и зелеными заборами, одни домики вместе с верандами прятались в кустах тамариска, другие стояли совсем голые среди камней. Еще не дойдя до края плоскогорья, мы увидели неподвижное море. Поодаль прозрачную воду разрезал тяжелый сонный мыс. В ясном воздухе слышался слабый стук мотора. Далеко-далеко мы увидели рыбацье суденышко, оно неприметно скользило по сверкающему морю. Мари нашла между камнями несколько ирисов. С пологого склона видно было, что на берегу уже кое-где есть купальщики.

Приятель Раймона жил в деревянном домишке на самом краю пляжа. Домишко прислонился к скале, спереди его подпирали сваи, вокруг плескалась вода. Раймон нас познакомил. Приятеля звали Мэсон. Он был рослый, плотный, плечистый, а жена его — маленькая, круглень-

кая, приветливая, по выговору — парижанка. Он сразу сказал, чтоб мы располагались как дома, сейчас он нас угостит жареной рыбой, он сам наловил ее нынче утром. Я сказал — домик у него очень красивый. Он ответил, что проводит здесь каждую субботу и воскресенье и весь отпуск.

— Вместе с женой, понятно, — прибавил он.

Его жена и Мари говорили о чем-то и смеялись. Кажется, впервые я всерьез подумал: пожалуй, и правда надо жениться.

Масон хотел купаться, но его жене и Раймону идти не хотелось. Мы пошли втроем, и Мари сразу бросилась в воду. Мы с Масоном немного посидели на песке. Речь у него была медлительная, и за ним водилась привычка поминутно приговаривать «более того», даже когда он уже ничего не прибавлял к сказанному. Про Мари он сказал:

— Она изумительна, более того — прелестна.

Потом я уже не обращал внимания на эту нелепую присказку, а лежал и наслаждался — было очень приятно греться на солнце. Песок под ногами стал горячий. Я еще помедлил, хотя меня уже тянуло в воду, и наконец сказал Масону:

— Пошли?

И бросился в воду. А он вошел осторожно и поплыл, только когда ноги перестали доставать дно. Плыл он брассом, довольно плохо, так что я его оставил и пустился догонять Мари. Вода была холодная, а плыть приятно. Мы с Мари заплыли далеко, славно было плыть так дружно, в лад, и чувствовать, что нам обоим хорошо.

Отплыв подальше, мы перевернулись на спину, я смотрел в небо, и под солнцем вмиг высохли на лице и на губах соленые брызги. Нам было видно, как Масон вышел из воды и растянулся на припеке. Издали он казался великаном. Мари захотелось поплавать вместе со мной. Я пристроился позади, взял ее за талию, и она поплыла, работая руками, а я помогал, отталкиваясь ногами. В тишине утра негромко плескала вокруг вода. А потом я устал, оторвался от Мари и поплыл к берегу, равномерно взмахивая руками и глубоко дыша. Вылез из воды и растянулся на животе рядом с Масоном, лицом в песок. Хорошо, сказал я ему, и он согласился. Немного погодя приплыла Мари. Я повернулся и смотрел, как

она выходит на берег. От соленой воды она была вся точно лакированная, волосы откинута назад. Она вытянулась на песке рядом со мной, от ее жаркого тела и от жаркого солнца я задремал.

Мари потрясла меня за плечо и сказала, что Мэсон пошел к себе и уже пора завтракать. Я сейчас же поднялся, потому что хотелось есть, но Мари сказала — я с утра еще ни разу ее не поцеловал. И правда, ни разу, а поцеловать хотелось.

— Пойдем окунемся, — сказала она.

Мы вбежали в воду и закачались на прибрежных волнах. Поплыли немного, и Мари прильнула ко мне. Обхватила мои ноги своими, и я ее захотел.

Когда мы подходили к дому, Мэсон с порога уже звал нас. Я сказал — до чего хочется есть, и он сейчас же заявил своей жене, что я ему нравлюсь. Хлеб был вкусный, я вмиг уплетел свою порцию рыбы. Потом было мясо с жареной картошкой. Ели молча. Мэсон прихлебывал вино и то и дело подливал мне. К тому времени, как подали кофе, голова у меня стала тяжелая, и я начал курить одну сигарету за другой. Мы с Мэсоном и Раймоном надумали в августе пожить все вместе в складчину здесь, на пляже. И вдруг Мари сказала:

— А знаете, который час? Только половина двенадцатого.

Мы все удивились, но Мэсон сказал — ну и пускай, поели рано, ничего страшного тут нет: когда проголодаешься, тогда самое время поесть. Не знаю почему, но Мари это очень насмешило. Наверно, она выпила лишнее. Мэсон спросил — может, я хочу прогуляться с ним по пляжу?

— Жена после еды всегда отдыхает. А я этого не люблю. Мне надо пройтись. Я ей всегда говорю, это куда полезнее для здоровья. Но в конце концов ее воля, пускай делает как знает.

Мари объявила, что останется и поможет госпоже Мэсон перемыть посуду. Маленькая парижанка сказала — для этого надо выставить мужчин за дверь. И мы трое вышли.

Солнечные лучи падали на песок почти отвесно, и море под ними блестело нестерпимо. На пляже не было ни души. Из домишек, которые лепились на краю высо-

кого берега, нависая над морем, слышался звон посуды, стук ножей и вилок. От раскаленных камней под ногами несло жаром так, что дух захватывало. Раймон с Масоном заговорили о делах и людях, мне незнакомых. Я понял, что они знают друг друга очень давно и даже когда-то жили под одной крышей. Мы шли по кромке песка, вдоль самой воды. Иногда волна побойчее с разбегу обдавала наши парусиновые туфли. Я ни о чем не думал, солнце жгло непокрытую голову, и от этого меня клонило ко сну.

Вдруг Раймон сказал Масону что-то, чего я не расслышал. Но в ту же минуту я увидел далеко впереди, в самом конце пляжа, двух арабов в синем — они шли нам навстречу. Я поглядел на Раймона, и Раймон сказал:

— Это он самый.

Мы шли не останавливаясь. Масон спросил, как же они догадались приехать сюда. Я подумал: должно быть, видели, что мы с пляжной сумкой садились в автобус, но промолчал.

Арабы не спеша подходили все ближе. Мы не замедляли шаги, но Раймон сказал:

— Если начнется потасовка, ты, Масон, займись вторым. О своем субчике я сам позабочусь. А если явится третий, это уж для тебя, Мерсо.

— Ладно, — сказал я.

Масон заложил руки в карманы. Раскаленный песок мне теперь казался багровым. Размеренно, не торопясь мы шли навстречу арабам. Расстояние сокращалось. Когда нас разделяло уже всего несколько шагов, арабы остановились. Мы с Масоном замедлили шаг. Раймон пошел напрямик к своему врагу. Я не расслышал, что он ему сказал, но тот пригнулся, будто хотел на него броситься. Тогда Раймон нанес первый удар и тотчас позвал Масона. Масон подошел ко второму арабу и дважды ударил его изо всей силы. Тот плашмя свалился в воду, лицом вниз, и несколько секунд лежал так, а вокруг его головы на воде лопались пузыри. Тем временем Раймон опять ударил противника и разбил ему лицо в кровь. Обернулся ко мне и сказал:

— Сейчас я его изукрашу!

Я крикнул:

— Берегись! Нож!

Но араб уже полоснул его по руке повыше локтя и по губам.

Масон прыгнул вперед. Но второй араб поднялся и стал позади того, с ножом. Мы не смели шевельнуться. Они медленно отступали, не сводя с нас глаз и грозя ножом. А отойдя подальше, пустились бежать, мы же остались под солнцем, будто в землю вросли; Раймон зажимал рану на руке, из нее сочилась кровь.

Масон вспомнил, что тут есть врач. Он по воскресеньям всегда приезжает на дачу. Раймон хотел сейчас же пойти к нему. Но при каждом слове у него на разрезанных губах пузырилась кровь. Мы взяли его под руки и поскорей отвели в домик Масона. Там Раймон заявил, что у него не раны, а царапины, он может и сам пойти к врачу. Они с Масоном ушли, а я стал объяснять женщинам, что случилось. Госпожа Масон плакала, Мари сильно побледнела. Под конец мне надоело с ними толковать. Я замолчал и стал курить, глядя на море.

К половине второго Раймон с Масоном вернулись. Рука у Раймона была на перевязи, угол рта залеплен пластырем. Врач сказал, что это все пустяки, но Раймон был мрачнее тучи. Масон пытался его рассмешить. Но он отмалчивался. Потом заявил, что опять пойдет на пляж, и я спросил — куда. Он ответил — просто подышать воздухом. Мы с Масоном сказали, что тоже пойдём. Он вдруг разозлился и обругал нас. Масон сказал — не надо ему перечить. Но я все-таки пошел за Раймоном.

Мы долго шли по пляжу. Солнце жгло невыносимо. Оно дробилось на песке и на воде в колкие осколки. Мне казалось, Раймон знает, куда идет, но, наверно, я ошибался. В самом конце пляжа мы набрали на родничок, он выбежал из-за большой скалы и струился по песку к морю. Здесь мы увидели тех двух арабов. Они лежали на песке в своих засаленных синих одеждах. С виду они были смирные, даже кроткие. И к нашему появлению отнеслись очень спокойно. Тот, который ударил Раймона ножом, теперь молча смотрел на него. Второй насвистывал на тростниковой дудке, он искоса на нас поглядывал и повторял опять и опять одни и те же три ноты.

Было только солнце и тишина, вполголоса журчал ручей, да выводила одно и то же тростниковая дудка.

Потом Раймон сунул руку в карман за револьвером, но его противник не пошевелился, они в упор смотрели друг на друга. Я заметил, что у того, который играл на дудке, большие пальцы на ногах далеко отставлены от остальных. Но тут Раймон, все не сводя глаз с врага, спросил меня:

— Прикончить его?

Я подумал — если сказать «нет», он взвоется и наверняка выстрелит. И я проговорил только:

— Он еще ни слова не сказал. Было бы свинством стрелять ни с того ни с сего.

Опять стоим в жаре, в тишине, слушаем журчанье родника и дудки. Потом Раймон говорит:

— Тогда я его обрутаю, а как ответит — прикончу.

— Ну что ж, — отвечаю. — Только если он не выгащит нож — стрелять не годится.

Раймон понемногу взвинчивался. Второй араб все играл, и оба они следили за каждым движением Раймона.

— Вот что, — сказал я. — Сойдись с ним один на один, а револьвер отдай мне. Если второй вмешается или если этот выгащит нож, я его пристрелю.

Раймон отдал мне револьвер, металл блеснул на солнце. Но мы по-прежнему не шевелились, будто весь мир оцепенел и сковал нас. Мы только глядели в упор на арабов, арабы — на нас, а море, солнце и песок, еле слышная дудка и родник будто замерли. И я подумал — можно стрелять, а можно и не стрелять, какая разница. Но вдруг арабы попятились и скользнули за скалу. Тогда мы с Раймоном повернули назад. Его как будто отпустило, и он сказал — пора к автобусу и домой.

Я проводил его до лачуги Масона, и он стал взбираться по деревянной лестнице, а я остановился внизу: в голове гудело от жары и не хватало пороху одолеть два десятка ступеней да еще разговаривать с женщинами. Но солнце пекло немилосердно, с неба хлестал дождь слепящего света, и оставаться под ним было тоже невозможно. Остаться тут или идти — в конце концов было все едино. Я постоял минуту, повернулся и зашагал обратно на пляж.

Все так же слепил багровый песок. Море, тяжело дыша и захлебываясь, выплескивало на него мелкие волнишки. Я медленно шел к скалам и чувствовал, как от солнца пухнет голова. Жара давила, стеной вставала поперек

дороги, обдавала лицо палящим дыханием. И я опять и опять стискивал зубы, сжимал кулаки в карманах штанов, весь напрягался, силясь побороть солнце и мутное опьянение, которое обволакивало меня и валило с ног. Всякая песчинка, побелевшая от солнца раковина, осколок стекла метали в меня копыя света, и я судорожно стискивал зубы. Я шел долго.

Вдалеке завиднелась темная глыба скалы в ослепительном ореоле света и летящей морской пены. Я вспомнил, что за скалой течет прохладный родник. Захотелось опять услышать его журчанье, укрыться от солнца, не напрягать мышц, не видеть женских слез, захотелось, наконец, тени и покоя. Но когда я подошел ближе, оказалось — тот араб, враг Раймона, вернулся.

Он был один. Он лежал на спине, заложив руки под голову, лицо было в тени скалы, а все тело на солнце. В жарких лучах от синего балахона шел пар. Я немного удивился. Я-то думал, с этим делом покончено, и совсем про него позабыл, когда шел сюда.

Завидев меня, араб приподнялся и сунул руку в карман. Понятно, я нащупал в кармане куртки револьвер Раймона. Тогда араб опять откинулся на спину, но руку из кармана не вынул. Я был от него довольно далеко, метров за десять. Порой между полусомкнутыми веками я угадывал его взгляд. Но чаще его черты расплывались передо мной в дрожащем знойном воздухе. Волны плескали еще реже, еще ленивее, чем в полдень. Все то же солнце, тот же сверкающий, слепящий песок, и нет им конца. Вот уже два часа, как день оцепенел, два часа, как он бросил якорь в океане расплавленного металла и не двигается с места. На горизонте шел пароход, я едва заметил краем глаза темную точку, потому что неотрывно смотрел на араба.

Я подумал: стоит только повернуться и пойти прочь — и все кончится. Но весь раскаленный знойный берег словно подталкивал меня вперед. Я ступил к роднику — шаг, другой. Араб не шелохнулся. Все-таки до него было еще довольно далеко. Может быть, оттого, что на лицо его падала тень, казалось — он усмехается. Я помедлил. Солнце жгло мне щеки, на брови каплями стекал пот. Вот так же солнце жгло, когда я хоронил маму, и, как в тот день, мучительней всего ломило лоб и стучало в висках.

Я не мог больше выдержать и подался вперед. Я знал: это глупо, я не избавлюсь от солнца, если сдвинусь на один только шаг. И все-таки я сделал его — один-единственный шаг вперед. Тогда, не поднимаясь, араб выгашил нож и показал мне, выставив на солнце. Оно высекло из стали острый луч, будто длинный искрящийся клинок впился мне в лоб. В тот же миг пот, скопившийся у меня в бровях, потек по векам и затянул их влажным полотнищем. Я ничего не различал за плотной пеленой соли и слез. И ничего больше не чувствовал, только в лоб, как в бубен, било солнце да огненный меч, возникший из стального лезвия, маячил передо мной. Этот жгучий клинок рассекал мне ресницы, вонзался в измученные, воспаленные глаза. И тогда все закачалось. Море испустило жаркий, тяжелый вздох. Мне почудилось — небо разверзлось во всю ширь, и хлынул огненный дождь. Все во мне напряглось, пальцы стиснули револьвер. Рукоятка была гладкая, отполированная, спусковой крючок поддался: — и тут-то, сухим, но оглушительным треском, все и началось. Я стряхнул с себя пот и солнце. Я понял, что разрушил равновесие дня, необычайную тишину песчаного берега, где мне совсем недавно было так хорошо. Тогда я еще четыре раза выстрелил в распростертое тело, пули уходили в него, не оставляя следа. И эти четыре отрывистых удара прозвучали так, словно я стучался в дверь беды.

Часть вторая

I

Сразу же после ареста меня несколько раз допрашивали. Но допросы были недолгие — просто выясняли, кто я такой. В первый раз, в полицейском участке, моим делом, кажется, ровно никто не заинтересовался. Неделю спустя, напротив, судебный следователь смотрел на меня с любопытством. Но для начала он только спросил мое имя и адрес, род занятий, время и место рождения. Потом пожелал узнать, выбрал ли я себе адвоката. Я сказал — нет, а разве это так уж необходимо?

— То есть как? — удивился он.

Я сказал — по-моему, дело мое очень простое.

Он улыбнулся и сказал:

— Можно считать и так. Однако существует закон. Если вы не выберете себе защитника сами, мы вам кого-нибудь назначим.

Я подумал: очень удобно, что правосудие само заботится обо всех мелочах. Так я и сказал следователю. Он согласился и заметил, что законы составлены весьма разумно.

Сначала я не принял его всерьез. Он ждал меня в кабинете с завешенными окнами, горела одна только лампа на письменном столе и освещала кресло, в которое он меня усадил, а сам остался в тени. Я уже читал про такие приемы в книгах, и все это показалось мне игрой. Но когда мы поговорили, я посмотрел на него внимательно — он был высокий, тонкие черты лица, глубоко посаженные голубые глаза, длинные седеющие усы и грива почти совсем белых волос. Он показался мне человеком очень разумным и в общем приятным, хотя рот у него как-то нервно подергивался. Уходя, я чуть было не протянул ему руку, да вовремя вспомнил, что ведь я убил человека.

На другой день ко мне в тюрьму пришел адвокат. Он был маленький, кругленький, еще молодой, волосы тщательно прилизаны. Несмотря на жару (я сидел без куртки), на нем был темный костюм, крахмальный воротничок и какой-то необыкновенный галстук в широкую белую и черную полоску. Он водрузил на мою койку портфель, представился и объявил, что внимательно изучил дело. Случай щекотливый, но он не сомневается в успехе, если только я вполне ему доверюсь. Я поблагодарил, и он сказал:

— Перейдем прямо к сути.

Он сел на койку и сообщил, что уже наведены справки о моей личной жизни. Стало ясно, что моя мать недавно умерла в доме призрения. Тогда послали запрос в Маренго. Там следователь сообщил, что в день похорон мамы я «проявил бесчувственность».

— Понимаете, — сказал мой защитник, — мне неловко вас об этом расспрашивать. Но это крайне важно. И обвинение с успехом использует этот довод, если я ничего не сумею возразить.

Он хотел, чтобы я ему помог. Он спросил, горевал ли я в тот день. Я очень удивился, мне кажется, сам я постеснялся бы задать кому-нибудь такой вопрос. Все же я ответил, что несколько отвык разбираться в своих чувствах и затрудняюсь ему что-либо объяснить. Конечно, я любил маму, но какое это имеет значение. Всякий разумный человек так или иначе когда-нибудь желал смерти тем, кого любит. Тут адвокат меня перебил и, кажется, очень разволновался. Он взял с меня слово не говорить так ни на суде, ни у следователя. Все же я ему объяснил, что такой уж я от природы — когда мне физически не по себе, все мои чувства и мысли путаются. В тот день, когда хоронили маму, я очень устал и не выспался. И поэтому плохо соображал, что происходит. Одно могу сказать наверняка: я бы предпочел, чтобы мама была жива. Но защитник, видно, остался недоволен. Он сказал:

— Этого недостаточно.

Он задумался. Потом спросил, может ли он сказать на суде, что в тот день я взял себя в руки и сдержал естественную скорбь. Я сказал:

— Нет, ведь это неправда.

Он странно на меня посмотрел, как будто я был ему немного противен. И сказал почти злобно, что, во всяком случае, директор и служащие дома призрения будут вызва-

ны в качестве свидетелей, «и тогда дело может принять для вас прескверный оборот». Я сказал — это здесь ни при чем, ведь меня судят совсем за другое, но он ответил только — сразу видно, что я никогда не сталкивался с правосудием.

Ушел он сердитый. Мне хотелось его удержать, объяснить, что я был бы рад, если бы он отнесся ко мне по-хорошему — и не потому, что тогда бы он больше старался, защищая меня, а просто так. Главное, я видел: из-за меня ему беспокойно. Он меня не понимал и поэтому немного злился. Мне хотелось растолковать ему, что я такой же, как все люди, в точности такой же. Но все это, в сущности, бесполезно, мне стало лень, и я махнул рукой.

Попозже меня опять отвели к следователю. Было два часа дня, и на этот раз кабинет был залит светом, легкая занавеска его почти не смягчала. Было очень жарко. Следователь предложил мне сесть и весьма любезно сообщил, что мой адвокат не смог прийти — «помешали обстоятельства». Но я имею право не отвечать на вопросы и ждать адвоката. Я сказал, что и один могу отвечать. Он нажал кнопку звонка на столе. Вошел молодой секретарь и сел очень близко позади меня.

Мы со следователем поудобнее устроились в креслах. Начался допрос. Сперва он сказал, что, по общему мнению, я человек молчаливый и замкнутый — а сам я как полагаю? Я ответил:

— Просто мне нечего сказать. Вот я и молчу.

Он, кажется, впервые улыбнулся, согласился, что более веской причины не найдешь, и прибавил:

— Впрочем, это неважно. — Замолчал, посмотрел на меня, вдруг выпрямился и сказал быстро: — Меня интересуют вы сами.

Я не очень понял, о чем это он, и не ответил.

— Есть в вашем поступке что-то для меня неясное, — продолжал он. — Я уверен, вы поможете мне в этом разобраться.

Я сказал — все очень просто. Он попросил, чтобы я еще раз подробно описал ему тот день. Я перебрал заново все то, о чем уже рассказывал ему: Раймон, пляж, купанье, стычка с арабами, опять пляж, родник, солнце и пять выстрелов из револьвера. Он снова и снова приговаривал:

— Так, так.

И когда я дошел до неподвижного тела на песке, он опять одобрил:

— Хорошо.

Мне уже надоело повторять одно и то же, кажется, никогда в жизни я так много не говорил.

Мы помолчали, потом он поднялся и сказал, что хочет мне помочь, что я его заинтересовал и с Божьей помощью он постарается что-нибудь для меня сделать. Но сначала хочет задать мне еще несколько вопросов. И без перехода спросил, любил ли я маму. Я сказал:

— Да, как все люди.

Секретарь, который до сих пор без остановки стучал на машинке, тут, наверно, сбился и ударил не по той клавише: он вдруг замешкался, и ему пришлось вернуться назад. Так же некстати, без видимой связи следователь спросил, стрелял ли я пять раз подряд, без перерыва. Я подумал и вспомнил, что сперва выстрелил один раз, а чуть погодя еще четыре.

— Почему вы ждали после первого выстрела? — спросил он.

Я снова увидел багровый пляж и почувствовал, как солнце жжет лоб. Но на этот раз ничего не ответил. Наступило долгое молчание, следователь как будто заволновался. Он опять сел, взъерошил волосы, облокотился на стол и с каким-то странным видом наклонился ко мне.

— Почему, почему вы стреляли в убитого?

Я опять не знал, что ответить. Следователь провел ладонями по лбу и повторил изменившимся голосом:

— Почему? Скажите мне, это необходимо: почему?

Я все молчал.

Он резко поднялся, большими шагами прошел через весь кабинет к картотеке и открыл ящик. Вытащил оттуда серебряное распятие и, размахивая им, вернулся ко мне. И совсем другим тоном, чуть ли не с дрожью в голосе, воскликнул:

— Да знаете ли вы его?

Я сказал:

— Да, конечно.

Тогда он быстро, с жаром заговорил: он верит в Бога, он убежден, что нет на свете человека столь виновного, чтобы Господь Бог его не простил, но для этого виновный должен раскаяться и стать душою как дитя — открыт и доверчив. Следователь перегнулся над столом. Он махал распятием чуть не над самой моей головой. Сказать по правде, я плохо улавливал нить его мыслей, потому что было очень жарко, да еще по кабинету летали огромные мухи и садились мне на лицо, а кроме того, он меня

немного пугал. И, однако, я понимал, что бояться смешно, ведь, в конце концов, преступник-то я. А он все говорил и говорил. Насколько я понял, в моем признании ему неясно одно — то обстоятельство, что после первого выстрела я вьдкдал и дальше стрелял не сразу. Все остальное его не смущает, а вот этого он понять не может.

Я хотел сказать, что напрасно он упорствует: сразу ли стрелял, не сразу ли — невелика важность. Но он меня перебил и, выпрямившись во весь рост, в последний раз потребовал ответа: верю ли я в Бога. Я сказал — не верю. Он рассердился и сел. И сказал, что этого не может быть, все люди верят в Бога, даже те, кто от него отворачивается. Таково его глубочайшее убеждение, и, если он вынужден будет в этом усомниться, вся его жизнь потеряет смысл.

— Неужели вы хотите, чтобы жизнь моя потеряла смысл? — воскликнул он.

Я рассудил, что меня это не касается, и так ему и сказал. Но он через стол сунул распятие мне чуть не под нос и закричал как одержимый:

— Я христианин! Я молю его отпустить тебе твои грехи! Как ты можешь не верить, что он страдал за тебя?

Конечно, я заметил, что он уже говорит мне, как близкому, «ты», но с меня было довольно. Жара становилась нестерпимой. Как всегда, когда я хочу избавиться от кого-нибудь, кого слушаю через силу, я сделал вид, что со всем согласен. К моему удивлению, следователь возликовал.

— Вот видишь, видишь! — с торжеством заявил он. — Ведь правда, ты веруешь в него и доверишься ему?

Разумеется, я еще раз сказал — нет. Он тяжело опустился в кресло. Лицо у него сделалось очень усталое. Он немного помолчал, а пишущая машинка, которая не переставала трещать во все время нашего разговора, еще постукивала последние слова. Потом следователь посмотрел на меня внимательно и даже печально. И пробормотал:

— Никогда еще я не видел души столь очерствелой, как ваша. Все преступники, сколько их ни проходило через мои руки, плакали перед этим скорбным ликом.

Я хотел ответить — потому и плакали, что они преступники. Но тотчас подумал, что ведь и я такой же. Я никак не мог свыкнуться с этой мыслью. Тут следователь встал, словно в знак того, что допрос окончен. Он только спросил еще, с тем же усталым видом, сожалею ли я о своем

поступке. Я подумал и сказал — не то чтобы жалею, но мне неприятно. Кажется, он не понял. Но в тот день на этом все и кончилось.

Потом я еще часто бывал у этого следователя. Но каждый раз со мною приходил мой защитник. И от меня требовалось только уточнять разные подробности прежних показаний. Или же следователь обсуждал с адвокатом пункты обвинения. Но в эти минуты сам я несколько их обоих не занимал. Во всяком случае, тон допросов понемногу изменился. По-видимому, для следователя мое дело прояснилось, и он потерял ко мне интерес. Он больше не заговаривал со мной о Боге, и я уже никогда не видал его в таком волнении, как при первой встрече. И поэтому наши разговоры стали более непринужденными. Несколько вопросов, короткая беседа с адвокатом — вот и все. Дело мое, как выражался следователь, двигалось своим чередом. Иногда, если разговор заходил на какую-нибудь общую тему, меня тоже в него втягивали. И я начинал дышать свободнее. В эти часы никто на меня не злился. Все разыгрывалось как по нотам, естественно, размеренно, спокойно, и у меня возникало забавное ощущение, как будто я здесь — член семьи. Следствие длилось одиннадцать месяцев, и под конец мне почти не верилось, что у меня когда-то бывали другие удовольствия, кроме этих редких минут, когда следователь провожал меня до дверей кабинета, похлопывал по плечу и говорил дружески:

— Ну, на сегодня хватит, господин Антихрист!

А затем меня передавали с рук на руки жандармам.

II

Об иных вещах я всегда не любил говорить. И в тюрьме я в первые же дни понял, об этой полосе моей жизни говорить будет неприятно.

Потом я стал думать, что и это чувство ровно ничего не значит. В сущности, на первых порах я еще не был настоящим арестантом, я смутно ждал: вот-вот что-то изменится. Все началось только после первого и единственного посещения Мари. С того дня, как я получил от нее письмо (она писала, что ей больше не разрешают меня навещать, потому что мы не женаты), с того самого дня я почувствовал: теперь камера и есть мой дом и на этом

жизнь моя остановилась. Сначала после ареста меня заперли в помещении, где уже сидели несколько заключенных, почти все — арабы. Увидев меня, они стали смеяться. Потом спросили, что я сделал. Я сказал, что убил араба, и они замолчали. Но очень скоро стемнело, и они объяснили мне, как разложить циновку, на которой предстояло спать. Один конец надо скатать валиком вместо подушки. Всю ночь у меня по лицу бегали клопы. Через несколько дней меня перевели в одиночку, там я спал на деревянных нарах. У меня была параша и жестяной таз для умывания. Тюрьма стояла высоко над городом, и в узкое оконце видно было море. Однажды, когда я, ухватясь за прутья решетки, тянулся к свету, вошел надзиратель и сказал, что ко мне пришли. Я подумал — наверно, Мари. И правда, это была она.

В комнату свиданий меня вели длинным коридором, потом по лестнице и наконец еще одним коридором. Я вошел в просторный зал с огромными окнами по одной стене. Две решетчатые перегородки рассекали зал во всю длину на три части. Пустое пространство между решетками, метров восемь или десять, отделяло посетителей от арестантов. Напротив меня стояла Мари, я увидел платье в полоску и загорелое лицо. По ту же сторону, что и я, было еще с десятков заключенных, почти все — арабы. Посетительницы, кроме Мари, тоже были больше мавританки; справа от нее, плотно сжав губы, стояла маленькая старушка в черном, слева — простоволосая толстуха, эта кричала во все горло и размахивала руками. Да и всем заключенным и посетителям приходилось кричать, расстояние между решетками было слишком велико. Гул голосов и резкий свет, лившийся в окна, еще усиливались, отражаясь от голых стен, и, когда я вошел, у меня даже голова закружилась. В камере моей было куда тише и темнее. Не вдруг я освоился. Но потом в ярком свете начал ясно различать лица. В конце прохода между решетками сидел надзиратель. Многие арестанты-арабы и их родичи присели друг против друга на корточки. Эти не кричали. Несмотря на шум и гам вокруг, они говорили совсем тихо и умудрялись понимать друг друга. Они глухо бормотали внизу, будто гудела басовая струна, сопровождая вопросы и ответы, перелетавшие у них над головой. Все это я заметил очень быстро и направился к Мари. Она уже прильнула к решетке и изо всех сил улыбалась мне. Она

показалась мне очень красивой, но я не умел ей это сказать.

— Ну как? — очень громко спросила она.

— Да так.

— Ты здоров, у тебя есть все, что нужно?

— Да, есть.

Мы замолчали, Мари все улыбалась. Толстуха что-то орала моему соседу, рослому детине со светлыми волосами и простодушным взглядом, — наверно, мужу. Разговор этот, видно, начался еще до моего прихода.

— Жанна не хотела его брать! — во всю мочь вопила толстуха.

— Да, да, — повторял муж.

— Я ей сказала, что ты, как выйдешь, опять его забереешь, а она все равно не захотела его взять!

Тут Мари крикнула, что Раймон передает мне привет, и я сказал:

— Спасибо.

Но меня заглушил сосед, крикнув жене:

— А он как, здоров?

Она засмеялась и ответила:

— Лучше всех!

Мой сосед слева — молодой, щуплый, с тонкими руками — все время молчал. Я заметил, что он стоит напротив маленькой старушки и они неотрывно смотрят друг на друга. Но больше я не успел за ними понаблюдать, потому что Мари закричала: надо надеяться на лучшее!

Я сказал:

— Да.

Я смотрел на нее, и мне хотелось сжать ее плечо, прикрытое легким платьем. Мне хотелось этой чудесной плоти, и, право, не знаю, на что еще, кроме этого, стоило надеяться. Но, конечно, то же самое думала и Мари, потому что она все время улыбалась. Теперь я только и видел блеск ее зубов да смеющиеся морщинки у глаз. Она опять закричала:

— Вот выйдешь — и поженимся!

— Ты думаешь? — ответил я, надо ж было что-то сказать.

Она ответила очень быстро и очень громко — да-да, меня оправдают, и мы еще поплаваем. Но толстуха рядом с нею кричала еще громче: она, мол, передала корзинку в тюремную канцелярию — и перечисляла все, что в корзинку положено. И пускай он проверит — ведь все это

стоит денег! Второй мой сосед и его мать по-прежнему не сводили глаз друг с друга. Внизу все так же вполголоса переговаривались арабы. На улице яркий свет словно набухал и давил на окна. Он стекал по лицам, точно сок из лопнувшего плода.

Мне нездоровилось, и я рад был бы уйти. От шума ломило виски. И все-таки хотелось, пока можно, видеть Мари. Не знаю, сколько еще времени прошло. Мари стала рассказывать о своей работе, а улыбка все не сходила с ее лица. Бормотанье, крики, разговоры были как перекрестный огонь. Уцелел только один островок тишины — шуплый молодой человек рядом со мной и его старуха мать молча глядели друг на друга. Понемногу арабов начали уводить. Как только первый вышел, почти все в зале умолкло. Старушка напротив придвинулась поближе к решетке, и в эту самую минуту надзиратель сделал знак ее сыну. Тот сказал:

— До свиданья, мама.

А она просунула руку между прутьями и махнула ему долгим, медленным движением.

Она вышла, и сейчас же появился мужчина со шляпой в руке и стал на ее место. Ввели нового арестанта, и они заговорили оживленно, но негромко, потому что в зале теперь все притихли. Надзиратель пришел за другим моим соседом, и жена крикнула ему, будто не замечая, что повышать голос уже незачем:

— Ты поосторожней! Береги себя!

Потом настал мой черед. Мари послала мне воздушный поцелуй. В дверях я оглянулся. Она стояла как вкопанная, прижимаясь лицом к решетке, и улыбалась все той же застывшей, вымученной улыбкой.

Вскоре после этого она мне написала. И тогда же началось многое такое, о чем я всегда не любил говорить. Хотя не надо преувеличивать: мне это давалось легче, чем другим. Однако первое время в тюрьме хуже всего было то, что у меня еще появлялись мысли свободного человека. Например, вдруг захочется полежать на песке, спуститься к морю. Ясно представлялось — всплескивают под ногами первые волны, погружаешься в воду, становится так легко, вольно — и тут вокруг разом смыкаются стены тюрьмы. Но через несколько месяцев это прошло. И уже все мысли были арестантские. Я ждал, когда меня выведут во двор на ежедневную прогулку либо когда придет адвокат. И ос-

тальное время научился проводить неплохо. И часто думал: если бы меня заставили жить в стволе высохшего дерева и совсем ничего нельзя было бы делать, только смотреть, как цветет небо над головой, я бы понемногу и к этому привык. Ждал бы, чтоб пролетела птица или напоззли облака, все равно как здесь жду, в каком еще диковинном галстуке явится мой адвокат, а в прежней жизни запасался терпением до субботы, когда можно будет обнять Мари. Так ведь, если вдуматься, я не сижу в стволе сухого дерева. Есть люди несчастнее меня. Хотя это не моя мысль, а мамина, мама часто повторяла, что в конце концов ко всему привыкаешь.

Впрочем, обычно я не заходил так далеко в своих рассуждениях. Первые месяцы давались тяжело. Надо было как-то себя одолевать, но это-то и помогало провести время. К примеру, мучительно хотелось женщину. Это естественно, я молод. Я никогда не думал именно о Мари. Думал просто о женщине, вообще о женщинах, обо всех, кого знал, и о том, когда и как с ними сходилась, но думал так много, что вся камера наполнялась их лицами, в ней становилось тесно от моих желаний. В каком-то смысле это выводило из равновесия. Зато так я легче убивал время. Под конец мне стал сочувствовать старший надзиратель, он обычно сопровождал того малого, который приносил с кухни еду. Старший надзиратель и заговорил со мной о женщинах. Он сказал — всем арестантам этого больше всего не хватает. Я сказал — мне тоже, несправедливо так обращаться с людьми.

— Да ведь для того вас и сажают в тюрьму, — сказал он.

— Как так?

— Ну да, свобода это самое и есть. А вас лишают свободы.

Прежде мне такое в голову не приходило. А ведь правильно. Я сказал:

— Да, верно — иначе какое же это было бы наказание?

— Вот-вот, вы-то разбираетесь. А другие нет. Но в конце концов они начинают сами себя утешать.

И он ушел.

Потом — сигареты. В тюрьме у меня сразу отобрали пояс, шнурки от ботинок, галстук и все, что было в карманах, главное — сигареты. Попав в камеру, я попросил, чтобы мне все это вернули. Но мне сказали — это запрещено. Первые дни было очень тяжело. Пожалуй, то, что нельзя курить, угнетало меня больше всего. Я отдира-

от нар шепочки и сосал их. Весь день меня мутило. Я не понимал, почему у меня отнимают то, что никому не мешает и не вредит. Позже понял: это тоже часть наказания. Но к тому времени я уже отвык курить, и это больше не было для меня наказанием.

Если не считать этих неприятностей, я был не так уж несчастен. Самое главное, повторяю, убить время. Я научился вспоминать разные разности и с тех пор больше не скучал. Иногда принимался вспоминать свою комнату, представлять себе — вот я обхожу ее кругом, начинаю вон с того угла и перебираю мысленно каждую мелочь, которая встретится на пути. Сперва этого хватало ненадолго. Но с каждым разом получалось немного дольше. Потому что я вспоминал каждый стул, что где стоит, что лежит в каком ящике, каждый пустяк, все подробности — инкрустацию, щербинку, трещинку, что какого цвета и какое на ощупь. В то же время я старался не сбиться, перебрать все по порядку и ничего не забыть. И через несколько недель у меня уже уходили часы только на то, чтобы перечислить все вещи, сколько их было в моей комнате. Чем больше я вспоминал, тем больше всплывало в памяти разных приметных мелочей. Вот тогда я понял: если человек жил хотя бы один только день, он потом спокойно может сто лет просидеть в тюрьме. У него будет вдоволь воспоминаний, чтоб не скучать. Если уютно, это тоже утешает.

И еще сон. Вначале я плохо спал по ночам и совсем не спал днем. Понемногу ночью дело наладилось, и я даже научился спать днем. А в последние месяцы я спал по шестнадцать, по восемнадцать часов в сутки. Оставалось убить шесть часов, для этого у меня были завтрак, обед и ужин, естественные нужды, воспоминания да еще история про чеха.

Однажды я нашел на нарах под соломенным тюфяком прилипший к нему обрывок старой газеты — пожелтевший, почти прозрачный. Это был кусок уголовной хроники, начала не хватало, но, по-видимому, дело происходило в Чехословакии. Какой-то человек пустился из родной деревни в дальние края попытать счастья. Через двадцать пять лет, разбогатеv, с женой и ребенком он возвратился на родину. Его мать и сестра содержали маленькую деревенскую гостиницу. Он решил их удивить, оставил жену и ребенка где-то в другом месте, пришел к матери — и та его

не узнала. Шутки ради он притворился, будто ему нужна комната. Мать и сестра увидели, что у него много денег. Они молотком убили его, ограбили, а труп бросили в реку. Наутро явилась его жена и, ничего не подозревая, открыла, кто был приезжий. Мать повесилась. Сестра бросилась в колодец. Я перечитал эту историю, наверно, тысячу раз. С одной стороны, она была неправдоподобна. С другой — вполне естественна. По-моему, этот человек в какой-то мере заслужил свою участь. Никогда не надо притворяться.

Вот так я часами спал, вспоминал, перечитывал отрывки из этой истории, в камере становилось то светло, то темно — а время шло. Где-то когда-то я вычитал, что в тюрьме человек под конец теряет представление о времени. Но тогда это для меня был звук пустой. Я не понимал, что день может быть сразу и очень длинным, и очень коротким. Конечно, прожить такой день — это долго, но они так растягивались, что в конце концов сливались, один переходил в другой. Они стали безликие, безымянные. Только слова «вчера» и «завтра» еще не потеряли свой смысл.

Однажды надзиратель сказал, что я сижу в тюрьме уже пять месяцев, — и я поверил, но понять не понял. Для меня в камере нескончаемо тянулся все один и тот же день, и забота у меня была все одна и та же. Когда надзиратель ушел, я погляделся, как в зеркало, в жестяной котелок. Мне показалось, мое отражение остается хмурым, даже когда я стараюсь ему улыбаться. Я повертел котелок и так, и эдак. Опять улыбнулся, но отражение оставалось строгим и печальным. Смеркалось, и это был час, о котором мне не хочется говорить, безымянный час, когда со всех этажей тюрьмы безрадостным шествием поднимаются глухие вечерние шумы и медленно замирают. Я подошел к оконцу и в последних сумеречных отсветах еще раз всмотрелся в свое отражение. Оно по-прежнему было серьезное, и что в этом удивительного, раз я и сам теперь был серьезен? Но тут, впервые за столько месяцев, я отчетливо услышал свой голос. Так вот что за голос уже много дней отдавался у меня в ушах: только тут я понял, что все время, сидя в одиночке, разговаривал сам с собой. И вспомнил, что говорила сиделка на похоронах мамы. Да, никакого выхода нет, и никто не может себе представить, что такое вечера в тюрьме.

III

В сущности, лето очень быстро сменилось другим летом. Я заранее знал, что с приходом жары для меня настанет новая полоса. Дело мое должно было слушаться на последней сессии суда присяжных, она заканчивается в июне. Когда процесс начался, на воле все полно было солнцем. Мой защитник уверял, что разбирательство продлится дня два-три, не больше.

— Суд будет спешить, — прибавил он, — потому что ваше дело на этой сессии не самое важное. Есть еще отцеубийство, им займутся сразу после вас.

В половине восьмого утра за мной пришли и в тюремной машине отвезли в здание суда. Два жандарма ввели меня в затхлую каморку, там пахло темнотой. Мы ждали, сидя у двери, а за нею разговаривали, перекликались, двигали стульями — словом, было шумно и суматошно, как на благотворительном вечере, когда после концерта середину зала освобождают для танцев. Жандармы сказали, что заседание еще не начиналось, и один предложил мне сигарету, но я отказался. Немного погодя он спросил, не трушу ли я, и я сказал — нет. В известном смысле мне даже интересно: посмотрю, как это бывает. Никогда еще не случилось попасть в суд.

— Да, — сказал второй жандарм, — но под конец это надоедает.

Немного спустя в комнате звякнул звонок. Тогда с меня сняли наручники. Отворили дверь и подвели меня к скамье подсудимых. В зале набилось полно народу. Шторы спущены, но кое-где пробивается солнце, и дышать уже нечем. Окон не открывали. Я сел, жандармы стали по бокам. И тут я увидел вереницу лиц напротив. Все они смотрели на меня, и я понял — это присяжные. Но я их не различал, они были какие-то одинаковые. Мне казалось, я вошел в трамвай, передо мною сидят в ряд пассажиры — безликие незнакомцы — и все уставились на меня и стараются подметить, над чем бы посмеяться. Я понимал, что это все глупости: во мне ищут не смешное, а преступное. Но разница не так уж велика — во всяком случае, такое у меня тогда было ощущение.

И еще меня ошеломило множество народу — как сельди в бочке. Я опять оглядел зал, но не различил ни

одного лица. Наверно, сперва я не понимал, что вся эта толпа сошлась сюда поглазеть на меня. Обычно люди не обращали на меня внимания. Пришлось сделать усилие, чтобы сообразить, что вся эта суматоха из-за меня. Я сказал жандарму:

— Сколько народу!

Он ответил — это газеты постарались — и показал на кучку людей у стола, пониже скамьи присяжных.

— Вот они, — сказал он.

— Кто? — спросил я.

И он повторил:

— Газеты.

Он увидел знакомого репортера, тот как раз направлялся к нам. Это был человек уже немолодой, с приятным, хотя, пожалуй, чересчур подвижным лицом. Он сердечно пожал жандарму руку. Тут я заметил, что все эти люди раскланивались, перекликались, переговаривались, будто в клубе, где все свои и рады побыть в дружеском кругу. Так вот отчего у меня сперва было это странное ощущение, словно я тут лишний, непрошенный гость. Однако репортер с улыбкой обратился ко мне. Он надеется, сказал он, что для меня все кончится благополучно. Я сказал — спасибо, и он прибавил:

— Знаете, мы немножко раздули ваше дело. Для газет лето — мертвый сезон. Ничего не подвергывалось стоящего, только вот вы да отцеубийца.

Потом он показал на одного из репортеров в группе, от которой он сам отошел — этот человек напоминал разжиревшего хорька, на носу у него красовались огромные очки в черной оправе, — и сказал, что это специальный корреспондент одной парижской газеты.

— Вообще-то он приехал не ради вас. Он будет писать о процессе отцеубийцы, а уж заодно его попросили рассказать и о вашем деле.

Я чуть не поблагодарил еще раз, да спохватился, что это было бы смешно. Он приветливо махнул мне рукой и отошел. Потом мы еще немного подождали.

Явился мой защитник, в адвокатской мантии, окруженный своими собратьями. Направился к репортерам и стал жать им руки. Они шутили, смеялись и, видно, чувствовали себя как дома, пока в зале не раздался звонок. Тогда все разошлись по местам. Защитник подошел, пожал мне

руку и посоветовал на вопросы отвечать кратко, ни о чем не заговаривать первым, а в остальном положиться на него.

Слева от меня шумно отодвинули стул, я обернулся — там усаживался высокий сухопарый человек в пенсне, заботливо расправляя красную мантию. Это был прокурор. Судебный пристав объявил, что суд идет. В эту минуту зажужжали два огромных вентилятора. Вошли трое судей — двое в черных мантиях, третий — в красной, у каждого под мышкой папка с бумагами — и быстрым шагом направились к возвышению. Тот, что в красном, сел в кресло посередине, положил свою шапочку перед собой на стол, вытер платком лысину и объявил заседание суда открытым.

Репортеры уже наострили перья. Лица у них были равнодушные и немного насмешливые. Впрочем, один, самый молодой, в сером фланелевом костюме с голубым галстуком, еще не брался за самопишущую ручку, которая лежала перед ним на столе, и только смотрел на меня. В лице его была какая-то неправильность, но я видел только глаза — очень светлые, они пристально изучали меня, однако их выражение я не мог уловить. Очень странно — мне показалось, будто это я сам себя разглядываю. Может, поэтому и еще потому, что мне не знакомы судебные порядки, я плохо понимал, что происходило дальше: отбирали по жребию кандидатов в присяжные, председатель о чем-то спрашивал защитника, прокурора и присяжных (каждый раз головы всех присяжных разом поворачивались в его сторону), скороговоркой читали обвинительный акт (я услышал знакомые имена и названия знакомых мест), опять задавали вопросы защитнику.

А потом председатель сказал, что сейчас вызовут свидетелей. Пристав громко прочитал имена, они привлекли мое внимание. Из людского сборища, которое перед тем было слитным и безликим, по одному поднимались и затем уходили в боковую дверь директор и привратник дома призрения, старик Тома Перез, Раймон, Масон, Саламано, Мари. Она украдкой тревожно кивнула мне.

Я удивлялся, как это я раньше никого из них не заметил, и вдруг назвали последнее имя, и поднялся Селест. Рядом с ним я увидел ту чудачку, которая в ресторане села за мой столик, и узнал ее жакет, решительное лицо и механические движения. Она смотрела на меня в упор. Но мне некогда было раздумывать, потому что

председатель заговорил. Он сказал, что суд переходит к слушанию дела и, надо надеяться, нет нужды призывать публику к тишине и порядку. Его, председателя, долг позаботиться о том, чтобы дело разбиралось со всем беспристрастием и непредвзятостью. Присяжным надлежит вынести приговор в духе истинной справедливости, а кроме всего прочего, если кто-нибудь вздумает нарушить порядок, он, председатель, велит очистить зал.

Становилось все жарче, кое-кто в публике обмахивался газетой. Непрестанно слышалось это бумажное шуршанье. Председатель дал знак приставу, тот принес три плетеных соломенных веера, и судьи сразу пустили их в ход.

И сейчас же меня начали допрашивать. Председатель задавал мне вопросы очень спокойно и даже как бы доброжелательно. Снова потребовалось назвать мое имя, фамилию, возраст и прочее, и, хотя это мне порядком надоело, я подумал: в сущности, это естественно, ведь не шутка, если бы вдруг судили не того, кого надо. Потом председатель снова принялся рассказывать о том, что я сделал, и через каждые два слова переспрашивал меня:

— Так? Правильно?

И я каждый раз отвечал, как научил меня защитник:

— Да, господин председатель.

Это тянулось долго, потому что председатель рассказывал дотошно, со всеми подробностями. И все время репортеры записывали. Я чувствовал на себе взгляд самого молодого из них и той маленькой женщины-автомата. Все пассажиры с трамвайной скамейки смотрели на председателя. Он покашлял, полистал бумаги и, обмахиваясь соломенным веером, повернулся ко мне.

Он сказал, что должен сейчас затронуть вопросы, по видимости не имеющие отношения к моему делу, но, быть может, по существу весьма тесно с ним связанные. Я понял: сейчас он заговорит о маме — и мне стало тошно. Он спросил, почему я отдал маму в дом призрения. Я ответил — потому что у меня не хватало денег на уход за нею и на сиделку. Он спросил, не трудно ли мне было на это решиться, и я ответил — мы с мамой больше ничего друг от друга не ждали, да и ни от кого другого тоже, и оба мы привыкли к новому образу жизни. Тогда председатель сказал, что не стоит больше углубляться в эту тему, и спросил прокурора, нет ли у того ко мне вопросов.

Прокурор, не глядя на меня, через плечо заявил, что, с разрешения председателя, он желал бы узнать, для того ли я один вернулся к роднику, чтобы убить араба.

— Нет, — сказал я.

— Тогда почему же обвиняемый был вооружен и почему он вернулся именно на это место?

Я ответил — это вышло случайно. И прокурор процедил сквозь зубы:

— Пока достаточно.

Дальше пошла какая-то неразбериха, по крайней мере такое у меня было ощущение. А потом судьи пошептались и председатель объявил перерыв; на вечернем заседании, сказал он, будут выслушаны свидетели.

У меня не было времени подумать. Меня вывели из зала, посадили в арестантскую машину и отвезли в тюрьму, там я поел. И очень скоро, как раз когда я почувствовал, что устал, за мной опять пришли; все началось сызнова, я очутился в том же зале, на меня смотрели те же лица. Только стало куда жарче, и, точно по волшебству, в руках у всех присяжных, у прокурора, защитника и некоторых репортеров тоже появились соломенные веера. Молодой журналист и маленькая женщина сидели на прежних местах. Но они не обмахивались веерами и все так же молча смотрели на меня.

Я утирал пот со лба и плохо понимал, где я и что со мной, как вдруг услышал, что вызывают директора дома призрения. Его спросили, жаловалась ли мама на меня, и он сказал — да, но это дело обычное, все обитатели дома вечно жалуются на своих родных. Председатель попросил уточнить, упрекала ли меня мама в том, что я отдал ее в дом призрения, и директор опять сказал — да. Но на этот раз ничего больше не прибавил. На другой вопрос он ответил, что его удивило мое спокойствие в день похорон. Его спросили, что он подразумевает под словом «спокойствие». Директор опустил глаза и сказал, что я не хотел видеть маму в гробу, не пролил ни слезинки и не побыл у могилы, а уехал сразу же после погребения. И еще одно его удивило: служащий похоронного бюро сказал ему, что я не знал точно, сколько моей матери было лет. Минуту все молчали, потом председатель спросил директора, обо мне ли он все это говорил. Тот не понял вопроса, и председатель пояснил: «Так полагается по закону». Потом

спросил прокурора, нет ли у того вопросов к свидетелю, и прокурор воскликнул:

— О нет, этого предостаточно!

Он заявил это с таким жаром, так победоносно посмотрел в мою сторону, что впервые за много лет я, как дурак, чуть не заплакал, вдруг ощутив, до чего все эти люди меня ненавидят.

Председатель спросил присяжных и защитника, нет ли у них вопросов, потом вызвал привратника. С ним, как и с остальными, повторилась та же церемония. Выйдя на свидетельское место, он посмотрел на меня и отвел глаза. Ему задавали вопросы, он отвечал. Он сказал, что я не хотел увидеть маму, что я курил, спал и пил кофе с молоком. Тут я почувствовал, как в зале нарастает волнение, и впервые понял, что виноват. Привратника заставили снова рассказать про кофе с молоком и про сигарету. Прокурор посмотрел на меня с насмешкой. В эту минуту мой адвокат спросил привратника, не курил ли и он со мною. Но прокурор яростно запротестовал.

— Да кто же здесь подсудимый и что за приемы у защиты! Напрасно она пытается очернить свидетелей обвинения, ей не удастся умалить вес их сокрушительных показаний!

Председатель все-таки потребовал, чтобы привратник ответил на вопрос. Старик смутился.

— Верно, я тоже виноватый, — сказал он. — Да только этот господин сам предложил мне сигарету, так отказываться было неловко.

Под конец меня спросили, не хочу ли я что-нибудь прибавить.

— Ничего, — сказал я, — свидетель правильно говорит. Это правда, я предложил ему сигарету.

Привратник поглядел на меня удивленно и как будто даже с благодарностью. Помялся немного и сказал, что он сам предложил мне кофе. Защитник шумно обрадовался и заявил: присяжным следует это учесть. Но в ответ громом раскатился голос прокурора:

— Да, господа присяжные это учтут. И сделают вывод, что посторонний человек мог предложить чашку кофе, а вот сын у бездыханного тела той, которая дала ему жизнь, должен был от этого кофе отказаться.

Привратник вернулся на свое место.

Когда настала очередь старика Переза, приставу пришлось под руку довести его до трибуны. Тома Перез сказал, что он был больше знаком с моей матерью, а меня видел только один раз, в день похорон. Его спросили, что я делал в тот день, и он ответил:

— Понимаете, я был убит горем. Так что я ничего не видел. Я ничего не видел от горя. Потому как для меня это было тяжкое горе. Я даже лишился чувств. Так что я не мог видеть господина Мерсо.

Прокурор спросил — может быть, он по крайней мере видел, что я плакал? Перез ответил — нет, не видел. И прокурор в свой черед сказал:

— Господам присяжным следует это учесть.

Но тут мой защитник вспыхнул. И спросил Переза, по-моему, чересчур сердито, видел ли он, что я не плакал. Перез сказал:

— Нет.

В зале засмеялись. И защитник, откидывая широкий рукав, громогласно заявил:

— Вот он каков, этот процесс! Все правильно, и все вывернуто наизнанку!

У прокурора стало каменное лицо, он тыкал карандашом в свои бумаги.

Объявили перерыв на пять минут, и защитник успел сказать мне, что все идет хорошо, а после этого вызвали Селеста — свидетеля со стороны защиты. То есть с моей стороны. Селест поглядывал на меня и вертел в руках панаму. Он был в новом костюме, который надевал иногда по воскресеньям, когда мы с ним ходили на скачки. Но, видно, воротничок ему уже не под силу было надеть, и рубашка на шее разъехалась бы, если бы не медная запонка. Селеста спросили, столовался ли я у него, и он сказал — да, но, кроме того, он мой друг. Спросили, какого он обо мне мнения, и он ответил, что я — человек. А как это понимать? Всякий понимает, что это значит, заявил Селест. А замечал ли он, что я замкнутый и скрытный? В ответ Селест сказал только, что я не трепал языком попусту. Прокурор спросил, всегда ли я вовремя платил за стол. Селест засмеялся и сказал:

— Да это пустяки, мы с ним всегда сочтемся.

Его спросили, что он думает о моем преступлении.

Тогда он оперся обеими руками о барьер, и стало ясно: он заранее приготовился на это ответить. Он сказал:

— Я так считаю, это несчастье. Всякий знает, что такое несчастье. Ты перед ним беззащитен. Так вот, я считаю, это было несчастье.

Он хотел продолжать, но председатель сказал — очень хорошо, спасибо. Селест немного растерялся. Но все-таки заявил, что ему надо еще кое-что сказать. Его попросили говорить покороче. Он опять повторил, что со мной случилось несчастье. И председатель сказал:

— Да, понятно. Но мы для того здесь и находимся, чтобы судить такого рода несчастья. Благодарю вас.

Тогда, словно не зная, как быть дальше и чем еще помочь, Селест повернулся ко мне. И мне показалось, глаза у него заблестели и губы дрожат. Он будто спрашивал, что еще можно сделать. А я ничего не сказал и не подал ему никакого знака, но в первый раз за всю мою жизнь мне захотелось обнять мужчину. Председатель опять велел ему уйти со свидетельского места. И Селест пошел и сел среди публики. До самого конца заседания он сидел, наклоняясь вперед, локти в колени, панама в руках, и внимательно слушал.

Вошла Мари. Она была в шляпке и все-таки красивая. Но мне она больше нравится с непокрытыми волосами. Я даже издали угадывал, как колыхнется ее грудь, видел знакомую, всегда немного припухшую нижнюю губу. Кажалось, Мари очень волнуется. Ее сразу спросили, давно ли она меня знает. Она сказала — с тех пор, как служила у нас в конторе. Председатель поинтересовался, в каких она со мной отношениях. Мари сказала, что она моя приятельница. А на другой вопрос ответила: да, правда, она собиралась за меня замуж. Прокурор перелистал свои бумаги и вдруг спросил, когда началась наша связь. Мари назвала месяц и число. Прокурор сделал равнодушное лицо и заметил — если он не ошибается, как раз накануне похоронили мою мать. Потом усмехнулся и прибавил, что понимает смущение Мари и рад бы не развивать далее столь деликатную тему, но (тут голос его зазвучал резко) его долг — стать выше условностей. И он потребовал, чтобы Мари описала тот день, когда мы с ней сошлись. Мари не хотела говорить, но прокурор настаивал, и она рассказала, как мы с ней купались и ходили в кино, а потом пошли ко мне домой. Прокурор сказал, что после показаний Мари на следствии он уже поинтересовался,

какая в тот день шла картина. Но пускай Мари сама скажет, что за фильм тогда показывали. Мари еле слышно назвала фильм с участием Фернанделя. Когда она умолкла, в зале стояла мертвая тишина. Тут прокурор поднялся, лицо у него было очень серьезное, и в голосе мне послышалось непритворное волнение, он ткнул в мою сторону пальцем и медленно проговорил:

— Господа присяжные заседатели, на другой день после смерти матери этот человек едет на пляж купаться, заводит любовницу и идет в кино на развеселую комедию. Больше мне нечего вам сказать.

Он сел, в зале по-прежнему было тихо. И вдруг Мари громко зарыдала и стала говорить — это все неправда, было совсем по-другому, и ее заставили говорить не то, что она думает, а она меня хорошо знает, и я ничего плохого не делал. Но председатель подал знак приставу, тот ее увел, и заседание продолжалось.

После этого никто уже толком не слушал Масона, который заявил, что я человек честный «и более того — порядочный». И никто не слушал толком старика Саламано, когда он начал рассказывать, как я был добр к его собаке, а на вопрос, как я относился к матери, ответил, что нам с мамой уже не о чем было говорить, поэтому я и отдал ее в богадельню.

— Надо понимать, — твердил Саламано, — надо понимать.

Но, видно, никто не понимал. Его увели.

Потом пришел черед последнего свидетеля — Раймона. Он чуть заметно кивнул мне и сейчас же заявил, что я невиновен. Но председатель сказал — от свидетеля требуются не выводы, а факты. Его дело отвечать на вопросы. В каких отношениях он состоял с убитым арабом? Раймон воспользовался этим вопросом и сказал, что он-то и есть враг убитого, потому что дал пощечину его сестре — вот брат его и возненавидел. Но председатель спросил, а не имел ли убитый оснований ненавидеть и меня тоже. Раймон сказал — что я очутился на пляже, это чистая случайность. Тогда прокурор спросил, каким образом получилось, что письмо, из-за которого разыгралась вся трагедия, писал я. Раймон опять сказал, это — случайность. Прокурор возразил: в этой истории почему-то случай оказывается главным козлом отпущения. Интересно знать, вот

когда Раймон дал своей любовнице пощечину, я не вмешался — это тоже случайно? И свидетелем в полицейский участок пошел случайно? И что своими показаниями я всячески выгораживал Раймона — тоже случайность? Под конец он спросил, на какие средства живет Раймон, тот ответил: «Я кладовщик», и тогда прокурор заявил присяжным: всем известно, что у этого свидетеля особое ремесло, он — сутенер. А я его сообщник и приятель. Итак, тут имел место трагический фарс самого низкого пошиба, и перед судом не заурядный преступник, но выродок без стыда и совести. Раймон хотел оправдываться, и мой защитник тоже запротестовал, но им предложено было помолчать, пока не договорит прокурор. Прокурор сказал:

— Мне почти нечего прибавить. — И спросил Раймона: — Подсудимый был вашим приятелем?

— Да, — сказал Раймон, — он мне друг.

Прокурор и мне задал тот же вопрос, я посмотрел на Раймона, он не отвел глаз. Я сказал:

— Да.

Тогда прокурор повернулся к присяжным и провозгласил:

— Вот человек, который назавтра после смерти родной матери предавался постыдному распутству, и этот же самый человек по ничтожному поводу, лишь бы покончить с грязной, безнравственной сварой, совершил убийство.

И сел. Но мой защитник вышел из терпения, воздел руки к небесам, так что откинулись широкие рукава мантии и стали видны складки крахмальной рубашки, и закричал:

— Да в чем же его, наконец, обвиняют — что он убил человека или что он похоронил мать?!

В зале поднялся смех. Но прокурор снова выпрямился, запахнулся в мантию и заявил — надо, мол, обладать наивностью почтенного защитника, чтобы не уловить, сколь глубокая, потрясающая, нерасторжимая связь существует между этими двумя разнородными фактами.

— Да! — закричал он с жаром. — Я обвиняю этого человека в том, что на похоронах матери он в сердце своем был уже преступен.

Его слова, видно, произвели большое впечатление на публику. Защитник пожал плечами и утер пот со лба. Но он, кажется, и сам растерялся, и я понял, что дело принимает для меня плохой оборот.

После этого все пошло очень быстро. Заседание закрылось. Когда меня выводили из здания суда и усаживали в тюремную машину, я на минуту вдохнул тепло летнего вечера, почувствовал его запахи и краски. И потом, в темной камере на колесах, сквозь усталость вновь услышал один за другим знакомые шумы города, который я всегда любил, звуки того часа, когда мне бывало хорошо и спокойно. Дневной гомон спадал, ясно слышались крики газетчиков, затихающий писк сонных птиц в сквере, зазывные вопли торговцев сэндвичами, жалобный стон трамвая на крутом повороте и смутный гул, будто с неба льющийся перед тем, как на гавань опрокинется ночь, — по этим приметам я и вслепую узнавал дорогу, которую знал наизусть, когда был свободен. Да, в этот самый час мне бывало прежде хорошо и спокойно. Я знал, впереди — сон без тревог и без сновидений. Но что-то переменялось, и впереди у меня не только предвкушение завтрашнего дня, а еще и одиночная камера. словно знакомые дорожки, прочерченные в летнем небе, могут привести не только к безмятежным снам, но и за тюремную решетку.

IV

Послушать, что про тебя говорят, интересно, даже когда сидишь на скамье подсудимых. В своих речах прокурор и защитник много рассуждали обо мне — и, пожалуй, больше обо мне самом, чем о моем преступлении. Разница между их речами была не так уж велика. Защитник воздевал руки к небесам и уверял, что я виновен, но заслуживаю снисхождения. Прокурор размахивал руками и гремел, что я виновен и не заслуживаю ни малейшего снисхождения. Только одно меня немного смущало. Как ни поглощен я был своими мыслями, иногда мне хотелось вставить слово, и тогда защитник говорил:

— Молчите! Для вас это будет лучше.

Получалось как-то так, что мое дело разбирают помимо меня. Все происходило без моего участия. Решалась моя судьба — и никто не спрашивал, что я об этом думаю. Иногда мне хотелось прервать их всех и сказать: «Да кто же в конце концов обвиняемый? Это не шутка — когда тебя обвиняют. Мне тоже есть что сказать!» Но если вдуматься, мне нечего было сказать. Притом, хотя, пожалуй,

и это любопытное ощущение, когда люди заняты твоей особой, — оно быстро приедается. Скажем, прокурора я очень скоро устал слушать. Лишь изредка я улавливал какой-нибудь обрывок его речи, иная тирада, резкий жест поражали меня или казались стоящими внимания.

Насколько я понял, суть его мысли заключалась в том, что я совершил убийство с заранее обдуманном намерением. По крайней мере он старался это доказать. Он сам так говорил:

— Я это докажу, господа присяжные заседатели, и докажу двумя способами: сначала при ослепительном свете фактов, а затем при том зловещем свете, в котором предстает эта преступная душа, когда исследуешь ее тайные движения.

И он опять перечислил факты — все, что произошло после смерти мамы. Припомнил, какой я был бесчувственный, как не мог сказать, сколько маме было лет, а на другой день купался с женщиной, смотрел в кино комедию и наконец привел Мари к себе домой. Тут я не сразу его понял, потому что он все говорил «любовница», а для меня она — Мари. Потом он перешел к истории с Раймоном. Надо сказать, в его представлении все складывалось в довольно стройную систему. Все, что он говорил, звучало правдоподобно. Я написал письмо по стовору с Раймоном, чтобы заманить его любовницу в ловушку и предать ее в безжалостные руки этого субъекта «сомнительной нравственности». На пляже я первым затеял драку с противниками Раймона. Его ранили. Я взял у него револьвер. И вернулся, чтобы пустить оружие в ход. Я затем и шел, чтобы убить того араба. После первого выстрела я выждал. А потом, «чтобы убедиться, что дело сделано на совесть», выпустил в него еще четыре пули — не спеша, уверенно, по какому-то продуманному плану.

— Так вот, господа, — продолжал прокурор. — Я восстановил перед вами ход событий, которые привели этого человека к хладнокровному, предумышленному убийству. Повторяю и настаиваю: тут был умысел. Это не заурядное убийство под влиянием аффекта, не внезапный порыв, для которого вы могли бы найти смягчающие обстоятельства. Перед вами, господа, человек вполне разумный. Вы его слышали, не так ли? Он умеет отвечать на вопросы. Он знает цену словам. И уж никак нельзя сказать,

что он действовал, не отдавая себе отчета в своих поступках.

Итак, меня считали разумным. Но я не мог понять, почему же то, что в обыкновенном человеке считается достоинством, оборачивается сокрушительной уликой против обвиняемого. Это меня поразило, и я больше не слушал прокурора, пока до меня не донеслись такие слова:

— Раскаивается ли он по крайней мере? Ничуть не бывало! За все время, пока шло следствие, этот человек ни разу не обнаружил, что хоть сколько-нибудь удручен своим гнусным злодеянием.

Тут он повернулся ко мне и, показывая на меня пальцем, разразился новыми нападками, а почему — право, толком нельзя было понять. Конечно, я не мог не признать, что он отчасти прав. Да, я не слишком жалел о сделанном. Но странно, что он обрушивался на меня с такой яростью. Я охотно попробовал бы ему объяснить, вполне доброжелательно и даже дружески, что никогда я не умел по-настоящему о чем-либо сожалеть. Меня всегда занимает то, что впереди, сегодняшней и завтрашний день. Но, разумеется, когда тебя посадили на скамью подсудимых, уже ни с кем нельзя говорить в таком тоне. Я больше не имел права разговаривать по-дружески, доброжелательно. И я опять постарался прислушаться, потому что прокурор стал рассуждать о моей душе.

Он говорил, что пристально в нее всмотрелся — и ровно ничего не нашел, господа присяжные заседатели! Поистине, говорил он, у меня вообще нет души, во мне нет ничего человеческого и нравственные принципы, ограждающие человеческое сердце от порока, мне недоступны.

— Без сомнения, — прибавил прокурор, — мы не должны вменять это ему в вину. Нельзя его упрекать в отсутствии того, что он попросту не мог приобрести. Но здесь, в суде, добродетель пассивная — терпимость и снисходительность — должны уступить место добродетели более трудной, но и более высокой, а именно — справедливости. Ибо пустыня, которая открывается нам в сердце этого человека, грозит разверзнуться пропастью и поглотить все, на чем зиждется наше общество.

И тут он заговорил о моем отношении к маме. Он повторил то, что уже высказывал раньше. Но теперь он стал куда многословнее, чем когда говорил о моем пре-

ступлении, — он распространялся так долго, что под конец я уже ничего не чувствовал, кроме жары. Во всяком случае, до той минуты, когда прокурор остановился, немного помолчал и вновь заговорил очень тихо и очень проникновенно:

— Господа присяжные, завтра этот же суд будет рассматривать дело о гнуснейшем из злодеяний — убийстве родного отца.

Подобное злодейство, сказал он, невозможно вообразить. Он осмеливается выразить надежду, что людское правосудие сурово покарает преступника. Но он не боится сказать, продолжал он, что даже это чудовищное преступление едва ли ужасает его сильнее, нежели мое бессердечие. Ибо, как он полагает, тот, кто убил родную мать душевной черствостью, столь же бесповоротно отторгает себя от человечества, как и тот, кто поднял на родителя преступную руку. Во всяком случае, первый открывает путь деяниям второго, в известном смысле предвещает их и узаконивает.

— Я убежден, господа, — продолжал прокурор, возвысив голос, — вы не сочтете мою мысль слишком дерзостной, если я скажу, что человек, сидящий сейчас на скамье подсудимых, виновен также и в убийстве, которое вы будете судить завтра. И соразмерно этой вине его надлежит покарать.

Прокурор отер лоснящееся от пота лицо. И в заключение сказал, что долг его тягостен, но он исполнит этот долг с твердостью. Он заявил, что мне нет места в обществе, чьих важнейших заповедей я не признаю, и я не вправе ждать милосердия, раз мне чужды простейшие движения человеческого сердца.

— Я требую от вас головы преступника, — сказал он, — и требую с чистой совестью. Немалый срок я тружусь на своем поприще, и мне уже случалось требовать смертной казни, но никогда еще я в такой мере не ощущал, что тяжесть этого долга возмещена, уравновешена, озарена сознанием властной и священной необходимости, а также и ужасом, который я испытываю при виде чудовища, в чьих чертах не могу прочесть ничего человеческого.

Когда прокурор сел на свое место, настала долгая минута молчания. Что до меня, я был оглушен жарой и удивлением. Председатель, покашляв, очень тихо спросил,

не желаю ли я что-нибудь прибавить. Я поднялся — говорить мне хотелось, — и я сказал (правда, немного бессвязно), что вовсе не собирался убивать того араба. Председатель ответил, что это голословное заявление, до сих пор он плохо понимал, на что опирается моя защита, и прежде чем выслушать моего адвоката, рад был бы от меня самого узнать точнее, какими побуждениями я был движим. Понимая, что это звучит нелепо, я наскоро и довольно сбивчиво объяснил: все вышло из-за солнца. В зале раздались смешки. Мой адвокат пожал плечами, и сейчас же ему дали слово. Но он заявил, что уже поздно, а для его речи понадобится не один час и попросил отложить ее до вечернего заседания. Суд согласился.

После перерыва огромные вентиляторы все так же перемешивали застоявшийся воздух в зале суда и так же равномерно кольхались маленькие пестрые веера присяжных. Мне казалось, речи защитника не будет конца. В какую-то минуту я все-таки прислушался, потому что он сказал:

— Да, это правда, я убил.

И продолжал в том же духе — речь шла обо мне, а он всякий раз говорил «я». Меня это очень удивило. Я наклонился к жандарму и спросил, почему так. Он велел мне замолчать и через минуту прибавил:

— Адвокаты всегда так говорят.

Мне подумалось, таким образом меня еще больше отстраняют от дела, сводят к нулю и в некотором смысле подменяют. Но, видно, я был уже очень далек от всего, что происходило в этом зале. Да и защитник казался мне смешным. Он наспех упомянул, что я действовал по наущению и подстрекательству, а потом тоже стал рассуждать о моей душе. Но, по-моему, прокурор говорил куда талантливей.

— Я тоже всмотрелся в эту душу, — сказал защитник, — но в отличие от многоуважаемого представителя прокуратуры я там кое-что нашел и могу сказать, что читал в этой душе, как в открытой книге.

Он прочел, что я честный человек, прилежный и неутомимый труженик, верный интересам фирмы, в которой служил, любимый окружающими и отзывчивый к чужому горю. По его мнению, я был примерным сыном и оставался опорой матери до последней возможности, а в дом

призрения отдал ее в надежде, что там она обретет покой и уют, какими я при своих скудных средствах не мог ее окружить.

— Меня удивляет, господа присяжные заседатели, — прибавил мой защитник, — что вокруг этого приюта для престарелых поднят такой шум. Ибо, если нужно доказывать полезность и великодушие подобных учреждений, напомню, что их содержит само государство.

Он только не сказал о похоронах, и я почувствовал, что это пробел в его речи. Но от всех этих длинных фраз, от нескончаемых часов, когда толковали о моей душе, все словно затопило мутной водой, и у меня стала кружиться голова.

Помню только, под конец, пока мой защитник все еще что-то говорил, откуда-то с улицы, через все коридоры и залы суда, до меня долетел звук рожка — это проходил со своей тележкой мороженщик. И нахлынули воспоминания о той жизни, которая больше мне не принадлежала и которая прежде приносила мне самые скудные и самые верные радости: запахи лета, любимые улицы, краски вечернего неба, смех Мари, ее платье. Мне стало тошно от бессмысленного, бесполезного торчания здесь, в этом зале, и хотелось только одного — поскорей бы все кончилось, поскорей бы вернуться в камеру и уснуть. Я едва слышал, как защитник в заключение воскликнул, что присяжные, конечно же, не захотят послать на смерть честного труженика, которого погубило кратковременное помрачение рассудка! Пусть примут они во внимание все смягчающие обстоятельства, ведь самой тяжкой карой для меня навек останутся утрызения совести. Суд удалился на совещание, а защитник, точно выбившись из сил, опустился на свое место. Но тут коллеги обступили его и начали жать ему руку.

— Великолепно, мой дорогой, — говорили ему.

А один даже призвал меня в свидетели.

— Каково? — сказал он мне.

Я согласился, что речь была великолепно, но не слишком искренне, потому что очень устал.

Между тем на улице день угасал, и в зале тоже стало не так жарко. По иным шумам, долетавшим снаружи, я догадывался, что вечер настает мягкий, прохладный. Все мы сидели и ждали. Но то, чего мы ждали все вместе, касалось

одного меня. Я опять посмотрел в зал. Все осталось точно таким же, как в первый день. Я встретил взгляды репортера в сером пиджаке и женщины-автомата. И подумал, что за все время процесса ни разу не поискал глазами Мари. Не потому, что забыл о ней, а просто был слишком занят. Я увидел ее между Селестом и Раймоном. Она чуть кивнула мне, как будто говорила — наконец-то! — и улыбнулась, хотя была, видно, встревожена. Но у меня внутри все закаменело, и я даже не сумел улыбнуться в ответ.

Вернулись судьи. Присяжным наскоро зачитали ряд вопросов. До меня донеслось: «виновен в убийстве...», «подстрекательство...», «смягчающие обстоятельства...» Присяжные вышли, а меня увели в каморку, где я и раньше ожидал заседания. Туда пришел и защитник. Он болтал без умолку и говорил со мной так доверительно и дружелюбно, как никогда прежде. Он полагал, что все сойдет хорошо, и я отделаюсь несколькими годами тюрьмы или каторги. Я спросил, есть ли надежда на пересмотр дела, если приговор будет неблагоприятный. Он сказал — нет. Его тактика заключалась в том, чтобы не подсказывать выводов: это лишь ожесточило бы присяжных. Приговор по такому делу, пояснил он, без серьезных оснований никто пересматривать не станет. Это мне показалось совершенно очевидным, и я с ним согласился. Если рассуждать трезво, это вполне разумно. Иначе развелось бы слишком много ненужной писанины.

— Во всяком случае, — сказал защитник, — можно подать прошение о помиловании. Но убежден, исход будет благоприятный.

Мы ждали очень долго, наверно три четверти часа. Потом зазвенел звонок. Защитник направился к двери.

— Сейчас старшина присяжных зачитывает ответы на вопросы, — сказал он мне, выходя. — Вас введут только тогда, когда объявят приговор.

Где-то захлопали двери. По лестницам — не знаю, далеко или рядом, — бежали люди. Потом в зале послышался глухой голос, он что-то читал. Опять прозвенел звонок, меня повели на скамью подсудимых, и навстречу из зала хлынула тишина — странная, небывалая тишина, и еще меня поразило, что молодой репортер отвел глаза. В сторону Мари я не посмотрел. Я не успел, потому что председатель в каких-то высокопарных выражениях сказал

мне, что именем французского народа мне на площади прилюдно отрубят голову. И мне показалось: на всех лицах я читаю одно и то же чувство. Да, конечно, теперь все смотрели на меня с уважением. Жандармы стали очень милы. Адвокат взял меня за руку. Я ни о чем больше не думал. Но председатель суда спросил, не хочу ли я еще что-нибудь прибавить. Я немного подумал. И сказал:

— Нет.

И тогда меня увели.

V

Уже третий раз я отказался принять тюремного священника. Мне нечего ему сказать, и нет охоты с ним говорить, скоро я и так его увижу. А сейчас меня занимает только одно: нельзя ли ускользнуть от этой машины, вырваться из неизбежности. Меня перевели в другую камеру. Отсюда, когда лежишь, видно небо — и ничего, кроме неба. Все дни напролет я смотрю, как на лице его понемногу блекнут краски, превращая день в ночь. Ложусь, закидываю руки за голову и жду. Уж не знаю, сколько раз я себя спрашивал, бывало ли, чтобы осужденные на смерть ускользали от беспощадного механизма, исчезали до казни, прорвались сквозь цепь охраны. Напрасно я раньше не слушал с должным вниманием рассказов о смертной казни. Такими вещами следует интересоваться. Ведь никогда не знаешь, что может случиться. Как и все, я читал газетные отчеты. Но, уж наверно, есть и специальные труды, и я ни разу не полюбопытствовал в них заглянуть. Быть может, там нашлись бы и рассказы о побегах. Может, я узнал бы, что хоть раз колесо остановилось на полпути, что хоть однажды случай и удача изменили что-то в неотвратимом ходе событий. Хоть однажды! В каком-то смысле, думаю, мне и этого было бы довольно. Сердце само довершило бы остальное. Газеты часто пишут: мол, общество предъявляет преступнику счет. И по счету, мол, надо платить. Но это ничего не говорит воображению. Важно другое — возможность ускользнуть, вырваться из рамок неумолимого обряда, безрассудный побег, открывающий столько надежд. В сущности, надеяться можно только на то, что тебя перехватят на перекрестке и забьют насмерть либо подстрелят на бегу. Но, если трезво все

взвесить, мне такая роскошь недоступна, все обращается против меня, от этой машины не уйдешь.

При всем желании я не мог примириться с этой наглою очевидностью. Потому что был какой-то нелепый разрыв между приговором, который ее обусловил, и неотвратимым ее приближением с той минуты, когда приговор огласили. Его зачитали в восемь часов вечера, но могли зачитать и в пять, он мог быть другим, его вынесли люди, которые, как и все на свете, меняют белье, он провозглашен именем чего-то весьма расплывчатого — именем французского народа (а почему не китайского или немецкого?), — все это, казалось мне, делает приговор каким-то несерьезным. И, однако, я не мог не признать, что с той минуты, как он был оглашен, его действие стало таким же ощутимым и несомненным, как стена, к которой я сейчас прижимался всем телом.

В эти часы я вспоминал одну историю, которую мама рассказывала мне об отце. Отца я не знал. Об этом человеке мне известно, пожалуй, только то, что рассказала тогда мама: однажды он пошел посмотреть на казнь убийцы. Ему тошно было даже думать о том, чтобы пойти туда. И все-таки он пошел, а когда вернулся, его чуть ли не все утро рвало. После этого рассказа мне как-то неприятно было думать об отце. А теперь я его понимаю, это так естественно. Как же я раньше не соображал, — нет на свете ничего важнее смертной казни, в известном смысле только она и заслуживает внимания! Если я когда-нибудь выйду из тюрьмы, всегда буду смотреть, как казнят. Впрочем, напрасно я об этом подумал. Потому что при одной мысли — вот я ранним утром окажусь за цепью охраны, вроде бы по другую сторону, буду просто зрителем, который придет, посмотрит, а потом его может выворачивать наизнанку, — при одной этой мысли к сердцу отравленной волной прихлынула радость. Нет, это неразумно. Напрасно я позволил себе такие предположения, потому что меня тотчас обдало ледяным холодом, и я скорчился под одеялом. Я стучал зубами и никак не мог взять себя в руки.

Но, понятно, не всегда удастся сохранить благоразумие. Иногда, например, я обдумывал новые законы. Я перестраивал систему наказаний. По-моему, самое важное — оставить осужденному хоть какую-то надежду. Пусть повезет одному из тысячи — этого довольно. Можно, скажем,

составить некое снадобье, убивающее пациента (про себя я так и выражался: пациент) в девяти случаях из десяти. Одно условие — пусть пациент об этом знает. Потому что по зрелом размышлении, спокойно все обдумав и взвесив, я понял, чем плоха гильотина: она не оставляет ни тени надежды. Смерть пациента решена с первой минуты окончательно и бесповоротно. Тут все твердо, незыблемо, установлено раз и навсегда. Неотвратно. Если каким-то чудом нож заело, все начнут сначала. А потому — досадная нелепость! — осужденный сам вынужден желать, чтобы машина работала безотказно. Я сказал — это недостаток. В каком-то смысле так оно и есть. Но в другом смысле нельзя не признать, что тут-то и кроется секрет отлично налаженного дела. Осужденный волей-неволей оказывается заодно с теми, кто его казнит. В его же интересах, чтобы все шло без запинки.

И еще я не мог не признать, что прежде у меня были обо всем этом ложные понятия. Я долго думал, не знаю почему, что гильотина стоит на эшафоте и к ней надо подниматься по ступенькам. Наверно, это из-за революции 1789 года, то есть так меня учили в школе и так рисуют на картинках. Но однажды утром я вспомнил фотографию, которую поместили газеты в связи с одной нашумевшей казнью. Никакого помоста нет, гильотина стоит просто-напросто на земле. И она совсем не такая широкая, как мне представлялось. Забавно, что я не знал этого раньше. Механизм на снимке поражал своей законченностью, словно блестящий, безукоризненно точный инструмент. Чего не знаешь, то всегда преувеличиваешь. А теперь, напротив, я убеждаюсь, что все очень просто: машина стоит на одной плоскости с идущим к ней человеком. К ней подходишь, как к знакомому на улице. В каком-то смысле это тоже досадно. Взойти на эшафот, подняться к небу — тут есть за что ухватиться воображению. А здесь все подавляет некая механика — убивают тихо и скромно, чуть пристыженно и очень аккуратно.

Еще две неотвязные мысли преследовали меня: рассвет и просьба о помиловании. Однако я сдерживал себя и старался про это не думать. Растягивался на койке, смотрел в небо и заставлял себя сосредоточиться. Небо стало зеленое — значит, уже вечерет. Я делал над собой еще усилие: надо думать о чем-то другом. Прислушивался к свое-

му сердцу. Никак не удавалось представить себе, что этот стук, неразлучный со мною с незапамятных времен, вдруг оборвется. Я никогда не отличался живым воображением. И все же пробовал вообразить такую секунду, когда биение сердца уже не будет отдаваться в висках. Но зря я старался. Опять и опять в мыслях моих рассвет или помилование. Под конец я решил — нет смысла себя принуждать.

Они приходят на рассвете, это я знал. И все ночи напролет только тем и занимался, что ждал рассвета. Не люблю, чтобы меня заставляли врасплох. Уж если что-то должно случиться, лучше я буду к этому готов. Так что под конец я только урывками спал днем, а ночами терпеливо ждал, пока в небе, как в окне, затеплится свет. Трудней всего давался тот смутный час, когда, как я знал, они обычно принимаются за работу. С полуночи я настораживался и ждал. Никогда прежде мое ухо не различало столько звуков — самых слабых, еле уловимых. Впрочем, мне, нужно сказать, везло — за все время я ни разу не услышал шагов. Мама часто говорила, что человек никогда не бывает совершенно несчастен. В тюрьме, когда небо наливалось краской и в камеру проскальзывал свет нового дня, я понял — она была права. Ведь шаги могли бы и прозвучать, и тогда, пожалуй, у меня разорвалось бы сердце. Но хотя при малейшем шорохе меня кидало к двери и я прижимался ухом к толстым доскам и ждал долго, иступленно и под конец пугался своего же дыхания, такое оно было громкое, хриплое, точно у загнанного пса, — а все-таки вот и опять сердце не разорвалось, и я выиграл еще двадцать четыре часа.

А весь день на уме просьба о помиловании. Наверно, из этой мысли я извлек все, что только мог. Я ничего не упускал из виду, все до мелочей принимал в расчет, и мои рассуждения приносили отличные плоды. Для начала я всегда предполагал самое худшее: просьба о помиловании отвергнута. Так что же? Значит, я умру. Раньше, чем другие, разумеется. Но ведь всякий знает — жить не стоит труда. В сущности, я прекрасно понимал, что умереть в тридцать лет или в семьдесят — невелика разница, все равно другие мужчины и женщины останутся жить после тебя, и так будет еще тысячи лет. Ясно и понятно, чего проще. Теперь или через двадцать лет — все равно я умру.

Сейчас при этом рассуждении меня смущало одно: как подумаю, что можно бы прожить еще двадцать лет, внутри все так и вскинется. Оставалось глушить это чувство, внушать себе, что те же мысли одолевали бы меня и через двадцать лет, когда я все равно очутился бы в таком же положении. Ведь ясно и понятно: смерти не миновать, а когда и как умрешь — что за важность. Значит (трудней всего было не упустить нить рассуждений, которая вела к этому «значит»), — значит, надо примириться с тем, что мою просьбу могут отвергнуть.

Вот тут, только тут я, так сказать, получал право, я в какой-то мере позволял себе допустить другую возможность: меня помилуют. Досадно одно: приходилось обуздывать неистовый порыв крови и плоти, сумасбродную ослепляющую радость. Надо было старательно заглушать этот внутренний крик трезвыми рассуждениями. Надо было освоиться и с этой возможностью, чтобы вернее покориться той, первой. Когда мне это удавалось, я выигрывал час спокойствия. А это все же не пустяк.

Именно в такую минуту я еще раз отказался принять священника. Я лежал на койке и по тому, как бледнело летнее небо, угадывал приближение вечера. Только что я отклонил свою просьбу о помиловании и чувствовал, как спокойно течет кровь по жилам. Мне незачем было видеть священника. Впервые за много дней я подумал о Мари. Она уже давным-давно мне не писала. В тот вечер, поразмыслив, я сказал себе: может быть, ей надоело быть любовницей смертника. А могло случиться и другое — она заболела и умерла. Очень может быть. Откуда мне знать, что произошло, — ведь наши тела теперь врозь, а больше ничего нас не связывало и не напоминало друг о друге. Впрочем, если бы Мари умерла, я вспоминал бы о ней спокойно. Мертвая она бы меня ничуть не занимала. Это вполне естественно, и обо мне тоже, разумеется, забудут, как только я умру. Людям больше не будет до меня дела. Даже не могу сказать, чтобы это меня угнетало. В сущности, нет такой мысли, к которой человеку нельзя привыкнуть.

Вот тут-то и вошел священник. При виде его я слегка вздрогнул. Он это заметил и сказал — не надо бояться. Я сказал — обычно он приходит в другой час. Он ответил, что пришел просто по-дружески меня навестить, просьба

о помиловании тут ни при чем, он про нее ничего не знает. Он присел на мою койку и предложил мне сесть рядом. Я отказался. Впрочем, лицо у него было очень доброе.

Некоторое время он сидел, понурясь, облокотясь на колени, и разглядывал свои руки. Они были тонкие и мускулистые, точно два проворных зверька. Он медленно потер их. И застыл с опущенной головой, и не шевелился так долго, что я о нем чуть не забыл.

Но вдруг он вскинул голову и посмотрел на меня в упор.

— Почему вы всегда отказываетесь меня видеть?

Я ответил, что не верю в Бога. Он спросил, вполне ли я в этом уверен, и я сказал — мне незачем себя проверять, ведь это совершенно неважно. Тогда он откинулся назад, прислонился к стене, опустив руки на колени. И словно про себя заметил, что иногда людям кажется, будто они в чем-то уверены, а на самом деле это не так. Я промолчал. Он посмотрел на меня и спросил:

— А как по-вашему?

Я сказал — всяко бывает. Может, я и не знаю наверняка, что меня по-настоящему занимает. Но уж что мне совсем неинтересно — это я знаю твердо. Так вот, то, о чем он говорит, меня ничуть не интересует.

Он отвел глаза и, не меняя позы, спросил — должно быть, я так говорю от крайнего отчаяния? Я объяснил, что вовсе не отчаиваюсь. Только боюсь — а это вполне естественно.

— Господь вам поможет, — заметил он. — В вашем положении все, кого я знал, обращались к Господу.

Я сказал — что ж, это их право. Кроме того, очевидно, у них хватало на это времени. Ну а я не хочу, чтобы мне помогали, и у меня нет времени заниматься тем, что мне неинтересно.

Тут он было с досадой всплеснул руками, но сдержался и начал расправлять складки сутаны. Потом опять заговорил, называя меня «друг мой». Он, мол, так со мной говорит не потому, что я осужден на смерть, — ведь, в сущности, все мы осуждены на смерть. Я перебил его и сказал: это не одно и то же и, уж во всяком случае, это не утешает.

— Да, конечно, — согласился он. — Но если вы не умрете в скором времени, так умрете позже. И тогда перед

вами встанет тот же самый вопрос. Как встретите вы это страшное испытание?

Я ответил:

— Точно так же, как встречаю сейчас.

Он поднялся и посмотрел мне прямо в глаза. Эта игра мне знакома. Я часто забавлялся ею с Эмманюелем и Селестом, и, как правило, первыми глаза отводили они. Я сразу же понял, что и священник тоже хорошо знает эту игру: его взгляд не дрогнул. И голос тоже не дрогнул, когда он сказал:

— Неужели у вас нет никакой надежды? Неужели вы живете с мыслью, что умрете совершенно и ничего от вас не останется?

— Да, — ответил я.

Он опустил голову и опять сел. И сказал, что ему меня жаль. Ему кажется — такое невозможно вынести человеку. А я чувствовал одно: он начинает мне надоедать. Я тоже отвернулся и подошел к окошку. И прислонился плечом к стене. Краем уха я слышал, что он опять задает мне вопросы. В голосе его звучала тревога и настойчивость. Я понял, что он взволнован, и стал слушать внимательней.

Он уверен, говорил он, что мою просьбу о помиловании удовлетворят, но на мне тяготеет грех — и от этого груза надо освободиться. У него выходило, что людской суд ничего не значит, важен только суд божий. Я сказал: меня-то осудили люди. Он возразил, однако этим не омыт мой грех. Я сказал: а мне неизвестно, что такое грех, мне объявили только, что я виновен. Я виновен и расплачиваюсь по счету, а больше с меня нечего спрашивать. Он снова поднялся, и я подумал — когда хочешь шевельнуться, в этой тесной камере нет выбора, только и можно встать или сесть.

Я смотрел в пол. Он шагнул ко мне и остановился, как будто не смел подойти ближе. Через решетку он посмотрел на небо.

— Вы заблуждаетесь, сын мой, — сказал он. — С вас могли бы спросить больше. А возможно, и спросят.

— Что спросят?

— Чтобы вы увидели.

— А что надо видеть?

Священник огляделся по сторонам, и голос его вдруг показался мне очень усталым:

— Я знаю, здесь каждый камень насквозь пропитан страданием. Не могу без скорби смотреть на эти стены. Но в глубине души знаю: самые несчастные из вас порой видели, как сквозь эти мрачные стены проступал божественный лик. Вот его-то вы и должны увидеть.

Я немного оживился. И сказал, что уже много месяцев смотрю на эти стены. Я их изучил, как ни одну стену и ни одного человека на свете. Может быть, когда-то я и старался увидеть на них лицо. Но в том лице горят краски солнца и пламя желания — это лицо Мари. И я искал его понапрасну. А теперь с этим покончено. Во всяком случае, ничего я не видел и ничего сквозь эти камни не проступает.

Кажется, он посмотрел на меня с грустью. Теперь я прислонился к стене спиной, свет падал мне на лоб. Священник сказал несколько слов, которых я не расслышал, потом торопливо спросил: можно ему меня обнять?

— Нет, — сказал я.

Он отвернулся, шагнул к стене и провел по ней ладонью.

— Неужели вам так дорого все земное? — тихо спросил он.

Я ничего не ответил.

Он довольно долго стоял отвернувшись. Меня это злило, он был мне в тягость. Я уже хотел сказать — пускай уйдет и оставит меня в покое, как вдруг он обернулся ко мне и закричал с жаром:

— Нет, я не могу вам поверить! Я убежден, вам тоже случалось желать иной жизни.

Я ответил, да, конечно, но это бессмысленно — все равно как если хочешь разбогатеть, или плавать быстрее всех, или чтобы у тебя рот стал красивый. Совершенно одно и то же — пустые мечты. Тут он меня перебил и спросил: а как я себе представляю ту, иную жизнь? И я закричал:

— Так, чтобы вспоминать вот эту жизнь, земную!

И сейчас же прибавил — хватит с меня, надоело! Он хотел еще говорить о Боге, но я подступил к нему ближе и постарался в последний раз объяснить, что у меня осталось слишком мало времени. И я не желаю тратить его на Бога. Он попробовал переменить разговор и спросил, почему я называю его «господин священник», а не «отец мой». Я вспыхнул и ответил, что он мне не отец: он заодно с теми, кто против меня.

— Нет, сын мой, — сказал он и положил руку мне на плечо. — Я с вами. Но вы не в силах это понять, потому что сердце ваше слепо. Я буду за вас молиться.

Тут, не знаю почему, во мне что-то прорвалось. Я стал орать во все горло и выругал его и сказал — нечего за меня молиться. Я схватил его за воротник сутаны. От гнева и радости меня била дрожь, и я излил на него все, что скопилось в душе, до самого дна. Он с виду такой уверенный и ни в чем не сомневается? Так вот, вся его уверенность не стоит единого женского волоска. Напрасно он уверен, что жив, ведь он живет как мертвец. Вот и я с виду нищий и обездоленный. Но я уверен в себе и во всем, куда уверенней, чем он, я уверен, что жив и что скоро умру. Да, кроме этой уверенности, у меня ничего нет. Но по крайней мере этой истины у меня никто не отнимет. Как и меня у нее не отнять. Я прав и теперь и прежде, всегда был прав. Я жил вот так, а мог бы жить по-другому. Делал то и не делал этого. Поступил так, а не эдак. Ну и что? Как бы там ни было, а выходит — я всегда ждал вот этой минуты, этого рассвета, тут-то и подтвердится моя правота. Все — все равно, все не имеет значения, и я прекрасно знаю почему. И он тоже знает. На протяжении всей моей нелепой жизни, через еще не наступившие годы, из глубины будущего неслось мне навстречу сумрачное дуновение и равняло все на своем пути, и от этого все, что мне сулили и навязывали, становилось столь же призрачным, как те годы, что я прожил на самом деле. Что мне смерть других людей, любовь матери, что мне его Бог, другие пути, которые можно бы предпочесть в жизни, другие судьбы, которые можно избрать, — ведь мне предназначена одна-единственная судьба, мне и еще миллиардам избранных, всем, кто, как и он, называют себя моими братьями. Понятно ли ему, понятно ли наконец? Все люди на свете — избранные. Других не существует. Рано или поздно всех осудят и приговорят. И его тоже. Не все ли равно, если обвиненного в убийстве казнят за то, что он не плакал на похоронах матери? Псу старика Саламано цена не больше и не меньше, чем его жене. Маленькая женщина-автомат столь же виновна, как парижанка, на которой женился Мэсон, и как Мари, которая хотела стать моей женой. Не все ли равно, если моим приятелем был и Раймон, а не только Селест, который куда лучше Раймона?

И не все ли равно, если Мари сегодня подставит губы какому-нибудь другому Мерсо? Так понимает ли он, приговоренный, что из глубины моего будущего... Я выкрикивал все это и задыхался от крика. Но священника уже вырвали у меня из рук, и надзиратели накинулись на меня с угрозами. Однако он их успокоил и минуту молча смотрел на меня. В глазах у него стояли слезы. Он повернулся и исчез.

Как только он вышел, я успокоился. Почувствовал, что очень устал, и бросился на койку. Наверно, я уснул, потому что, когда очнулся, в лицо мне смотрели звезды. До меня доносились звуки с полей. Прохладный запах ночи, земли и моря освежал виски. Чудесное спокойствие спящего лета вливалось в меня, как прибой. Вдруг где-то на краю ночи взвыли пароходные гудки. Они возвещали отплытия и разлуки миру, который стал мне навсегда безразличен. В первый раз за долгий-долгий срок я подумал о маме. Кажется, я понял, почему в конце жизни она нашла себе «жениха», почему затеяла эту игру, будто все начинается сначала. И там, вокруг дома призрания, где утасали человеческие жизни, там тоже вечер был как раздумчивое затишье. Перед самой смертью мама, должно быть, почувствовала себя освобожденной, готовой все пережить заново. Никто, никто не имел права ее оплакивать. Вот и я — я тоже готов все пережить заново. Как будто неистовый порыв гнева очистил меня от боли, избавил от надежды, и перед этой ночью, полной загадочных знаков и звезд, я впервые раскрываюсь навстречу тихому равнодушию мира. Он так на меня похож, он мне как брат, и от этого я чувствую — я был счастлив, я счастлив и сейчас. Чтобы все завершилось, чтобы не было мне так одиноко, остается только пожелать, чтобы в день моей казни собралось побольше зрителей — и пусть они встроят меня криками ненависти.

КОММЕНТАРИИ

БРАЧНЫЙ ПИР

Входящие в этот сборник очерки были написаны в 1936 и 1937 годах, изданы небольшим тиражом в Алжире (издательство «Шарло», 1939).

Брачный пир в Типаса

Типаса — прибрежная деревня в семидесяти километрах к западу от Алжира. В 1935 и 1936 годах Камю часто бывал там. Он разделял любовь, которую испытывал к этому месту Жан Гренье. Очерк «Брачный пир в Типаса» дал название сборнику, поскольку в нем отражен восторг перед миром и первым восприятием его: Камю предчувствовал, что это магическим образом повлияет на его судьбу. Подробнее об этом сказано в очерке «Возвращение в Типаса» из сборника «Лето».

Ветер в Джемила

В очерке «Ветер в Джемила» есть следы отдельных впечатлений, датируемых мартом и маем 1936 года (в тот период Камю мог совершить путешествие на туристическом самолете: первые и последние строки очерка предполагают как бы «вид сверху»), однако наиболее многочисленные и значимые из них относятся к апрелю 1937 года. Начало очерка было опубликовано под названием «Джемила» в алжирском журнале «Митра» (№ 2, январь-февраль 1939 года).

Лето в Алжире

Судя по дневниковым записям Камю, очерк «Лето в Алжире» создавался с середины 1937 года по середину 1938 года. Фрагменты очерка публиковались в журналах «Риваж» (№ 2, февраль 1939 года) и «Ля ревью альжержьенн» (февраль 1939 года). Жак Эргон, которому посвящен очерк, в 1939 году был преподавателем филологического факультета Алжирского университета и членом редколлегии журнала «Риваж». В начале очерка упомянуты путешествия 1936—1937 годов по Франции, Центральной

Европе и Италии (подробнее о них рассказано в очерке «Со смертью в душе» из сборника «Изнанка и лицо»).

Стр. 134 В «Чуме» Камю в тех же выражениях — игра в шары и традиционные «обеда» однокашников или однополчан — описывает излюбленные развлечения жителей Орана.

Стр. 137 Упомянутого в связи с «единением» философа Плотина Камю изучал, работая над дипломом; здесь он цитирует его опосредованно, через Шестова. Осенью 1938 года Камю надеялся возобновить работу над Плотинином.

Пустыня

Из четырех текстов, составляющих данный сборник. «Пустыня» в наибольшей степени отражает наблюдения, содержащиеся в «Записных книжках» (в частности, впечатления от поездки в Тоскану в начале сентября 1937 года). Там же, в «Записных книжках», есть наброски и фрагменты будущего очерка, в том числе два варианта его окончания, датируемые декабрем 1938 года.

Выбор названия, по-видимому, связан с упоминаемым Ницше «желанием “пустыни”, идеала великих умов, плодотворных и оригинальных».

«Пустыня» посвящена Жану Гренье, которому Камю посвятил также «Изнанку и лицо» и «Человека бунтующего»; в 1959 году Камю написал предисловие к переизданию «Островов» Ж.Гренье.

Стр. 142 *«В подобную ночь, Джессика!»* — цитата из «Венецианского купца» В.Шекспира (акт V, сцена 1).

Стр. 145 Многочисленные места в «Записных книжках» указывают на интерес Камю к Борджиа (особенно опосредованно, через «Дневник» Жана Бюршара).

А. Волков

СОДЕРЖАНИЕ

<i>М. Попович. Об Альбере Камю.</i>	5
РАННЯЯ ЭССЕИСТИКА. <i>Перевела Н. Кулиш.</i>	15
О музыке	17
Мавританский дом	37
Искусство через приобщение	46
Голоса бедного квартала	54
ИЗНАНКА И ЛИЦО	67
Предисловие. <i>Перевели Д. Вальяно, Л. Григорьян.</i>	69
Ирония. <i>Перевели Д. Вальяно, Л. Григорьян.</i>	80
Между да и нет. <i>Перевела Н. Галь.</i>	88
Со смертью в душе. <i>Перевели Д. Вальяно, Л. Григорьян.</i>	96
Любовь к жизни. <i>Перевела Н. Галь.</i>	106
Изнанка и лицо. <i>Перевели Д. Вальяно, Л. Григорьян.</i>	111
БРАЧНЫЙ ПИР	115
Брачный пир в Типаса. <i>Перевел Н. Наумов.</i>	117
Ветер в Джемила. <i>Перевел Н. Наумов.</i>	123
Лето в Алжире. <i>Перевела Н. Галь.</i>	129
Пустыня. <i>Перевели Д. Вальяно, Л. Григорьян.</i>	139
СЧАСТЛИВАЯ СМЕРТЬ. <i>Перевел Ю. Стефанов.</i>	149
КАЛИГУЛА. <i>Перевела Ю. Гинзбург.</i>	251
ПОСТОРОННИЙ	317
Предисловие к американскому изданию «Постороннего».	
<i>Перевела И. Волевич.</i>	319
Посторонний. <i>Перевела Н. Галь.</i>	321
Комментарии	397

Камю А.

К 18 Сочинения. В 5 т. Т. 1. Пер. с фр. /Вступ. ст. М. Поповича; Коммент. А. Волкова; Художники М. Квитка, О. Квитка. — Харьков: Фолио, 1998. — 398 с. — (Вершины).

ISBN 966-03-0278-9 (т. 1).

В первый том сочинений А. Камю вошли ранее публиковавшиеся произведения, а также впервые переведенная ранняя эссеистика и отдельные эссе из сборников «Изнанка и лицо», «Брачный пир».

К 4703010100—197
98 **Без объявл.**

ББК 84.4ФРА

Литературно-художественное издание

КАМЮ
Альбер

СОЧИНЕНИЯ
В пяти томах

Том 1

Главный редактор В. И. Галий
Ответственный за выпуск В. В. Гладнева
Художественный редактор Б. Ф. Бублик
Технический редактор Е. В. Триско
Корректоры Г. Ф. Высоцкая, С. А. Щербатая

Сдано в набор 20.11.97. Подписано в печать 26.01.98.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсет.
Гарнитура Тип Таймс. Печать офсет.
Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 22,57. Уч.-изд. л. 21,28.
Тираж 25 000 экз. Заказ № 8-75

«Фолио»,
310002, Харьков, ул. Артема, 8

Отпечатано с готовых позитивов
на Харьковской книжной фабрике «Глобус»,
310012, Харьков, ул. Энгельса, 11